

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»

Юмор в сравнительном изучении культур

Учебно-методическое пособие

Ижевск
2017

ББК 83.3(0)-47я73-3

УДК 821-7(075.8)

Ю 47

Рецензент:

В.Г. Пантелева, кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора БУ УР «НИИ национального образования»

Юмор в сравнительном изучении культур / авт.-сост. С.Р. Зайнуллина, А.И. Лаврентьев, М.В. Опарин, Н.А. Пронина, В.Л. Шибанов – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2017. – 284 с.

В пособие включены тексты классиков юмористической литературы Великобритании, Германии, США, Франции, Чехии, отобранные по трем критериям: этнокультурная специфичность содержания, рассмотрение в тексте проблем творчества, актуализация проблем межкультурной коммуникации. Пособие предназначено для использования на занятиях по культуре речевого общения, семинарских занятиях по межкультурной коммуникации, практических занятиях в курсе переводоведения. Оно нацелено на формирование широкого спектра профессиональных компетенций у студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 451301 Филология и 450302 Лингвистика.

ISBN

ББК 83.3(0)-47я73-3

УДК 821-7(075.8)

© С.Р. Зайнуллина, А.И. Лаврентьев, М.В. Опарин, Н.А. Пронина, В.Л. Шибанов, 2017
© ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет», 2017

Предисловие

Юмор можно назвать ключом, открывающим дверь в мир иной культуры. Юмористические произведения вполне могут стать проводниками общения между представителями различных культур. Ведь приобщение к иной культуре не сводится к осведомленности о содержании ее произведений, фактах ее истории и знанию имен ее выдающихся деятелей. Для полноценного понимания другой культуры необходимо погружение в принципиально иное мировосприятие, усвоение новой системы ценностей иной культуры, непосредственный эмоциональный отклик на ее содержание. Комические образы обладают собственной семантикой, эстетикой, этикой и аксиологией. Наиболее востребованными эти особенности оказываются в ситуации межкультурной коммуникации.

Благодаря работам М.М. Бахтина в отечественной науке смех стало принято рассматривать в качестве одного из самых существенных факторов, влияющих на творческую деятельность. Исследования в этом направлении были продолжены в трудах А. Панченко «Смеховой мир» Древней Руси» (1976, совместно с Д. Лихачевым); Л. Карасева «Философия смеха» (1996); А. Зверева «Смеющийся век» (2000), А. Козинцева «Человек и смех» (2007) и др. За рубежом в последние три десятилетия изучение комического тоже вышло на качественно иной уровень (после создания Международного общества по изучению юмора, которое выработало междисциплинарный подход).

Одна из основных проблем, с которой сталкивается современное мировое сообщество в условиях глобализации, заключается в необходимости, с одной стороны, соответствовать общепринятым мировым стандартам и отвечать современным социально-экономическим требованиям постиндустриального общества и инновационной экономики, с другой стороны, она должна сохранять культурные традиции, которые составляют духовное богатство нации.

Мультикультурная парадигма в сфере образовательной политики призвана способствовать решению двух задач. Во-первых, удовлетворить потребности в образовании как можно большего числа культурных групп, признавая их равноправие и значимость для развития мировой культуры. Во-вторых, самобытный характер культуры этнических меньшинств не должен помещать их в новые резервации, усугубляя состояние культурной изоляции. Напротив, научные и учебные

заведения могут стать площадками, формирующими среду для активизации общения между представителями различных культур, в максимальной степени сокращая дистанцию между ними. Необходимо, образно говоря, сделать понятным «другого», не уничтожая его отличительных особенностей. Практика преподавания литератур этнических меньшинств требует сохранения баланса между экзотизацией – ее превращением в нечто совершенно чуждое современному человеку, и тривиализацией – поспешным превращением в набор понятных, но упрощенных схем и стереотипов.

Интенсивный диалог культур, знакомство представителей мейнстрима с принципиально иным мировосприятием – через смеховую культуру – позволяет использовать культурный потенциал этнических меньшинств, превращая его в инновационный ресурс, обогащающий содержание научно-исследовательской и творческой деятельности представителей самых разных народов.

В данном учебно-методическом пособии представлены тексты классиков юмористической литературы Саки (Гектор Хью Манро, 1870-1916), Нэта Габбинза (1893-1976), Джоджа Микеша (1912-1978) – Великобритания; Генриха Белля (1917-1985), Лорио (Бернгард Виктор Кристоф-Карл фон Бюлов, 1923-2011), Макса фон дер Грюна (1926-2005) – Германия, Синклера Льюиса (1885-1951), Ринга Ларднера (1885-1933) Дороти Паркер (1893-1967) – США, Сан-Антонио (Фредерико Дара, 1921-2000), Пьера Депрожа (1939-1988), Колюша (1944-1986) – Франция, Ярослава Гашека (1883-1923), Карела Чапека (1890-1938), Иржи Гауссмана (1898-1923) – Чехия, отобранные по трем критериям: этнокультурная специфичность содержания, рассмотрение в тексте проблем творчества, актуализация проблем межкультурной коммуникации.

Пособие нацелено на формирование широкого спектра профессиональных компетенций у студентов, получающих квалификацию бакалавра. У обучающихся по направлению подготовки 450301 Филология: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а также документов) с иностранного языка и на иностранный язык; аннотирование и реферирование документов, научных трудов на иностранном языке (ПК-10). У обучающихся по направлению подготовки

450302 Лингвистика: способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1), способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2), владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3), владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4), владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5), готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9), владение необходимыми интеракционными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16).

Современные концепции смеховой культуры

§ 1. Изучение юмора в профессиональном сообществе: теоретические и прикладные подходы

С точки зрения отношения к смеху культурно-исторические эпохи можно разделить на две категории: те, что оценивали все, связанное со смехом, скорее негативно, с осторожностью, подозрением или пренебрежением и, наоборот, – периоды, которые провозглашали смех великим благом, средством освобождения творческого потенциала отдельно взятого человека и культуры в целом, универсальной моделью художественного творчества и критерием оценки качества жизни, когда распространенным становится мнение – чем больше человек смеется и улыбается, тем более он счастлив.

Америка за свою сравнительно недолгую историю успела пережить этап стремительного перехода от мрачного, серого, уныло-серьезного взгляда на жизнь, культивировавшегося пуританами, считавшими грехом любые формы веселого, к ситуации, когда национальными символами страны становятся Микки Маус и Дональд Дак. Одним из главных писателей – юморист Марк Твен. На денежной купюре изображается лукавый взгляд из-под очков одного из самых остроумных политических деятелей, в резюме любой соискатель, стремящийся угодить потенциальному работодателю, непременно отмечает свои коммуникабельность и чувство юмора.

В последние четыре десятилетия схожие процессы можно проследить и в академическом сообществе. Постоянно сетуя на то, что изучение юмора не может стать основой для карьерного роста исследователя, поскольку его тема и его работа будут восприниматься коллегами с предубеждением как слишком легковесное и имеющее весьма отдаленное отношение к серьезной науке, авторитетные ученые начинают, тем не менее, объединяться в ассоциации, специализирующиеся на изучении юмористической тематики, проводить конференции, издавать собственные журналы, постепенно завоевывая себе статус полноценной научной отрасли. Институционализацию смеха в профессиональном научном сообществе можно выразить формулой, которая содержится в названии одной из книг британского ученого Д. Палмера “Taking Humour Seriously.”

В 1980 году в университете Холи Нэймз в городе Окленд, штат Калифорния было основано крупнейшее научное сообщество, объединяющее исследователей смеха и юмора во всех его аспектах: Международное общество изучения юмора. Большая часть членов общества – университетские преподаватели в гуманитарной, естественнонаучной, социально-экономической и педагогической сферах. Кроме того, в общество входят специалисты по психологическому и психотерапевтическому консультированию, менеджменту, медицинскому уходу, журналистике и театру. Согласно принципам, декларированным обществом, его интересует юмор во всем его многообразии: роль юмора в бизнесе, развлечении и здравоохранении, как то, насколько варьируется специфика юмора в зависимости от культуры, возраста, пола и контекста. Один из основателей общества, создатель теории сценарных конфликтов, Виктор Раскин занял пост главного редактора журнала, издающегося этим обществом с 1988 года – «Юмор» (Humor). Журнал публикует статьи по самому широкому спектру научных отраслей: психология, литературоведение, лингвистика, социология, театр, коммуникация, философия, антропология, компьютерные науки, история). ISHS имеет очень широкую географию: половина организуемых обществом ежегодных конференций происходит за пределами США, его региональные отделения в последнее время начали вести самостоятельную издательскую деятельность. В 2012 году в Ягеллонском университете были основаны журналы, посвященные исследованию юмора: «Европейский журнал исследования юмора» и «Израильский журнал исследования юмора». Редакционные коллегии обоих изданий заявляют, в том числе, что их появление стало ответом на важные изменения в подходах к изучению юмора, происходящие в последнее время.

Однако внедрение юмора в пространство академической науки и их оформление в самостоятельную научную отрасль началось задолго до этого. Так, например, активным изучением эстетических феноменов, связанных со смехом, стала заниматься основанная в 1965 году в Риме международная ассоциация эмпирической эстетики IAESA, которая начиная с 1981 года издает научный журнал «Эмпирическое исследование искусства». Ассоциация проводит исследования, которые находятся на стыке научных дисциплин, объединяя усилия ученых, стремящихся применить методы естественных и точных наук к изучению эстетических переживаний и эстетического поведения, в

числе которых одну из главных ролей играет категория комического, чувство юмора, смех.

С еще одной стороны к смеху и юмору подошли ученые, входящие в ассоциацию изучения игры (TASP). Данная организация была основана в 1973 году в Миннеаполисе в штате Миннесота. Она объединила ученых, занимающихся изучением игры в различных ее аспектах. В настоящее время ассоциация занимается междисциплинарными исследованиями и теоретическими разработками, касающимися игры, вовлекая в орбиту своих интересов ученых из различных стран мира: среди членов ассоциации представители антропологии, биологии, коммуникации, культурологи, танцев, экологии, проблем образования, фольклора, истории, философии, психологии, социологии, искусствоведения. С 1988 года TASP издает журнал, который несколько раз менял свое название: «Игра и культура», «Журнал исследований игры», «Изучение игры и культуры» (в настоящее время) Значительная часть публикаций этого журнала посвящена смеху как одному из основных элементов игрового поведения, его маркеры и организаторы.

В связи с особым местом юмора в американской культуре и литературе ее исследователи не могли не уделить ему особое внимание. В 1975 году в рамках ассоциации изучения современных языков (MLA) была основана Ассоциация изучения американского юмора (ANSA), которая в основном сосредоточена на произведениях художественной литературы США. Ассоциация издает два журнала: «Остроумие» и «Исследование американского юмора». Аналогичные ассоциации возникли и в Европе: в 1987 году во Франции создана ассоциация по развитию исследований комического, смеха и юмора. (CORHUM), издающая журнал *Humoresques*, в 2000-е годы в Испании создано международное общество изучения португало-испанского юмора.

Наряду с объединениями, институционализирующими исследовательскую работу ученых, занимающихся изучением смеха, юмора и комического в академической среде, похожие организации появляются в прикладных отраслях. В 1987 году в США была создана Ассоциация прикладного и терапевтического юмора. Ее работа носит преимущественно медицинский уклон: в нее входят психологи, психотерапевты, медсестры, социальные работники, врачи, руководители агентств ритуальных услуг, предприниматели, священнослужители и

др. Основная цель работы ассоциации включает в себя создание междисциплинарной сети, которая позволила бы обеспечить эффективное и научно обоснованное использование позитивного влияния смеха и юмора на здоровье людей. Аналогичная ассоциация была создана в Канаде профессиональным клоуном Анной Оберг, благодаря которой в Канаде была реализована программа введения в штат больниц терапевтических клоунов.

Взросший объем исследовательской работы, посвященной проблемам смеха, юмора и комического, потребовал создания специализированных научных центров и ресурсных сетевых организаций. В 1976 году в университете Мериленд по инициативе профессора Арта Глинера был основан центр юмористической коммуникации и здоровья, в настоящее время он носит его имя. Основной своей задачей центр считает создание медицинских программ, основанных на практическом применении различных аспектов юмора. В 1996 году в городе Сидней, Австралия была создана ресурсная научно-исследовательская сеть по изучению австрало-азиатского юмора, в 2013 году в университете Brunel, Лондон основан центр изучения комедий.

Несмотря на все разнообразие, наблюдающееся в деятельности организаций, занимающихся изучением смеха и юмора, в их деятельности можно выделить один общий признак, который совпадает с основной тенденцией в развитии современной науки – стремление к междисциплинарности, желание вести исследовательскую работу на стыке научных отраслей. Эта особенность отражает модель комического в большинстве теорий (например, согласно теории сценарных конфликтов В. Раскина и теории бисоциации А. Кестлера комическое содержит в себе два четко выделяющихся и несочетающихся друг с другом смысла), что имеет одновременно важное методологическое значение, а изучение юмора вполне может стать основой для методологического прорыва в той или иной дисциплине. Как утверждает один из ученых, исследующих технологии автоматического генерирования юмористических текстов с помощью специальных компьютерных программ: «Если мы научим искусственный интеллект сочинять и понимать шутки, мы поймем, как устроен естественный язык». Но то же самое об эвристических возможностях исследований юмора можно сказать и в применении к другим отраслям человеческого знания.

Что касается практического применения смеха и юмора, то последние 20 лет наблюдается распространение в коммерческом секторе консультационных услуг разнообразных форм тренингов, консультирования, психологических диагностик, технологий по работе с персоналом, которые основаны на использовании смеха как ресурса управления, оптимизации наращивании человеческого капитала. Правда, стремление к сиюминутным результатам и логика взаимоотношений поставщика услуг с заказчиком, но, главным образом, кажущаяся столь очевидной идея о благотворности воздействия юмора, ведь быть веселым, а не грустным настолько же лучше, насколько лучше быть богатым и здоровым, а не бедным и больным, зачастую лишают эту деятельность необходимого научно-теоретического обоснования. Тем не менее, в настоящее время уже существует значительный объем научно-исследовательских работ, посвященных изучению опыта применения смеховых технологий на практике. В первую очередь это касается медицины, менеджмента и образования.

1) Юмор и медицина

Исследования, посвященные использованию юмора в сфере медицины можно разделить на 2 категории: работы, описывающие опыт применения смеха в качестве элемента лечебного процесса, в которых юмор рассматривается как общетерапевтическое средство, улучшающее физическое здоровье больных, и исследования психиатров, использующих воздействие смеха на душевное состояние пациента как один из методов лечения. Самый известный случай из медицинской практики, подтверждающий исцеляющую силу смеха, стала судьба Нормана Казинса (1915-1990), который с помощью ежедневных ударных доз витамина С и щедрых порций американских юмористических шоу смог избавиться от тяжелейшей болезни: в 1964 году врачи поставили ему диагноз анкилозирующий спондилит, относящийся к группе ревматических заболеваний. Казинс был журналистом, и его профессиональная принадлежность в сочетании с некоторой медицинской подготовкой (он работал старшим преподавателем медицинского факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе) сделала способ его самолечения сенсационным; он рассказал о нем в двух автобиографических книгах «Анатомия болезни с точки зрения пациента» (1979) и «Врачующее сердце, биология надежды и исцеляющая сила человеческого духа» (1989).

Американский ученый Уильям Фрай начал изучать физиологию и психологию смеха в 1953 году. В 1968 году результаты его работы были опубликованы в книге «Сладкое безумие: изучение юмора». Раймонд Лизди в 1978 году в своей работе «Смех за смехом: исцеляющая сила юмора», характеризуя физиологию, психологию и социальные аспекты смеха, высказал идею об интегрировании юмора в процесс лечения пациентов. Свою лепту во внедрение юмора в лечебный процесс внесли и специалисты по сестринскому делу: в 1977 году вышла работа Веры Робинсон «Юмор и здравоохранение: терапевтическое использование юмора в уходе за больными». В 1996 году Пэтти Уэтен опубликовала книгу «Смех сочувствия: шутки для вашего здоровья; сердце, юмор и лечение». В этих книгах дается не столько теоретическое исследование физиологии смеха, сколько обобщается и систематизируется опыт использования смеха в лечении, накопленный медсестрами за их многолетнюю практику. Существуют подобные же публикации, описывающие опыт работы персонала геронтологических центров и хосписов: «Терапевтический юмор в работе с пациентами пожилого возраста» (1992), ее авторы Френсис МакГир, Розанджели Бойд и Анн Джеймс рассматривает в этом ключе работу геронтологического Центра Эндрюса в Университете Лос-Анджелеса; книги Аллена Клайна «Исцеляющая сила юмора» (1989) и «Мужество смеха» (1998) содержат множество примеров того, как шутки и остроумные высказывания позволяли людям даже перед лицом неизлечимых болезней и мучительных переживаний сохранять присутствие духа.

С физиологической точки зрения благотворное воздействие смеха на организм объясняется учеными рядом факторов. Во-первых, это умеренная физическая нагрузка - 20 минут смеха по энергозатратам равны трехминутному упражнению на тренажере. Во-вторых, смех улучшает циркуляцию крови, повышает артериальное давление и ускоряет сердцебиение. Энергичные вдохи и выдохи во время смеха способствуют глубокой вентиляции легких и повышают их насыщение кислородом в 6 раз по сравнению с тем, как это происходит во время спокойного разговора. Когда смех прекращается, сердцебиение и артериальное давление снижаются ниже нормы и сохраняют пониженные показатели в течение 45 минут. Мышцы в это время расслабляются. В-третьих, смех снижает содержание в крови гормонов стресса, у смеющегося человека в головном мозгу блокируются центры

тревоги и запускается процесс выработки эндорфинов. Этим можно объяснить обезболивающий эффект после смеха, который фиксируется в отзывах пациентов. В-пятых, наиболее перспективной областью медицины с точки зрения изучения смеха и юмора в последние два десятилетия становится психонейроиммунология, изучающая влияние психики на состояние иммунной системы. В исследовании американских ученых Ли Берка и Стенли Тана, выполненных в 1996 году, установлена связь между активизацией иммунной системы и просмотром пациентом комедий, причем, этот эффект сохраняется, по крайней мере, в течение суток [См.: Morgeall 2008].

Практическим результатом всех этих исследований и аналитических работ стало учреждение в американских и канадских больницах новой штатной единицы - больничного клоуна, которым обычно становится человек, сочетающий артистические способности с медицинской подготовкой, и юмористических комнат с библио-, фоно-, и видеотеками произведений комического характера.

Несмотря на значительный вклад, который еще в начале 20 века внесли в изучение юмора работы Зигмунда Фрейда, психотерапия длительное время избегала использования в своей практике юмора, по-видимому относясь к себе с излишней серьезностью. Ситуация существенно изменилась за последние 40 лет. Одним из поворотных пунктов в изменении оценок юмора представителями данной отрасли медицины стала статья известного психиатра Виктора Франкла, опубликованная в 1967 году, «Парадоксальная интенция: логотерапевтическая техника». Предложенная Франклом методика по сути является доведением тревог и страхов пациентов до абсурда с целью вызвать у них критическое отношение к своему состоянию. А критерием результативности приема становится смех пациента.

Идеи Франкла получили свое развитие в книге Аллена Фрая «Улучшение состояния через его ухудшение» (1978), ее автор, основываясь на примерах из собственной практики, утверждает, что если пациент смог посмотреть а собственную проблему со смехом, то он эмоционально дистанцируется от нее, становится более объективным, что, в конечном итоге, помогает ему лучше с ней справиться. В работе Дэна Келлера «Юмор как терапия» (1984), веселье рассматривается как состояние ослабления эмоционального и интеллектуального напряжения, переживая которые человек может найти ускользнувший от его сознания источник психологических проблем, смех в этом слу-

чае оказывается своего рода аналогом сна или неконтролируемого речевого потока, который в качестве рабочего материала используется в психоанализе.

В исследовании Томаса Кулмана «Юмор и психотерапия» (1984) основное внимание уделяется когнитивной стороне юмора, также как при проговаривании проблемы снижается ее острота, при высмеивании проблемы она решается быстрее и успешнее. Как говорит один из американских психотерапевтов Гордон Элпорт: «Невротик, который научился смеяться над собой, уже находится на пути управления своим состоянием, а возможно и на пути к излечению» [The Primer of Humor Research 2009, p. 456]. В обзорной работе Э.И. Бакмана «Руководство по юмору: клиническое применение в психотерапии» приводятся многочисленные примеры его успешного использования в детской и подростковой терапии, юмор в лечении пациентов пожилого возраста и юмор в лечении больных раком. Несмотря на то, что практически все ученые оговариваются, что смех и юмор в процессе лечения должен использоваться с соблюдением мер предосторожности, на данный момент уже накоплен значительный объем данных, свидетельствующих о благотворном влиянии смеха и юмора как на физическое, так и на душевное состояние человека.

2) Юмор и менеджмент

Обращение бизнеса к юмору в начале 1980-х гг. как одному из элементов управленческих технологий было продиктовано сугубо утилитарными мотивами. Исследователи связывают появление в корпорациях консультантов по юмору, повышающийся спрос на разнообразные тренинги юмористической направленности, внедрение юмора в технологии выработки управленческих решений с переходом от индустриальной экономической модели к информационной. В парадигме индустриальной модели отношение менеджмента к работнику основывалось на презумпции его безответственности и склонности ко лжи в отношении работодателя, поэтому идеально организованный производственный процесс в рамках этой модели производственных отношений представляет собой его разделение на примитивные операции, которые по причине их простоты не требуют длительного обучения и легко контролируются администрацией. Принципы подобного управления были разработаны Тейлором, который, например, основываясь на научных расчетах определял с точностью до фунта необходимую и

достаточную массу угля на лопате кочегара и оптимальное количество этих лопат, брошенных в течение минуты в топку печи, которое обеспечивало наивысшую эффективность производственного процесса. Однако в условиях информационной экономики и системы международного разделения труда от персонала требуется нечто большее, чем строгое и четкое следование инструкциям, нормам и регламентам.

Управление человеческими ресурсами должно обеспечивать предприятию способность к быстрым изменениям, в противном случае оно проигрывает конкурентную борьбу. Инновационный характер развития современной экономики требует постоянной выработки и реализации оригинальных, нестандартных решений, которые влекут за собой изменение корпоративной культуры - трудовая этика при этом заменяется этикой игры. Прimitивный ручной труд выполняют роботы, качественно изменяется содержание деятельности человека на рабочем месте: от него в меньшей степени требуется способность выполнять стандартные действия и в большей принимать решения и взаимодействовать с другими людьми, умения работать в команде. Внедрение новых технологий повышает значимость обучения и переобучения персонала, доля затрат времени на которые постоянно растет. Повышение качества продукции, которое зависит не только от менеджмента, но и от рядовых сотрудников, требует обеспечения их большей вовлеченности в процесс управления производством. Все эти факторы усиливают значимость человеческого капитала. С другой стороны, именно стремительность происходящих изменений и обострение конкурентной борьбы порождает у людей чувство неуверенности в завтрашнем дне, тревогу, стресс. По оценкам экономистов ежегодный ущерб от психических расстройств, связанных со стрессом достигает 200 миллиардов долларов. Таким образом, менеджменту необходим инструмент одновременно стимулировал бы оригинальное креативное мышление и снижал уровень стресса, возникающего на предприятии. С обеими этими задачами успешно справляется игровое поведение и юмор.

Д. Моррелл, один из исследователей юмора тесно сотрудничающий с американскими корпорациями, приводит пример из речи, произнесенной при вступлении в должность исполнительного директора американской компании, обеспечивающей безопасность, нового менеджера: «1. Умейте рисковать. Не бойтесь опасности. 2. Делайте ошибки. Не пытайтесь их полностью избежать. 3. Берите инициативу

на себя. Не ждите инструкций. 4. Расходуйте энергию на решения, а не на эмоции. 5. Стремитесь к наивысшему качеству. Превосходите стандарты. 6. Ломайте устоявшееся. Это первый шаг в творческом процессе. 7. Сосредоточьтесь на возможностях, а не на проблемах. 8. Экспериментируйте. 9. Берите на себя ответственность по внесению улучшений. Не обвиняйте других в бездействии, если вас что-то не устраивает. 10. Работайте с легкостью, а не через силу. 11. Сохраняйте спокойствие! 12. Улыбайтесь! 13. Веселитесь». Как говорит Моррел, если не считать пятый пункт, то все эти принципы могут быть успешно реализованы в атмосфере, где поощряются юмор и смех. По опросам руководителей кадровых служб и управлений по работе с персоналом наличие чувства юмора у соискателя, начиная с 1980-х гг. является важным фактором при приеме на работу: «Люди с чувством юмора более креативны, отличаются большей гибкостью мышления и склонностью к восприятию новых идей и подходов» [Morreel 2008, p. 459].

В 1990-е годы в практику работы американских компаний входят юмористические тренинги и консультации по юмору. В 1994 году в Чикаго в группе компаний практиковалось применение актерско-комиков из театра для организации импровизированных инсценировок с участием сотрудников, целью которых было снижение стресса, увеличение креативности, способности работать в команде и развитие коммуникативных навыков. Данные ученых подтверждают справедливость этих эмпирических наблюдений. Согласно экспериментам, проведенным Элис Айзен, работающей в департаменте психологии и школы менеджмента Джонсон Корнельского университета, у групп, которые предварительно участвовали в деятельности, связанной с юмором, техника мозгового штурма давала более широкий спектр результатов в сравнении с контрольными группами. Согласно исследованиям Дэвида Абрамса прослеживается корреляция между способностью работника переживать позитивный юмор на работе и степенью вовлеченности в производство, удовлетворением от работы и высоким уровнем психического здоровья. Абрамс выделяет шесть параметров в организации труда, которые способен улучшить юмор: «Снижает чувство скуки и монотонности, удовлетворяет потребность в межличностном общении, повышает креативность и взаимовыручку, повышает уверенность в себе, улучшает коммуникабельность и снижает напряжение и остроту конфликтов» [Morreel 2008, p. 461].

Безусловным лидером по внедрению юмора в корпоративную культуру стала Америка, однако похожие процессы можно наблюдать и в европейских компаниях. В книге Жака Луи Барсу «Веселый бизнес: юмор, менеджмент и культура бизнеса» используется метафора: юмор может быть мечом – инструментом влияния и убеждения, мотивирования и объединения, способом озвучить замалчиваемое и внести изменения в работу. Но юмор может быть и щитом – уклонением от ударов критики, способом пережить неудачи и ослабить эмоциональную остроту конфликтов.

Если обобщить материалы экспериментов, описание опыта внедрения юмора в корпоративную культуру практические рекомендации по его использованию в жизни корпорации, то можно констатировать, что речь фактически идет о попытках реализации пусть и в иных социально-экономических и культурно-исторических условиях идей карнавального смеха М.М. Бахтина. Что кажется вполне закономерным, ведь еще в начале XX века А. Бергсон, противопоставляя творческое, живое, уникальное и аутентичное шаблонному, стереотипному и механическому, указывал, что именно смех обезвреживает то, что противостоит жизни и творческому началу. Когда в конце XX века в условиях информационной экономики постиндустриального общества возникла необходимость избавиться от шаблонов, стереотипов и механицизма, наполнить производственные процессы человечностью и жизненностью (или, выражаясь терминами менеджмента, – клиенто-ориентированностью), а сотрудников раскрепостить и освободить их творческий потенциал, то это неизбежно будет принимать формы карнавальных практик, описанных в трудах М.М. Бахтина. Когда процесс нужно сделать живым и настоящим, без смеха не обойтись.

3) Юмор и образование

Живое общение, преодоление шаблонов и стереотипов, поиск нестандартных решений в сфере образования не менее важен, чем в бизнесе. С начала 1980-х гг. одним из ресурсов инновационной педагогики становится юмор. По свидетельствам педагогов юмор развивает аналитическое, критическое и ассоциативное мышление; помогает привлечь и удержать внимание обучаемых, способствует прочному усвоению знаний, снижает стресс, устанавливает контакт между обучающим и обучаемым, воспитывает командный дух, сглаживает воз-

никающие внутри группы противоречия и конфликты, снижает страх и неуверенность при совершении рискованных действий и позволяет вовлечь в активную деятельность пассивных учеников. В книгах Мэрилин Дроз и Лори Эллис «Учимся смеяться: использование юмора в классе», Дианы Лумис и Карен Колберг «Смеющийся класс: юмор и игра в обучении», Фреда Стопски «Юмор в классе: новый подход к критическому мышлению» даются как теоретическое обоснование использования методик, связанных с юмором и смехом, так и практические рекомендации и примеры успешного их применения в преподавании самого широкого спектра дисциплин самым разным категориям обучающихся. По словам Джона Клиза, бывшего участника телевизионного юмористического шоу «Летающий цирк Монти Пайтон», а ныне владельца компании по производству учебных фильмов для бизнеса, когда вам удастся вызвать у аудитории смех, вы заставляете ее одновременно расслабиться и в то же время добиваетесь максимальной концентрации ее внимания – оптимальное сочетание для процесса обучения [Montreal 2008, p. 465]. Основная цель фильмов, произведенных компанией Джона Клиза, состоит в том, чтобы продемонстрировать обучаемым типичные их ошибки в резко преувеличенном карикатурном виде. Подобная подача учебного материала позволяет выработать у обучаемого критическое отношение к совершаемым им действиям и допускаемым им ошибкам и промахам, не снижая уровень его самооценки. Что же касается рисков дезорганизации работы учебной группы, в которой царит постоянное веселье, то педагоги отмечают противоположную тенденцию: благодаря тому, что смех сугубо коллективное, а не индивидуальное явление (человек никогда не смеется в одиночку, смех – всегда производное от общения), то он скорее способствует тому, что энергия чрезмерно студентов направляется в нужное преподавателю русло, она становится более управляемой, в то же время юмор позволяет повысить активность пассивных учеников, помочь им преодолеть страх допустить ошибку и полнее раскрыть потенциал своих творческих способностей.

Таким образом, идеальная модель организации учебного процесса, также как и идеальная модель коммерческого предприятия в условиях инновационной экономики требует от своих участников наличия тех качеств, которые мы находим у людей с развитым чувством юмора. И когда мы конструируем модель идеального студента или идеального сотрудника современной компании, то перечень его

характеристик по многим позициям будет совпадать с образом человека, наделенным чувством юмора. Поэтому широкое внедрение методик обучения и управления персоналом, использующих смех и юмор, представляется вполне закономерным, научно обоснованным и даже очевидным.

§ 2. Проблема классификации теорий комического

В связи с тем, что люди смеялись на протяжении всей своей истории, за тысячелетие накопилось значительное количество трактовок различных аспектов феноменов смеха, юмора и комического, на данный момент их существует уже более ста.

В критических обзорах этих теорий часто встречается упоминание притчи о слепых мудрецах, которые, дотронувшись до разных частей тела слона, пытались составить о нем свое представление и убедить в своей правоте собеседников. Действительно, практически любая теория комического обращает внимание лишь на ряд аспектов, оставаясь фрагментарной по сути, но при этом претендующей на универсальность. Скорее всего, из-за своего пограничного положения между природой и культурой, биологическим и социальным, создание теории, которая бы дала исчерпывающий ответ на все вопросы, связанные со смехом и юмором, принципиально невозможно. Тем не менее, изучение совокупности теорий, концепций, взглядов и замечаний по поводу проблем комического углубляет их понимание и может создать близкие к целостному и достоверному представление о феноменах смеха и юмора. Идея метатеоретического подхода к проблеме комического, заключающегося в систематизации и классификации теорий, возникает в XX веке. Первые варианты этой работы представлены в книгах американского исследователя Д. Салли «Эссе о смехе: его формы, причины, развитие, и его ценность» (1902), английского исследователя Р. Пиддингтона «Психология смеха: исследование социальной адаптации» (1933). В 1964-ом году польский ученый Б. Дземидок представил одну из самых полных, хотя и не бесспорных, систем классификации теорий комического [См.: Дземидок 1974).

В 1972-ом году американский психолог П. Кит-Шпигель предложила типологию теорий комического, состоящую из восьми категорий.

✓Первую категорию составляют биологические теории. Например, теория Ч. Дарвина, которая рассматривает юмор в терминах приспособления к условиям среды и повышения шансов в борьбе за существование в ходе эволюции.

✓Во вторую категорию входят теории превосходства. Например, теория Т. Гоббса, которая предполагает, что смех возникает в тех

случаях, когда смеющийся ставит себя выше других людей в чем-либо.

✓Третья категория включает теории несоответствия. Например, теория И. Канта, рассматривающая в качестве необходимого элемента комического абсурд или логические ошибки.

✓Четвертая категория – теории внезапного перехода, например, теория Р. Декарта, которая предполагает, что юмор есть результат неожиданных изменений оценок и переживаний.

✓Пятая категория названа теорией амбивалентности, то есть, юмор – это результат одновременного существования в сознании противоположных чувств или мыслей, например, теория А. Кестлера.

✓Шестая категория состоит из теорий снятого напряжения, согласно которым, смех вызывается чувством облегчения от стресса, например, теория Г. Спенсера.

✓Седьмая категория – теории конфигурации, которые предполагают, что юмор зависит от успешного разрешения противоречия, снятого несоответствия, например, теория Н. Майера.

✓В восьмую категорию входят психоаналитические теории, например теория З. Фрейда, согласно которой удовольствие от смеха есть результат экономии психической энергии из-за ослабления в шутках репрессивного аппарата морали и разума [см.: Lyttle 2001].

Джеймс Литтл в диссертации «Эффективность юмора в убеждении: тренинг по этике бизнеса» предложил свести восемь категорий комического Кит-Шпигель в три:

✓первая – теории, рассматривающие функции юмора,

✓вторая – теории, изучающие структуру стимулов, реакцией на которой становится смех,

✓третья – теории, принимающие во внимание реакцию реципиента. Соответственно, первая группа включает в себя биологические теории, теории снятого напряжения и теории амбивалентности. Во вторую группу входят теории несоответствия, внезапного перехода и теории конфигурации. Третья включает в себя теории превосходства и новейшие когнитивные теории сценарных конфликтов и словесного юмора [см.: Lyttle 2001].

Американский психолог Р. Мартин, проводя систематизацию теорий комического, созданных в период 1940-х – 1980-х годов разделил их на пять групп:

✓психоаналитические;

- ✓превосходства/унижения;
- ✓возбуждения;
- ✓несоответствия
- ✓и теории переключения.

Характеризуя каждую из них, исследователь замечает, что их возникновение обуславливается изменением приоритетов в научных поисках и смещением центра внимания профессиональных интересов с одного аспекта на другой. Психоаналитическая теория З. Фрейда и его последователей, пользовавшаяся большой популярностью в 1940-е – 1950-е годы в последнее время считается устаревшей и, как правило, непроверяемой экспериментальными методами. Тем не менее, положительное значение психоанализа для изучения юмора состояло в том, что он привлек внимание к некоторым аспектам, которые необходимо объяснить в любой всеобъемлющей теории: «В частности, мы отмечаем преобладание агрессивных и сексуальных тем в большинстве (если не всех) шуток, чувства эмоционального удовольствия и наслаждения (т. е. радость), вызванные юмором, и сильное стремление к юмору» [Мартин 2009, 66].

Связь юмора с агрессией более или менее открытой или скрытой, прямой или трансформированной оказывается в центре внимания ученых, разрабатывающих теории, вошедшие в группу превосходства/унижения. Следует отметить, что с исторической точки зрения это самое распространенное отношение к смеху – оно ведет свое начало со времен Платона и Аристотеля, и было господствующим вплоть до 20-го века, когда смех оценивался скорее негативно, чем позитивно. Во второй половине 20-го века наблюдается культ смеха и юмора, что ведет к противоположной крайности – смех и все, что с ним связано, носит исключительно положительную окраску. Поэтому во второй половине 20-го века этот подход теряет свою популярность и находит все меньше приверженцев, хотя он также как и психоанализ раскрывает важную сторону феномена смеха и юмора. Профессор речевой коммуникации Ч. Грунер, рассматривая юмор с точки зрения эволюционной значимости, считает его формой «игровой агрессии», «удовольствия от юмора» [Мартин 2009, 68]. Несмотря на то, что Ч. Грунеру свойственно абсолютизировать свою точку зрения, значимость теорий превосходства/унижения, по мнению Р. Мартина актуальна по сей день: «подход с точки зрения превосходства может быть теоретической основой для концептуализации юмора как способа со-

владения со стрессом и неприятностями. Если юмор — это способ в игровой форме испытать ощущение победы над людьми и ситуациями, которые нам угрожают, быть выше наших угнетателей и освободиться от ограничений жизни, то нетрудно увидеть, что он может быть важным способом поддержать наши самооценку и здравомыслие перед лицом трудностей» [Мартин 2009, 80].

Теории возбуждения представляют собой модернизированный вариант теорий снятого напряжения. В отличие от теорий превосходства/унижения, они основаны на физиологии смеха, пытаются объяснить его эмоциональную структуру — объяснить причину радости и удовольствия, которые испытывает смеющийся человек. Одна из наиболее поздних разработок в этом русле — теория Дэниэла Берлайна, которая рассматривает психофизиологические характеристики человеческого организма и выявляет зависимость между смехом и возбуждением нервной системы. Согласно гипотезе, выдвинутой этим канадским ученым, субъективное удовольствие есть результат быстрого перехода от высокого уровня возбуждения к оптимальному. Восприятие юмора при этом происходит в два этапа: повышение возбуждения, затем всплеск и внезапное снижение. Подобные же процессы человек переживает во время игры или восприятия произведений искусства, но в случае со смехом они проходят за более короткий период времени и поэтому, гораздо интенсивнее. Проведенные позднее эксперименты не подтвердили наличия второго этапа в смеховой реакции (резкий всплеск возбуждения и следующий за ним спад), но выявили закономерную связь между растущим возбуждением нервной системы и удовольствием, выражающимся в форме смеховой реакции. Таким образом, теории возбуждения доказывают, что юмор не только позволяет преодолеть стресс, но и является своего рода контр-стрессом, создавая позитивное психологическое напряжение он моделирует умеренный стресс, делая жизнь человека более эмоционально насыщенной.

В конце 1960-х — начала 1970-х годов на фоне развития информационных технологий и изучения проблем искусственного интеллекта на первый план в изучении юмора выходят теории, связанные с мыслительными процессами, происходящими в сознании смеющегося человека. Стремление ученых в первую очередь объяснить семантику юмора и логические механизмы его функционирования привело к появлению теорий несоответствия: «эти теории постулируют, что вос-

приятие несоответствия — важнейший фактор, определяющий юмористический характер явления: все забавное нелепо, удивительно, своеобразно, необычно или не соответствует тому, что мы обычно ожидаем» [Мартин 2009, 87]. Примечательно, что теории несоответствия основываются на непроговариваемом, но само собой разумеющемся убеждении в том, что двусмысленность, на которой строится любая юмористическая ситуация, высказывание или образ, являясь нарушением порядка, становится главным источником напряжения для сознания человека. В результате основное внимание уделяется тому, как сознание, оперируя законами логики, может освоить эту двусмысленность.

1) Логика юмора и рациональность

При этом возникает на первый взгляд парадоксальная ситуация: юмористический стиль мышления кардинальным образом отличается от рациональной логики нормальной, серьезной мысли, но в то же время, в парадигме теорий несоответствия именно он активизирует в сознании любого человека работу законов логики и рационального мышления. Связана эта ситуация, очевидно с тем, что приверженцы этого подхода исходят из представления о недопустимости и невозможности для человека находиться в состоянии неопределенности и непонимания, о том, что человеку изначально присуще стремление к порядку, и он на физиологическом уровне не переносит ситуацию абсурда. Характерно, что теории несоответствия получили наибольшее развитие и популярность в англо-саксонских протестантских странах, культуру которых всегда отличало стремление к максимальной рационализации бытия. Например, в концепциях З. Фрейда, М. Бахтина, А. Козинцева смех рассматривается в первую очередь именно как временная отмена любых правил, требований и ограничений, налагаемых рациональным мышлением и здравым смыслом, что и обеспечивает необходимый эмоциональный заряд освобождения разным формам смехового поведения. Поэтому теории несоответствия справедливо упрекают в том, что они стремятся редуцировать юмор к семантике, исключая эмоциональные и социально-психологические аспекты. Однако в защиту теорий несоответствия следует сказать, что любое отклонение от нормы эксплуатирует понятие нормы, любое нарушение логики, в конечном счете, воспроизводит законы логики и любое отклонение от рационального мышления использует механизмы рацио-

нального мышления, – тень, отбрасываемая деревом, не может существовать без дерева, а в любом безумии есть своя система. Потому теории несоответствия вывели на первый план один из самых значимых (если не самый значимый) элементов юмора, и этот подход, несмотря на всю свою ограниченность, оказался самым плодотворным и наиболее интенсивно развивающимся в последние десятилетия.

В связи с тем, что главная задача в теориях несоответствия состоит в изучении семантики юмора, он отождествляется с решением логической задачи. Согласно теории Т. Шульца, «кульминационный пункт шутки создает несоответствие, вводя информацию, которая несовместима с нашим начальным пониманием основной части шутки. Затем это побуждает слушателя возвратиться и искать в основной части двусмысленность, которая может интерпретироваться различными способами, в результате чего кульминационный пункт приобретает смысл. Двусмысленность, которая обеспечивает это разрешение несоответствия, может принимать множество форм, включая фонологическую, лексическую, поверхностную структуру, глубинную структуру и нелингвистические формы двусмысленности» [Мартин 2009, 89]. Двухэтапную модель юмористической ситуации, высказывания или образа предложил другой американский ученый Д. Салс: «Согласно этой модели, основная часть шутки заставляет слушателя предсказывать вероятный результат. Когда кульминационный пункт не соответствует этому предсказанию, слушатель удивляется и ищет когнитивное правило, благодаря которому кульминационный пункт будет логически следовать из содержания основной части шутки. Когда это когнитивное правило обнаружено, несоответствие устраняется, шутка воспринимается как забавная и человек смеется. Однако, если когнитивное правило не обнаружено, несоответствие остается и шутка вызывает лишь замешательство вместо смеха. Таким образом, согласно этой точке зрения, юмор является результатом устранения или разрешения несоответствия, а не его присутствия» [Мартин 2009, 89]. Для того, чтобы провести различие между смехом, вызванным удачной шуткой, чтением детектива или разгадыванием кроссворда, вводятся ряд дополнительных условия: решение должно прийти внезапно, иметь игровую форму, находиться в неугрожающем контексте и, главное, несоответствие должно быть в конечном итоге разрешено. К числу слабых мест в теориях несоответствия их критики традиционно относят, во-первых, их применимость только к вербальному юмору,

причем на уровне фразы или очень простого текста (материалом исследования в работах, выполненных в рамках этого подхода, обычно становятся анекдоты). Во-вторых, юмор в этих теориях предстает как идеальный лабораторный эксперимент, выполненный в стерильных условиях, полностью исключая широкий социальный контекст, в котором в реальности осуществляется юмористическая коммуникация. Несмотря на это, данный подход оказался перспективным и вошел как составной элемент в более поздние концепции.

Как показывает исторический обзор теорий юмора и комического, все они использовали актуальное на момент их создания представление о человеческой природе, строении его организма и психики, которые отражали в метафизической форме этапы технологического развития цивилизации. Понятие юмора возникает в эпоху Возрождения, когда господствовало мнение, что человеком, его физическим и душевным состоянием управляют четыре жидкости (гумора). В эпоху Просвещения весь мир и человек как его часть отождествлялся с часовым механизмом, – необходимо было определить на какой рычаг нажать, чтобы человек рассмеялся. В XIX веке после изобретения парового двигателя смех и юмор в теориях Г. Спенсера и З. Фрейда стали рассматриваться в терминах гидравлических систем и предохранительных клапанов. XX и XXI века продолжают эту линию развития – в компьютерную эпоху метафорой юмора неизбежно становится работа процессора, который одновременно выполняет несколько задач, постоянно ищет, исправляет ошибки и создает тем самым некую искусственную среду, существующую по собственным законам и правилам. Отсюда популярность игрового подхода и парадигмы разрешенного несоответствия в современных исследованиях, посвященных юмору, смеху и комическому.

Исторический и культурологический обзор теорий комического представлен в книге одного из самых известных исследователей юмора Д. Морелла «Comic Relief A Comprehensive Philosophy of Humor:», в которой он разделяет их на четыре категории: превосходства, несоответствия, снятого напряжения и игры. Как это часто происходит в интеллектуальной жизни, новые идеи зачастую оказываются хорошо забытыми старыми и наоборот то, что представляется как ультрасовременное и сверхактуальное оказывается созвучным мыслям, высказанным тысячелетия назад. Поэтому в обзоре Д. Морелла соседствуют Библия, Платон, Аристотель и отцы церкви с именами ученых XX и

XXI веков. Наибольший по протяженности во времени период, по Д. Мореллу, господствовали теории превосходства, которые в целом относятся к смеху, юмору и всему, что с ним связано, резко негативно. Причина такого отношения вполне объяснима, оно является прямым следствием отношения к человеческой природе, и смеху не прощают того, что он эту природу раскрепощает, выводит из-под контроля разума и здравого смысла и поэтому приводит человека в антисоциальное поле. Д. Морелл приводит цитату из «Государства» Платона: «Но наши юноши не должны также быть и чрезмерно смешливыми: почти всегда приступы сильного смеха сменяется потом совсем иным настроением.<...> Значит нельзя допускать, чтобы изображали, как смех одолевает достойных людей и уж менее всего богов» [Платон 2007, с. 154]. Другим не менее древними авторитетным источником, который указывает на связь смеха с низменной стороной человеческой природы в книге Д. Морелла становится Библия: «Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так – человек, который коварно вредит другу своему и потом говорит: "я только пошутил".» (Книга притчей Соломоновых, 26; 18-19). Ветхозаветный Бог смеется исключительно в тех случаях, когда он наказывает грешников и нечестивцев. На протяжении всей истории христианства в Средние века и в эпоху Возрождения господствовало мнение, что смех это нечто противоположное послушанию, кротости, смирению и осознанию собственного несовершенства. Поэтому чем более религиозной была эпоха, тем большим злом считался смех, в этой связи вполне закономерно, что кульминацией этого процесса стало утверждение Т. Гоббса о связи смеха с тщеславием, сформулированное им в XVII веке – веке революций и религиозных войн. Среди современных исследователей к группе теорий противоречия Морелл относит английского философа Р. Скрутона, считающего, что смех основан на проблемных зонах, существующих в обществе, порождающих конфликты из-за разницы в оценочных суждениях, однако по мнению Скрутона смех не порождает противоречия и разногласия, не усиливает раздор, а скорее сглаживает острые углы, позволяя выпустить пар. Если проблемная зона не озвучивается в шуточной форме, если о ней говорят слишком серьезно или полностью замалчивают ее, тогда общество может оказаться на пороге социального взрыва [см.: Scruton 2007).

В религиозных обществах основное внимание в интеллектуальной среде уделяется морально-этическим сторонам жизни, следовательно, проблемы смеха и юмора также решаются в категориях морали и этики, отсюда господство теорий превосходства. Начиная с эпохи Просвещения основой социального бытия становится разум, все прочие стороны жизни считаются производными от него, отсюда смещение акцента в вопросах смеха и юмора с нравственных аспектов на логико-семантические, которые наблюдаются со второй половины XVIII века по сегодняшний день, что привело к возникновению спектра теоретических концепций в парадигме группы теорий несоответствия.

У истоков этого подхода находятся английский философ XVIII века Д. Бинтли (именно он вводит понятие incongruity), немецкий философ И. Кант, философы XIX века С. Кьеркегор и А. Шопенгауэр. Если в рамках группы теорий противоречия авторы, как правило, не скрывали своего негативного отношения к смеху и стремились его осудить, разоблачить, ограничить или отрегулировать, то авторов групп теорий несоответствия отличает стремление смех и юмор реабилитировать и оправдать, в чем смех и юмор несомненно нуждались, так как они никоим образом не вписывались в рамки, очерченные разумом и здравым смыслом, потому что полностью объяснить с точки зрения логики пользу и необходимость существования смеха и юмора весьма затруднительно, если вообще возможно. Логика, согласно которой строятся доводы в рамках группы теорий несоответствия, в общих чертах представляет собой следующее: мышление человека организовано в виде логических конструкций, они оформляют обобщенный жизненный опыт, в соответствии с которым человек воспринимает получаемую информацию и на основании которых совершает определенные действия. Так как человек постоянно находится в ситуации дефицита необходимой ему информации, то он научается заполнять этот дефицит на основе схем, выработанных на основе его предшествующего опыта, то есть он строит свои суждения и действия на основе ожиданий подтверждения правильности суждений и действий, высказанных и совершенных им в прошлом, например, то, что летом бывает тепло, а зимой бывает холодно. Юмор возникает в тех ситуациях, когда реальность не соответствует нашим ожиданиям или наши ожидания начинают противоречить друг другу: бутафорская гиря, кажущаяся очень тяжелой, на самом деле сделана из картона, и когда

цирковой клоун роняет ее кому-нибудь на ногу, это остается без каких-либо последствий; анекдот, представляющий собой рассказ с неожиданным финалом, или сюжеты комедии ошибок, в которых действующие лица постоянно путают братьев-близнецов. К числу самых существенных недостатков теорий несоответствия наряду с недостаточно четким обозначением понятия несоответствия Д. Морелл относит противоестественность получения удовольствия от осознания собственной глупости. Л. Фестингер в книге «Теория когнитивного диссонанса», фактически называя переживание сознанием человека чувства обманутых ожиданий когнитивным диссонансом, указывает, что человеку свойственно избегать их, а в случае, если человек оказывается в ситуации когнитивного диссонанса, он стремится как можно быстрее его редуцировать – наслаждаться ситуацией непонимания, нелогичности и абсурда также противоестественно, как наслаждаться голодом. Подобной же точки зрения придерживались американский философ Д. Сантаяна и английский социолог Б. Барнс.

Авторы теорий комического решают эту проблему, вводя различные оговорки и дополнительные условия. Например, М. Кларк перечисляет три условия, при соблюдении которых несоответствие производит юмористический эффект: «человек воспринимает несоответствие; человек получает удовольствие от восприятия несоответствия; человек наслаждается хотя бы частично собственным восприятием несоответствия, а не какими-либо другими неявными сторонами объекта или ситуации» [Montreal 2008, p. 13]. Шульц и Салс говорили о разрешенном несоответствии, то есть источник удовольствия не в абсурде, а в удачном поиске преодоления абсурда. Впрочем, вряд ли юмор и смех до такой степени нуждаются в оправдании и реабилитации, ведь возражения философов сами находятся в русле просветительской идеологической парадигмы, редуцирующей человеческую природу до ее разумного начала. В то время как человек отнюдь не сводится исключительно к его разуму. Смех, находясь на грани сознания и биологии, как раз и обозначает эту несводимость. Однако в рамках рационального подхода к смеху и юмору, несмотря на контраргументы, именно теории несоответствия в различных своих модификациях оказались наиболее плодотворными и многообещающими.

Физиологические аспекты смеха и юмора, находящиеся за пределами интересов теорий превосходства и несоответствия, пытались объяснить концепции, которые Д. Морелл относит к теориям снятого

напряжения. Данный подход появляется одновременно с теориями несоответствия в XVIII веке и базируется на существовавшем в то время представлении о флюидном (жидкостном) устройстве нервной системы человеческого организма. Согласно этому представлению, при возбуждении нервная энергия циркулирует с большей скоростью, пропускная способность нервных каналов с ней не справляется, возникает затор, напряжение; избыток нервной энергии, который в случае внезапного и благополучного для человека устранения причин этого возбуждения рассеивается в виде смеха. Впервые эта идея была высказана в трактате лорда Э. Шефтсбери «Общее чувство: опыт о свободе остроумия и чувстве юмора» (1709). В дальнейшем в эпоху позитивизма этот подход разрабатывал Г. Спенсер в труде «Физиология смеха» (1891), а в начале XX века австрийский психоаналитик З. Фрейд и американский философ Д. Дьюи. В целом теории снятого напряжения пользуются наименьшей популярностью среди современных исследователей из-за устаревших данных, касающихся физиологии человека. Однако их положительное значение заключается в том, что, во-первых, они обращают внимание на биологическую нерациональную составляющую смеха, демонстрируя его зависимость от человеческой природы. Во-вторых, теории снятого напряжения наглядно и убедительно показывают, что смех с точки зрения биологии – реакция избыточная, ее появление в ходе эволюции человека нельзя объяснить просто целесообразностью, в отличие, например, от интеллекта. Эти проблемы ученые пытаются решить в рамках игровых теорий юмора. Хотя изучение смеха и юмора в рамках теорий игры сравнительно недавнее явление в современной науке, Д. Морелл находит идею считать смех принципиально иной формой деятельности, которая не поддается критериям оценки, применяемым к серьезным формам поведения, уже у Аристотеля и Фомы Аквинского. В трудах этих мыслителей данные идеи были высказаны в эпоху античности и средневековья, но им не придавалось значения, они ждали своего часа и были актуализированы в конце XX – начале XXI века.

Так как Платон смех осуждал, то следует ожидать, что Аристотель и его средневековый последователь Фома Аквинский будут смех оправдывать и защищать. Действительно, с определенными оговорками и при соблюдении необходимых условий и ограничений остроумие, умение шутить и то, что сейчас называют «чувство юмора» (во времена Аристотеля и Фомы Аквинского этого понятия еще не суще-

ствовало) в трактовке античного и средневекового философов являются скорее добродетелью, чем грехом. В «Никомаховой этике» Аристотель по отношению к шутовству вводит чувство меры, считая в равной степени предосудительным как пренебрежение весельем, так и чрезмерное им увлечение, «поскольку в жизни бывает отдых...» [Аристотель 1997, с. 164]. Примечательно, что Аристотель говорит об уместности добродетели шутовства в контексте отдыха, т. е. пространства жизни человека, исключенного из утилитарной сферы, что полностью согласуется с современными концепциями игры. Идеи Аристотеля получили свое дальнейшее развитие в трудах Фомы Аквинского – в «Сумме теологии» в вопросе 168 три раздела посвящены игре: «Может ли игра быть добродетельной?», «Может ли быть греховным чрезмерное увлечение игрой?», «Может ли быть греховным недостаток веселья?». Средневековый философ говорит о необходимостью отдыха не только для тела, но и для духа.

Качество добродетельного человека, умеющего пошутить и развеселить окружающих, в трактате Фомы Аквинского названо заимствованным им у Аристотеля словом «эвтрапелия». При этом отсутствие этого качества расценивается как порок, так как противоречит разуму (а все, что противоречит разуму пагубно для человеческого духа). Сверхсерьезный человек, лишенный чувства юмора, согласно учению Фомы Аквинского, навевая скуку и уныние на окружающих, лишает их радости бытия и удовольствий от жизни, тем самым ведет себя неразумно. Одновременно также как и Аристотель, Фома Аквинский сразу оговаривается, что удовольствие от смеха и других форм игры не должно включать в себя непристойности, оскорблений или дерзости и не должно позволять нам забывать о нашей моральной ответственности. Иными словами, и Аристотель, и Фома Аквинский фактически перечисляют характеристики, встречающиеся в современных концепциях игры, и связывают их со смеховым поведением: ограниченное во времени и пространстве действие, сознательно исключенное из утилитарной сферы жизни, организованное по особым законам и правилам, отличным от законов и правил, существующих вне игрового времени и пространства, и имеющее самодостаточную ценность – источником удовольствия и наслаждения становится сам процесс, а не его результат. И Аристотель, и Фома Аквинский, говоря о смехе, а точнее о деятельности, сознательно, а не стихийно организованной вокруг смеха, относят его к отдыху, но как свидетельствуют

многочисленные факты и зафиксированные психологами данные, подлинное творчество – по настоящему новые, нестандартные, нешаблонные решения (творческие озарения) появляются именно в периоды отдыха, в паузах между напряженной серьезной работой, поэтому доводы Аристотеля и Фомы Аквинского лишней раз свидетельствуют о наличии косвенной связи между творчеством и юмором.

Эта периферийная по отношению к теориям превосходства, самым распространенным в эпоху античности и средневековья, точка зрения, оказалась самой созвучной современным подходам к смеху и юмору. Если выстроить в виде рейтинга популярность вышеприведенных четырех вариантов исследовательских позиций среди современных ученых, первое место, безусловно, разделяют теории несоответствия и теории игры, на втором, – оперирующие понятием агрессии теории превосходства, и наименее популярны в настоящее время кризиса позитивистского мышления теории снятого напряжения. Большая часть исследований, касающихся смеха и юмора, ведется в рамках комбинирования теорий несоответствия и игры, хотя сами исследователи не всегда склонны это признавать.

2) Интегративная концепция комического

Оригинальная интегративная концепция комического представлена в работах М. Мусийчук. Исследователь уделяет особое внимание когнитивному аспекту юмора, проводя его функциональный анализ и рассматривая как особый вид эмоционально-интеллектуальной (аффективно-когнитивной) активности. М. Мусийчук выделяет в комическом четыре вида когнитивных механизмов – коммуникативный, креативный, гелозоический, аксиологический, каждый из них в свою очередь обеспечивает реализацию целого ряда функций. Коммуникативный механизм юмора обеспечивает взаимодействие участников диалога и организацию дискурса в комическом ключе, который состоит в «интенционально-мотивированной контаминации (изменения смысла в результате скрещивания различных слов или выражений близких по звучанию, построению, значению) [Мусийчук 2010, с.50-51]. По словам М. Мусийчук, «механизм реализуется через передачу коммуникативной интенции (равнодействующей мотивов и целей общения) посредством: обращения через воздействие на восприятие юмористического содержания через языковую форму, как средства изменения смысла в процессе восприятия на основе наличия в языке (речи) эф-

фективных форм, влияющих на изменение смысла высказывания в процессе понимания юмора, таких как: доведение до абсурда, смешение стилей, намек, ирония, метафоричность, двусмысленность, парадоксальность; иерархии юмористических языковых коммуникативных средств смещения оценок (обесценивания и повышенной оценки), создающей условия для мобилизации коммуникативных ресурсов через изменение целевых и операциональных установок личности; реализации в контексте юмористической языковой формы и ситуации, личностных особенностей говорящего на основе интерпретации языковой формы через призму ситуации или интерпретации ситуации сквозь призму языковой формы; динамизации смысловой системы на основе юмора, приводящей к созданию и поддержанию контакта при минимальном количестве затраченных на это средств; передачи имплицитного содержания действительности в юмористических коммуникативных модальностях; результирующие смысловые структуры при понимании юмора требуют для своего построения некоторого набора общих (или фоновых) знаний, причем эти навыки не являются чисто лингвистическими, так как мы воспринимаем смыслы независимо от языковых форм, выбранных для их передачи» [Мусийчук 2010, с.51]. Творческий характер юмористического коммуникативного акта обозначен в концепции М Мусийчук как креативный механизм юмора, который «порождает в процессе восприятия текста изменение смысла (порождение нового смысла), основанного на компоновке текста с высокой степенью контраста (диалектической двойственности) и имплицитности, опосредованного обращением к собственным творческим способностям личности, посредством: выявления имплицитного содержания, через динамизацию устойчивых семантических связей (разрушение смысловых стереотипов) и выход на различные уровни обобщения (осмысления) ситуаций, с целью выявления сущностных характеристик; создания значений альтернативных имеющимся через возникновение нового смысла, порождаемого значимыми отклонениями от нормативных структурных ожиданий, опосредованных игровой сущностью юмора; пробуждения дополнительного интереса к проблеме, через вне логические формы доказательства; предвидения последствий, посредством проигрывания на лингвоюмористических моделях, принятия тех или иных решений и выборе оптимального решения в соответствии с заданными критериями управления [Мусийчук 2010, с.51]. Благотворное воздействие юмора на физическое и

психологическое состояние человека описывается термином гелозоический механизм юмора реализация которого основывается на изменении «модально-оценочной направленности личности, опосредованной тождеством противоположностей в игровом контексте юмора, что приводит к оптимизации психофизиологического состояния» [Мусийчук 2010, с.51]. Основания для изменения модально-оценочной направленности разделены на две группы. Во-первых, это изменения преимущественно когнитивного характера. К ним относятся «изменение ценностного масштаба предмета через раскрываемые юмором новые связи предмета, опосредованные тождеством противоположностей в игровом контексте; создание значений, альтернативных имеющимся, через возникновение нового смысла, порождаемого значимыми отклонениями от нормативных структурных ожиданий; преодоление кризисов через обретение утраченного смысла происходящего и обретение неожиданных значений мира вещей и значений; предвидение последствий (возможных действий или бездействия), посредством проигрывания на лингвюмористических моделях, принятия тех или иных решений и выборе оптимального решения в соответствии с заданными критериями управления; закрепление когнитивных механизмов мышления посредством отработки операциональной стороны продуктивных мыслительных процессов» [Мусийчук 2010, с.51]. Во-вторых, изменения связанные с эмоциональной сферой, преимущественно аффективной природы: «возникновение эмоционального отстранения как установочной регуляции поведения, основанной на способности юмора производить подъем эмоций, ослабление напряжения, и приводящее к достижению катарсиса, через придание юмористической формы содержанию; удовлетворение некоторых блокированных потребностей личности посредством актуализации адаптивно необходимых тенденций и потребностей, посредством социально приемлемых форм юмора; воздействие с целью изменения поведения на неосознаваемые области психики, посредством метафоричности и символичности, опосредующих двойственность внутреннего и внешнего содержания юмора, что является необходимым и достаточным условием достижения позитивных изменений; порождение эмоционального принятия задачи через возникновение дополнительного интереса к проблеме, на основе вне логических форм доказательства и возникновение упреждающего понимания опосредованного гедонистической (наслаждения, удовольствия) функции юмора» [Мусийчук

2010, с.51-52]. Ценностные аспекты юмора и комического связаны с работой аксиологического механизма юмора, который «обусловлен нерасторжимостью знаковости и социальности в юморе и проявляется в сконцентрированных тенденциях, определяющих собой направление необходимого изменения мира, через латентную организацию, на основе юмористических фрагментов произведений мировой художественной литературы и фольклора, выражающих отношение народа к событию, явлению, факту, как наиболее широкий и глубокий способ установления связи между внешним миром и субъективным опытом личности, посредством решения задач оценочного характера, с целью выяснения значения и смысла для сегодняшнего бытия» [Мусийчук 2010, с.52]. К функциям аксиологического механизма юмора в работе М Мусийчук относятся дифференцирующая и интегрирующая, контрольно-оценочная, праксеологическая, аккумулятивная.

Также как и в случае с классификацией П. Попченко М Мусийчук стремилась преодолеть дискретность понимания юмора у других ученых и, объединив результаты их работ на качественно новом уровне, было создано холистическое, целостное представление о феномене комического – из кусочков представлений слепых о слоне возник образ всего животного. Подводя итог краткому обзору классификаций теорий комического, можно сделать вывод о том, что наиболее перспективным на данный момент путем развития исследовательской деятельности в данной сфере являются методы, выработанные в рамках теорий несоответствия и подходы, рассматривающие смеховое поведение как частный случай игровой деятельности.

В романе «Имя розы» итальянского писателя У. Эко, опираясь на идеи Р. Барта и М. Бахтина, центральный конфликт, разворачивающийся вокруг второй части «Поэтики» Аристотеля, посвященной комедии, вызван принципиальным различием представлений персонажей о структуре культуры и ресурсах ее развития. Отрицательный персонаж исходит из монологического характера культуры и выступает за насаждение одной, единственно правильной, подкрепленной мнением авторитетов и единственно возможной точки зрения. Его оппонент, выражающий, в том числе, воззрения автора, исходит из представления о полифоничной, множественной, плюралистичной культуры, в пространстве которой источником развития становится свободная дискуссия, диалог и интерпретация истины, допускающая неограниченный перечень ее альтернативных способов прочтения. Богатство

культуры – это не собрание мудрых мыслей, а непрекращающийся активный процесс их освоения и конструирования. Вполне закономерно, что полемика вокруг диалоговой структуры культуры, ее множественности и плюралистичности не смогла обойтись без обращения к теориям смеха и комического – трудам Аристотеля и Фомы Аквинского, которые постоянно упоминаются в романе.

§ 3. Бисоциативная концепция комического А. Кестлера

Идея о том, что юмор является концентрированной формой творческой деятельности, моделью, которая содержит в себе основные элементы акта творчества, была изложена в работах британского писателя и философа, автора статьи о юморе в энциклопедии «Британика» Артура Кестлера. А. Кестлер противопоставляет рутинную и творческую формы мыслительной деятельности по механизму ее осуществления. Проводя сравнительный анализ творческой и нетворческой мыслительной деятельности А. Кестлер составляет следующий перечень пунктов и противопоставлений: «ассоциации внутри рамок заданной матрицы и бисоциации независимых матриц, ведущая роль сознательных или сверхсознательных процессов и ведущая роль подсознательных процессов, обычно подавляемых сознанием, динамичное равновесие и активизация регенеративного потенциала, ригидность по отношению к вариациям и супер-гибкость, повторяемость и новизна, консервативность и деструктивно-конструктивный процесс» [Koestler 1964, p.659-660]. Рутинная интеллектуальная деятельность, в терминах А. Кестлера – умственная привычка, отличается тем, что она имеет репродуктивный характер и лишена новизны и непредсказуемости, хотя и может обладать ценностным наполнением, реализуется же она исключительно в соответствии с существовавшими ранее образцами, правилами и процедурами в рамках информационного пространства, образуемого созданным ранее категориально-понятийным аппаратом (для обозначения этого пространства А. Кестлер использует целый ряд синонимов: матрицы мышления, матрицы поведения, матрицы опыта, матрицы восприятия, референциальный фрейм, дискурсивное пространство, тип логики, но чаще всего употребляется термин ассоциативный контекст). Иными словами, рутинная деятельность осуществляется в рамках одного концептуального пространства. Творчество же в качестве основополагающего элемента включает в себя вовлечение в акт мыслительной деятельности как минимум двух ассоциативных контекстов (концептуальных пространств): «восприятие идеи, ситуации, события в двух обычно не совместимых ассоциативных контекстах» [Koestler 1964, p.95].

Так как самым простым способом взаимодействия является комбинация двух ассоциативных контекстов, то А. Кестлер вводит термин «бисоциация», и ключевым отличием творческой деятельно-

сти от рутинной становится ее бисоциативная структура. Наряду с этим самым существенным признаком А. Кестлер перечисляет следующие свойства творчества: выразительность, оригинальность, экономичность (сжатость). Выразительность – это выделение структурообразующих элементов ассоциативного контекста путем отбора релевантных сигналов, упрощение за счет исключения второстепенных деталей и преувеличения важных элементов. Любое творчество, по мнению А. Кестлера, особым образом манипулирует вниманием и поэтому является в той или иной степени карикатурным, искаженным. Под оригинальностью понимается низкая степень предсказуемости результатов за счет «отклонения от конвенциональных норм и установления новых стандартов релевантности» [Koestler 1964, p. 380]. Экономия обеспечивает информационную насыщенность результатов творческой деятельности, в которых имплицитный уровень содержания значительно превосходит по объему эксплицитный уровень и поэтому требует творческих усилий не только от создателя, но и от реципиента (читателя/слушателя/зрителя). Преодоление разрыва между двумя уровнями содержания осуществляется интерполяцией, экстраполяцией и трансформацией (реинтерпретацией эксплицитного содержания). Таким образом, результат творческой деятельности с одной стороны должен быть ограничен во времени и пространстве и носить законченный характер, с другой стороны быть фрагментарным и незавершенным. Примечательно, что А. Кестлер на протяжении своей работы неоднократно иллюстрирует свои идеи ссылками на С. Малларме, П. Пикассо и Э. Хемингуэя.

Комбинаторная концепция творчества А. Кестлера в своих основных чертах повторяет гегелевскую триаду тезис – антитезис – синтез и поэтому закономерно, что британский философ вслед за немецким философом XIX века, хотя и используя термины теории информации XX века, приходит к идентичному выводу о значении юмора для творческой деятельности. Гегель в «Науке логики» выделял три формы познания мира: метафизику, иронию и диалектику. В иерархии Гегеля ирония стояла на одну ступень ниже диалектики, но на одну ступень выше метафизики. В терминах, предложенных А. Кестлером, метафизику можно назвать рутинной формой мыслительной деятельности, диалектику – творческой, а ирония – это необходимый промежуточный этап для перехода от одного к другому. Собственно говоря, именно по этой логике построена книга А. Кестлера «Акт творчества»,

в которой он формулирует концепцию бисоциаций на материале юмора и лишь затем приступает к рассмотрению художественного и научного видов творчества. Соответственно А. Кестлер вслед за Гегелем в зависимости от механизма взаимодействия ассоциативных контекстов в ходе бисоциации, а также эмоционального фона, который сопровождает это взаимодействие, выделяет три типа творчества: юмор, наука и искусство.

В случае с юмором ассоциативные контексты, участвуя в акте бисоциации, вступают в отношение неразрешимого конфликта, так как конфликт неразрешим, он создает острое эмоциональное напряжение, при этом, чем он острее (концентрированное во времени) тем выше позитивный эффект смеха на состоянии человека. Неразрешимость противоречия, вызванного юмором, определяет и его эмоциональный фон – сочетание самоутверждения с агрессивной оборонительной эмоциональной реакцией. В качестве примера А. Кестлер ссылается на анекдот из творчества французского писателя XVIII века: Шамфор рассказывает как во времена Людовика XIV некий маркиз, войдя в будуар своей жены, обнаружил ее в объятиях епископа. Тогда он спокойно подошел к окну и начал благословлять людей на улице. На вопрос жены, что он делает, тот спокойно отвечает: «Раз монсеньор исполняет мои функции, я исполняю его» [цит. по: Тань Аошуан 2012, с. 250].

Ассоциативные контексты (или тип логики в этой части книги А. Кестлер использует этот оборот), задействованные в данном случае: во-первых, муж, заставший свою жену с любовником, во-вторых, служебные обязанности священнослужителя и принцип распределения обязанностей между разными членами общества. «Ключевым пунктом в поведении маркиза является то, что оно одновременно и неожиданно и безупречно логично – просто это другая логика, которая обычно не используется в такого рода ситуациях» [Koestler 1964, p. 35].

Эмоциональная структура в данном эпизоде представляет собой нарастание напряжения, связанного с чувствами обманутого мужа, который не может отомстить обидчику из-за его социального положения, это напряжение внезапно устраняется за счет перевода поведением главного персонажа всей ситуации в принципиально иной ассоциативный контекст. При этом первоначальный конфликт между мужем и любовником сохранился, он лишь потерял свою остроту. Побудитель-

ные мотивы маркиза оказываются связанными с необходимостью по-
квитаться с соперником для самоутверждения и сохранить собствен-
ное лицо, по возможности нанеся ущерб чести и достоинству против-
ника (агрессивно-оборонительная реакция). Таким образом, бисоциа-
тивная концепция юмора Кестлера фактически является интегратив-
ной, соединяя три основных подхода к изучению смеха, юмора и ко-
мического: теории несоответствия, снятого напряжения и теории пре-
восходства/унижения. При этом центральным элементом все-таки яв-
ляется наличие несоответствия, так А. Кестлер помещает юмор в ряд
разновидностей интеллектуальной деятельности.

Теория А. Кестлера, занимающаяся изучением основ образно-
символического и логико-понятийного мышления, привлекла к себе
интерес исследователей из самых разных отраслей науки. Идеи бри-
танского писателя и философа легли в основу работ, посвященных
метафоре [см.: Fauconnier G., Turner M. 2002; Brone G., Feyaerts K.
2003], исследованиям проблем искусственного интеллекта [см.: Dub-
litzky W. et al. 2012], но основное влияние концепция А. Кестлера ока-
зала на исследования юмора как в прикладном, практическом приме-
нении идей А. Кестлера [см.: Partington 2011] так и в теоретическом
плане – она стала основой для самых широко применяемых в совре-
менный период теорий сценарных конфликтов и общей теории сло-
весного юмора.

§ 4. Общая теория словесного юмора и ее разновидности

В 1984 году в Нидерландах в городе Дордрехт была издана книга «Семантические механизмы юмора», которой суждено было встать у истоков самой влиятельной в последующие три десятилетия теории юмора. Ее автор Виктор Раскин родился в Советском Союзе (г. Ирбит, Свердловская область), книга начинается с посвящения, написанном на русском языке. В 1966 году он закончил МГУ, отделение теоретической и прикладной лингвистики, в 1970 году под руководством В.А. Звегинцева защитил кандидатскую диссертацию на тему «К теории лингвистических подсистем». Во время написания книги В. Раскин уже был гражданином США, после нескольких лет, проведенных в Израиле, он работал по своей специальности в университете Пердью, штат Индиана, который во второй половине XX века был известен тем, что являлся одним из основных научных центров аэрокосмической отрасли США: среди его выпускников 22 астронавта, в их числе участники полета на Луну. Этот участок переднего края научно-технических достижений по ту сторону океана требовал эффективных средств работы с информацией, что стимулировало развитие лингвистики и побочным продуктом этого развития стала теория сценарных конфликтов. Эти обстоятельства лишней раз подтверждают справедливость А. Кестлера о том, что непроницаемой границы между гуманитарной и инженерно-технической отраслями знаний не существует, а изучение анекдотов (чему посвящена почти половина книги «Семантические механизмы юмора») не исключает, а скорее дополняет разработку маршрутов межпланетных путешествий и расчетов траекторий полетов ракет.

Свою теорию В. Раскин строил на основе развивавшихся в 1960-е, 1970-е гг. направлений в науке о языке: «Семантике, в особенности на порождающей семантике, разработках искусственного интеллекта, репрезентационной компьютерной лингвистике и когнитивной психологии» [Raskin V., Hempelmann C., Taylor Y. 2009, p. 289]. Иными словами и профессиональная подготовка В. Раскина, и выбранная им методология определили подход к юмору с позиций формальной лингвистики, что было поворотным моментом в изучении юмора, данной научной отрасли была придана формализованность и объективность. В предисловии к книге «Семантические механизмы юмора» автор сетует, что «На протяжении столетий большинство мыслителей, а позд-

нее исследователей в области юмора были философами, специалистами по эстетике, социологами, психологами и практиками, то есть юмористы и комедианты, у которых время от времени появлялись какие-то мысли по поводу своей профессии. По крайней мере последние три категории все еще доминируют на международных конференциях, собираемых по этому поводу» [Raskin 1984, p. XIV]. Оглядываясь назад в 2009 году, В. Раскин отмечает, что его подход один из тех немногих, что полностью соответствуют требованиям, предъявляемым научным теориям [Raskin V., Hempelmann C., Taylor Y. 2009, p. 287].

С лингвистической точки зрения основная проблема юмора как акта коммуникации состоит в том, что он искажает передаваемую информацию. Согласно стандартной прагматической модели П. Грайса успешный речевой акт имеет место в случае, если говорящий соблюдает 5 правил: «1) Не говори то, что ты считаешь недостоверным. 2) Не заявляй того, что ты не можешь подтвердить фактами. 3) Избегай неясности выражений. 4) Избегай двусмысленности. 5) Будь краток» [цит. по: Morreall 2008, p. 2]. Юмор в первую очередь нарушает первое и четвертое правила успешной коммуникации: он обязательно предполагает двусмысленность и, следовательно, неполную достоверность высказывания. Для разрешения этой проблемы В. Раскин вводит разграничение двух видов общения: *bona fide* модус, в котором речевое оформление тождественно коммуникативному замыслу говорящего, и *non bona fide* модус коммуникации, в котором они расходятся и противоречат друг другу. *Non bona fide* модус описывает разные формы игрового и фикционального поведения, юмор является частным их случаем, главным отличием юмора от идеальной модели коммуникации можно считать сознательную и неосознанную двусмысленность, именно на нее обращает основное свое внимание Раскин, именно она станет базисом для его семантической теории.

В. Раскин видит основную цель лингвистики в создании теоретической формализованной модели максимально приближенной к естественному речевому поведению носителя языка. Соответственно, он подвергает критике приверженцев порождающей лингвистики в том, что они рассматривают языковые единицы в отрыве от контекста их употребления. Для того, чтобы преодолеть кризис, в котором к концу 1970-х гг. оказалась лингвистика, В. Раскин вводит новую категорию, которая по его мнению должна контекстуализировать теорети-

ческие генеративные модели. Эту категорию он называет сценарий (script), а направление - сценарная семантика.

В книге «Семантические механизмы юмора» автор использует термин сценарий предельно широко, за что и получил справедливые упреки от коллег-лингвистов: «Сценарий – это когнитивная структура, интериоризированная в сознание носителя языка и представляющая знания носителя языка о мире» [Raskin 1984, p. 81]. Претензии, высказанные в адрес В. Раскина, касались отсутствия четкого определения и исчерпывающей классификации сценариев. Оправдать эти серьезные недостатки, если встать на позиции самого В. Раскина, можно, во-первых, тем, что сценарий не определяет и не определяется содержанием, он определяет форму организации содержания, не сами элементы языковой картины мира, комплекс связей между ними; во-вторых, набор сценариев и соотношение между ними отражают картину мира, дать их исчерпывающее описание можно для конкретного носителя языка, для группы носителей языка, для языкового сообщества в целом, но только в определенный период времени и вряд ли возможно создать подобный перечень сценариев для языка вообще, да и вряд ли в этом есть необходимость, так как значимость данного подхода состоит именно в том, что сценарий трактуется как комплекс системных связей, их конфигурация, а не конкретное наполнение, и по своему характеру близко к понятиям ассоциативного контекста в теории А. Кестлера и речевого конструкта в терминах социального конструктивизма. Исходя из современного состояния в лингвистике термину сценарий можно дать следующее определение: «сценарий это ассоциативные контексты, закрепившиеся в сознании носителя культуры в результате приобретения им социального опыта, с которыми вступает во взаимодействие новая информация» [Лаврентьев 2013, с. 11]. В сценарии независимо от его содержания присутствуют следующие структурообразующие элементы: субъект (действующее лицо или лица), его действия, пространство (место действия), время, изменение обстоятельств от начала реализации сценария к его завершению, связь с контекстом. В. Раскин предлагал использовать в качестве синонимов к слову «сценарий» «схему» или «фрейм», но относительно юмора «сценарий» оказался более приемлемым, так как он передает динамику, указывает на связь с конфликтом и обозначает игровой (non bona fide модус) характер акта коммуникации.

Если применить к сценарную семантику к акту юмористической коммуникации, считая ее частным проявлением *non bona fide* модуса общения, содержащим в себе в качестве обязательного элемента двусмысленность, то картина представляется следующей: «Текст можно охарактеризовать как содержащий одну шутку, если он отвечает двум условиям. Содержание текста совместимо, полностью или частично, с двумя разными сценариями. Два сценария, с которыми совместим текст противопоставлены друг другу» [Raskin 1984, p. 81]. Практически это выраженная лингвистическими терминами бисоциативная концепция А. Кестлера.

Описание механизма восприятия юмора в книге Раскина также сходно с описанием этого процесса у Кестлера: читатель/зритель/слушатель начинает воспринимать текст, выстраивая в своем сознании один сценарий, с определенного момента получаемые данные перестают в него вписываться, и реципиент переключается на поиск данных для конструирования второго сценария, обнаружив его и определив, что он прямо противоположен первому, читатель/зритель/слушатель понимает смысл шутки, получает от этого удовольствие и выражает его в виде смеха или улыбки (Раскин принципиально не рассматривал мотивационно-эмоциональных проблем, связанных со смеховой реакцией, он останавливался на стадии понимания).

В этой схеме классификации поддаются 2 элемента: способы противопоставления сценариев (типы сценарных конфликтов) и инструменты переключения от одного сценария к другому (триггеры). Конфликты сценариев могут касаться «относительно небольшого количества бинарных категорий, которые представляют существенное значение для человеческой жизни» [Raskin 1984, p. 113]. В проанализированных им примерах Раскин нашел пять таких категорий:

- 1) реальное / нереальное (существующее / несуществующее, подлинное / недостоверное);
- 2) хорошее / плохое;
- 3) жизнь / смерть;
- 4) приличное / неприличное;
- 5) много денег / мало денег.

Раскин указывал, что перечень этот открытый, так как он отражает систему ценностей как общечеловеческих, так и национально-, культурно-, социально- обусловленных. Отсюда сравнительно боль-

шая доля шуток, связанных с финансовыми вопросами, что вполне объяснимо с точки зрения системы ценностей американского общества (Раскин в основном использовал американский иллюстративный материал). Самой объемной стала первая категория, так как очевидно, что юмор выполняет в первую очередь когнитивно-перцептивную функцию, а категория реальное / нереальное обладает наибольшим познавательным потенциалом и поэтому, в свою очередь распределяется между следующими 3 подкатегориями:

- 1) актуальная ситуация / неактуальная;
- 2) нормальное, ожидаемое состояние дел / ненормальное, неожиданное состояние дел;
- 3) возможная, правдоподобная ситуация / полностью или частично невозможная или гораздо менее правдоподобная ситуация.

В связи с тем, что конструирование сценарных конфликтов в большинстве случаев сводится к созданию локальных антонимов или антонимичных ситуаций, в юмористическом тексте как правило присутствуют специальные фонетические, лексические или синтаксические средства, которые обеспечивают этот процесс, переключая сознание реципиента с одного сценария на другой. Чаще всего триггер представляет собой соединительное звено, которое одновременно относится и к первому сценарию, и к противопоставленному ему второму сценарию. На примере американской шутки, передающей негативное отношение к политикам, Раскин показывает, что слово «джентльмен» выполняет роль триггера за счет двух своих значений: «обращение к мужчине» и «благородный, порядочный человек». «Кто тот джентльмен, с которым я видела тебя вчера вечером? Это был не джентльмен, это был политик.» В данном случае слово «джентльмен» переключает внимание со сценария «сенатор – мужчина» на сценарий «сенатор – политик», создавая локальную пару антонимов «сенатор – джентльмен».

Раскин выделяет два типа триггеров: обеспечивающие двойной смысл и обеспечивающие противопоставление. По формам реализации двусмысленности первый тип включает в себя:

- 1) регулярные триггеры, использующие лексические значения слов;
- 2) фигуративные триггеры, опирающиеся на образные значения слов;
- 3) синтаксические триггеры, то есть параллелизмы;

4) ситуативные триггеры, обеспечивающие двусмысленность конструируемой ситуации;

5) квази-триггеры, использующие не семантику, а созвучие и другие фонетические особенности слов.

Второй тип наряду с противопоставлением может использовать дихотомию, например, шутки, начинающиеся с оборота «В чем разница между ...?».

По распространенности сценариев среди носителей языка Раскин в убывающем порядке называет лингвистические, известные всем, кто владеет языком), сценарии общих или энциклопедических знаний, понятные людям с достаточным и жизненным опытом, сценарии ограниченных знаний, доступные лишь членам определенной группы, индивидуальные сценарии [Raskin 1984, p. 135].

Необходимым условием успешного юмористического акта является наличие общего опыта между автором высказывания и реципиентом. Поэтому на уровне индивидуальных сценариев юмор невозможен, на уровне ограниченных знаний он понятен лишь находящимся внутри группы. В свете этого интересным представляется восприятие комических образов в художественном произведении. Например, взаимоотношения влюбленных в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» или эпизод с покраской забора в романе Марка Твена «Приключения Тома Сойера» это безусловно индивидуальные сценарии и изолированно не могут быть восприняты в юмористическом ключе. Однако в ходе чтения текста художественного произведения индивидуальные сценарии и сценарии ограниченного знания для читателя переводятся в разряд сценариев общих (энциклопедических) знаний или даже в лингвистические сценарии, как это, например, происходит с цитатами, ставшими крылатыми фразами: «А Васька слушает, да ест», «Утром деньги, вечером стулья». Механизм этого перевода можно представить в следующем виде: человек, владеющий английским языком (уровень лингвистических сценариев), имеющий общее представление об Америке XIX века (уровень сценариев энциклопедических знаний), погружается в фикциональный мир, в иную художественную реальность, наделенную всей полнотой собственных пространственно-временных характеристик (уровень сценариев ограниченных знаний), и следя за сюжетом произведения и сопереживая персонажам читатель осваивает их жизненный опыт и взгляды на мир (уровень индивидуальных сценариев). В итоге, читатель эмоциональ-

но вовлекается в успешность проделок Тома Сойера, радуясь вместе с ним, когда он превращает наказание в привилегию и источник дохода – акт юмористической коммуникации состоялся.

Теория В. Раскина безусловно работала на материале анекдотов и каламбуров. Автор полагал, что закономерности, выявленные на элементарном уровне, окажутся справедливыми и для других более сложных актов юмористической коммуникации, что не всегда подтверждалось в действительности, по крайней мере, более сложные и невербальные формы юмора не сводились к конфликтам сценариев и их нельзя полностью объяснить с данных позиций. Очевидно, что В. Раскин, вводя понятие сценарий, сделал лишь первый шаг в правильном направлении контекстуализации юмористического коммуникативного акта. В дальнейшем его концепция развивалась в сторону расширения границ ее применения и учета большего числа факторов, участвующих в юмористическом общении. В 1991 году ученик В. Раскина Сальваторе Аттардо модифицирует его теорию и высказывает основные положения общей теории словесного юмора. В 1993 году справедливость большей части ее тезисов была подтверждена в ходе психологических экспериментов [см.: Ruch W. et. al. 1993].

Основные задачи, которые ставили перед собой исследователи юмора, находившиеся в рамках направления, обозначенного В. Раскиным, можно, в конечном итоге, свести к двум. Во-первых, применить этот подход к вербальным формам юмора, которые нельзя классифицировать как элементарные, а также к вербальным формам юмора неинтенционального и спонтанного характера, когда акт юмористического общения происходит без предварительной подготовки как автора, так и слушателя, то есть, в живой разговорной речи, и наряду с этим проанализировать перспективы использования данного подхода к невербальному юмору. Во-вторых, довести до логического конца формализацию юмористической коммуникации, составить по возможности исчерпывающий перечень факторов, задействованных в ней и описать механизмы их участия в юмористическом общении. Для решения этих задач С. Аттардо достраивает модель сценарных конфликтов В. Раскина дополнительными несущими конструкциями и создает достаточно стройную, хотя и неоднократно оспариваемую иерархическую структуру познавательных ресурсов, которые обеспечивают функционирование юмористического текста. С Аттардо наряду с чистой семантикой привлекает методы других областей лингви-

стики, в частности, прагматики и дискурс-анализа, и фактически идет по маршруту, прочерченному В. Раскиным, который рассматривал в качестве конечной цели контекстуализацию акта юмористической коммуникации.

Принцип, на котором основана иерархическая структура познавательных ресурсов, представляет собой последовательное сужение контекста – от абстрактного к конкретному. Перечисляются они в следующем порядке: «1) конфликт сценариев (то есть элементов картины мира, образующих единство средств выражения, моделей мышления, стереотипов поведения и оценочных суждений); 2) логические механизмы, соединяющие конфликтующие сценарии и создающие двойной смысл высказывания; 3) ситуация, включающая в себя пространственно-временные характеристики высказывания и систему персонажей, участвующих в действии; 4) мишень — конкретный человек, группа людей, какое-либо явление, которое является объектом насмешки, в чей адрес направляется агрессивный эмоциональный заряд высказывания (по мнению авторов теории, это часто встречающийся, но не обязательный компонент); 5) нарративные стратегии — стилистика в широком понимании этого слова; 6) языковые средства, используемые в тексте» [Attardo 2001, pp. 15–25].

В терминах семиотики сужение контекста означает уменьшение числа допустимых внутри знаковой системы комбинаций, сокращение комбинаторного поля. Поэтому самый низкий иерархический уровень занимают языковые средства, которые определяют соответствие юмористического высказывания языковой системе и влияют на относительное размещение в тексте кульминационного момента (триггера), элемента, несущего повышенную смысловую нагрузку. Нарративные стратегии обозначают жанровое (точнее микрожанровое) оформление шутки в виде, например, повествования, загадки, формы «вопрос-ответ» и т.д. Шутка может быть представлена в более или менее развернутом виде, но в связи с повышенной информационной насыщенностью текстов юмористического характера, требующих повышенной концентрации внимания и дополнительных творческих усилий со стороны слушателя (в его сознании одновременно конструируются два сценария), юмористические тексты тяготеют к малым жанровым формам. Мишенью является персонализированный объект (индивид или группа/представитель группы) шутки. Автор теории особо подчеркивает, что этот элемент юмора является необязательным, но признает

тот факт, что доля неагрессивных шуток без объекта осмеяния сравнительно невелика. Чаще всего выбор мишени обозначается по этническому, социальному или политически мотивированному признаку, эксплуатируются существующие в общественном сознании стереотипы. Однако, во-первых, стереотипы как правило очень слабо корреспондируют с реальностью, во-вторых, чаще всего выбор мишени больше говорит о высмеивающем субъекте, чем о высмеиваемом объекте. На примере этнического юмора это убедительно доказал Кристи Дэвис в работах «Этнический юмор по всему миру: сравнительный анализ» (Davies C. *Ethnic Humor Around the World: A Comparative Analysis*, 1990), «Веселье Наций» (Davies C. *The Mirth of Nations*, 2002). Ситуация включает в себя моделируемые высказыванием пространственно-временные характеристики и систему персонажей, участвующих в действии. Этот элемент юмора обозначает, его условность, фикциональность, а также его самодостаточность, что позволяет считать юмор художественным феноменом, артефактом и формой игры (non bona fide модус коммуникации). Собственно говоря, этот познавательный ресурс определяет и сущность находящегося на следующей иерархической ступени элемента – логические механизмы. Они оказались самой спорной и трудно определяемой составляющей общей теории совесного юмора [см.: Krikmann 2006, pp. 37-39]. Однако эти трудности вполне объяснимы, так как юмористическое высказывание моделирует художественную реальность, которая обладает собственной уникальной логикой, согласующейся в первую очередь с этой моделью и лишь во вторую с формальной логикой. Отсюда появление таких терминов как «возможные миры» или «локальная логика», которые близки к используемым в литературоведении оборотам «законы жанра» или «внутренняя логика художественных произведений». Венчает эту иерархическую структуру познавательных ресурсов конфликт сценариев, заимствованный из теории сценарных конфликтов В. Раскина.

Последующие модификации теории В. Раскина в версиях С. Аттардо в 2000-е гг. касались в основном уточнения содержания именно последнего вида познавательных ресурсов, более детального изучения механизма работы взаимодействующих в конфликте сценариев. То есть, ядром концепции остается понятие сценария – это идея, которая объединяет теории А. Кестлера, В. Раскина и С. Аттардо.

§ 5. Теория конструктивизма Дж. Келли и структура комического произведения

Впервые это понятие возникает в 1950-х годах в работах психологов Ж. Пиаже и Дж. Келли, посвященных проблемам познания. Сформулированные в виде системы оппозиций основные положения конструктивизма приняли следующий вид. Репрезентационизму, согласно которому знания являются отражением независимой от субъекта объективной реальности, противопоставляется их выстраивание, конструирование. «Мы по-особому выстраиваем и классифицируем объекты в силу особенностей нашего организма, когнитивных структур, наших действий и категорий языка, который мы используем для осмысления воспринимаемого» [Улановский, с. 40]. Представление об универсальной истине заменяется идеей о том, что истина «принципиально множественна альтернативна, культурно-исторически локальна, контекстуальна и ситуативна. Это означает, что не существует всеобщих, универсальных «Истин» вне отношения к позиции наблюдателя, социальным соглашениям и культурно-историческому контексту. В этом плане конструктивизм противопоставляет фундаментализму и абсолютизму в эпистемологии» [Улановский, с. 40]. Дж. Келли выдвигал позицию конструктивного альтернативизма, утверждавшую, возможность существования в любой ситуации альтернативных интерпретаций, теорий, конструктов, способов концептуализации и репрезентации событий. В соответствии с этой позицией модели познания как поиску абсолютного соответствия с онтологической действительностью противопоставляется познание как поиск подходящего, пригодного образа действия, отвечающего целям организма и познающего субъекта. Именно пригодность в теории Дж. Келли становится основным критерием оценки интерпретационной деятельности: «Он вводит понятие «диапазон пригодности» т.е. того пространства реального мира, на котором данный конструкт или теория обеспечивает зону полезного действия» [Улановский, с. 40].

Конструкт является основным понятием данного течения, в него включаются «способы истолкования мира, своеобразные классификационно-оценочные шаблоны, которые человек создает для предсказания событий и через которые он воспринимает мир» [Улановский, с. 37], что по существу совпадает с основным категориальным аппаратом современных теорий комического. Например, трактовка Дж. Кел-

ли понятия конструкта как «индивидуально биполярного значения, например, «хороший—злой», «крутой—лузер» и т.п.), в которых мы описываем/оцениваем происходящее» [Улановский, с. 37] вполне соответствует термину «ассоциативный контекст» в концепции художественного, научного и комического творчества А. Кестлера, понятию «сценарий» в теории сценарных конфликтов и общей теории совестного юмора В. Раскина и С. Аттардо, и термину «ментальное пространство» в работе «Inside Jokes» Харли, Деннета и Адамса. А в соответствии с трактовкой остроумия Гегелем конструкт основывается на соединении противоположностей, обострении противоречий между ними: «Келли предполагал, что все личностные конструкты биполярны и дихотомичны по природе, то есть сущность мышления человека заключается в осознании жизненного опыта в терминах черного или белого, а не оттенков серого. Точнее, переживая события, человек замечает, что какие-то события похожи друг на друга и при этом отличаются от других. Подобно магниту, все конструкты имеют два противоположных полюса. То, в чем два элемента считаются похожими или подобными, называется эмерджентным полюсом, или полюсом сходства; то, в чем они противоположны третьему элементу, называется имплицитным полюсом, или полюсом контраста. Следовательно, каждый конструкт обладает эмерджентным и имплицитным полюсами». [Левицкая, с. 115]

Достаточно рассмотреть в качестве примера известный эпизод из романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера», чтобы увидеть сходство и последовательное развитие трех подходов к изучению юмора: теории бисоциации А. Кестлера, теории сценарных конфликтов В. Раскина и личностного конструктивизма Дж. Келли.

Во второй главе романа американского писателя, текст которой можно во многих отношениях назвать шедевром социально-психологической прозы, представлен хрестоматийный случай, когда Том в наказание должен был побелить забор. В ходе развития повествования эта процедура из наказания превращается в поощрение, из источника отрицательных эмоций в источник приятных переживаний, из статьи расходов и издержек в статью доходов и инструмент наращивания капитализации, а сам главный герой изменяет свой социальный статус, переходя из униженно-покорного состояния в роль хозяина положения, полностью контролирующего и управляющего процессом. С точки зрения теории бисоциации элементом повествования,

который содержит в себе все вышеперечисленные взаимоисключающие смыслы (точнее составные части двух более абстрактных идей «наказание-поощрение») это работа по покраске забора. Противоположные смыслы появляются в связи с ассоциативным контекстом публичности, ось, благодаря которой эти смыслы сталкиваются – оценочная шкала восприятия своего положения героем. В начале главы автор говорит о душевном состоянии своего персонажа: «Жизнь показала ему бессмыслицей, существование – тяжелой ношей». [Твен, с. 17] В конце главы дается следующая характеристика: «Том приятно и весело провел время в большой компании...» [Твен, с. 22]

Теория сценарных конфликтов также позволяет выделить в этой главе сценарии наказания и поощрения. Сходство этих сценариев заключается в том, что они отмечают более или менее значимое отклонение от нормы, которое выделяет одного из их участников из ряда других ему подобных. В начале главы Том с горечью сравнивает свою участь с тем, как проведут выходной день его друзья: «Скоро другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять и резвиться. У них, конечно, затеяны разные веселые игры, и все они будут издеваться над ним за то, что ему приходится так тяжело работать». [Твен, сс. 18-19] Второй сценарий оказывается задействованный со словами: «Из тысячи... даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить его как следует». [Твен, с. 21] Противоположность двух сценариев заключается в том, что наказание вызывает неприятные переживания («В отчаянии он опустился на землю под деревом» [Твен, с. 17]), а поощрение позитивные эмоции: «Том сказал себе, что, в сущности, жизнь не так уж пуста и ничтожна». [Твен, с. 22] Триггером обозначающим переключение с первого сценария на второй становятся слова автора: «И вдруг в эту черную минуту отчаяния на Тома снизошло вдохновение! Именно вдохновение, не меньше - блестящая, гениальная мысль». [Твен, с. 19]

Что касается конструктивизма, то текст главы насыщен его примерами. «Он вспомнил, как весело собирался провести этот день, и на сердце у него стало еще тяжелее». [Твен, с. 18] Это описание мыслей Тома есть не что иное, как конструирование видения собственного будущего, в терминах Дж. Келли – антиципация. Далее в тексте следует конструкция поведения его друзей и их отношения к нему (в реальности этот конструкт остался нереализованным): «Скоро другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять и

резвиться. У них, конечно, затеяны разные веселые игры, и все они будут издеваться над ним за то, что ему приходится так тяжело работать». [Твен, сс. 18-19] Сконструированность, то есть искусственность и условность поведения человека, в этой главе представлена как на уровне описания действий персонажей, так и на уровне их характеристики автором: «Бен не шел, а прыгал, скакал и приплясывал – верный знак, что на душе у него легко и что он многого ждет от предстоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодический свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах: “дин-дон-дон, дин-дон- дон”, так как Бен изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, стал посреди улицы и принялся, не торопясь, заворачивать, осторожно, с надлежащею важностью, потому что представлял собою “Большую Миссури”, сидящую в воде на девять футов. Он был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать, будто он стоит на своем собственном мостике, отдает себе команду и сам же выполняет ее». [Твен, с. 19] Действия Тома несколько раз сравниваются с поведением живописца: «Том глазами художника созерцал свой последний мазок, потом осторожно провел кистью опять и вновь откинулся назад - полюбовался»; «Том с упоением художника водил кистью взад и вперед, отступал на несколько шагов, чтобы полюбиться эффектом, там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное, а Бен следил за каждым его движением, увлекаясь все больше и больше». [Твен, сс. 20, 21] В этой главе можно найти и примеры, подтверждающие альтернативизм конструктов – оперирование человеком системами истолкования в конкретном ситуативном контексте: «Ходить за водой к городскому насосу Том всегда считал неприятным занятием, но сейчас он взглянул на это дело иначе». [Твен, с. 17] В конце главы автор, подводя итог, сравнивает отношение человека к собственным действиям в зависимости от того, какой конструкт он использует, «игра» или «работа»: «...Работа есть то, что мы обязаны делать, а Игра есть то, что мы не обязаны делать. И это помогло бы ему уразуметь, почему изготавливать бумажные цветы или, например, вертеть мельницу – работа, а сбивать кегли и восходить на Монблан – удовольствие. В Англии есть богачи-джентльмены, которые в летние дни управляют четверкой, везущей omnibus за двадцать-тридцать миль, только потому, что это благородное занятие стоит им значительных денег; но, если бы им предложили жалованье за тот же нелег-

кий труд, развлечение стало бы работой, и они сейчас же отказались бы от нее». [Твен, сс. 22-23]

Но основную роль конструктивизм играет в создании комической ситуации или бисоциации в терминах А. Кестлера, или конфликта сценариев в терминах В. Раскина. В главе представлен конструкт, наделенный иерархическим статусом суперординатного – «наказание». Так как конструкт в концепции Дж. Келли обладает дихотомической структурой, поэтому на противоположном его полюсе должно находиться поощрение. На этой дихотомии и построена нарративная структура данной главы. Неприятные переживания в начале главы преобладают, выражаясь словами Дж. Келли, они носят эмерджентный характер, то есть определяют в данный момент большую часть воспринимаемых ощущений: «Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгновение улетела у него из души, и там – воцарилась тоска»; «Со вздохом обмакнул он кисть в известку, провел ею по верхней доске, потом проделал то же самое снова и остановился: как ничтожна белая полоска по сравнению с огромным пространством некрашеного забора!» «...на сердце у него стало еще тяжелее»; «Самая мысль об этом жгла его, как огонь»; «Он снова убрал свое жалкое имущество в карман и отказался от мысли о подкупе». [Твен, сс. 17, 18, 19] Даже потенциально положительные переживания окрашиваются в мрачные тона, так как входят с систему истолкования (конструкт) «наказание»: «Белые акации стояли в цвету и наполняли воздух ароматом. Кардиффская гора, возвышавшаяся над городом, покрылась зеленью. Издали она казалась Обетованной землей – чудесной, безмятежной, заманчивой». [Твен, с. 17]

Событие «идти за водой» в данном контексте находится вне фокуса пригодности конструкта «наказание», поэтому оно автоматически перемещается на противоположный полюс приятных переживаний: «Ходить за водой к городскому насосу Том всегда считал неприятным занятием, но сейчас он взглянул на это дело иначе. Он вспомнил, что у насоса всегда собирается много народу: белые, мулаты, чернокожие; мальчишки и девчонки в ожидании своей очереди сидят, отдыхают, ведут меновую торговлю игрушками, ссорятся, дерутся, балуются». [Твен, с. 17] Согласно теории Дж. Келли именно перемещение с одного полюса конструкта на противоположный самая простая, часто используемая и в силу закона экономии усилий первая интеллектуальная операция, которую индивид осуществляет с собствен-

ной системой истолкования мира прежде, чем он приступит к изменению конструкта или созданию нового: «Движение к определенной цели предполагает последовательность дихотомических выборов. Каждый такой выбор направляется конструктом. Когда кто-то пытается заново истолковать себя, он может либо с грохотом мчаться по кругу в своих старых желобах, либо складывать новые пути через те области, которые прежде не были у доступны. Если человек находится в стесненных, затруднительных обстоятельствах, он, вероятно, не будет создавать новых каналов, скорее он выберет движение в противоположном направлении уже установленным дименциональным линиям». [Келли, с. 186]

Гениальность мысли Тома Сойера, если использовать категориальный аппарат Дж. Келли, состоит в следующем. Оставаясь в области пригодности (сфере применимости) конструкта «наказание» герой Марка Твена меняет его фокус, он переключает внимание на один из его элементов, на конструкт, имеющий статус субординатного по отношению к «наказанию» «публичное наказание». Дихотомическая структура этого субординатного конструкта состоит из полюсов «публичный»- «закрытый». Именно ее задействует Том Сойер: «Видишь ли, тетя Полли ужасно привередлива насчет этого забора: он ведь выходит на улицу. Будь это та сторона, что во двор, другое дело, но тут она страшно строга - надо белить очень и очень старательно». [Твен, с. 21] В личностных конструктах Тома Сойера, как известно из других глав романа, публичное имеет ярко выраженную положительную оценку. Он, например, предлагал Геку Финну посмотреть на собственные похороны, представляя это событие как увлекательное и занимательное приключение.

Публичное событие как правило разделяет всех его участников на две неравные категории: пассивную, собственно публику, и активную - кого-то неординарного, из ряда вон выходящего. В конструктах персонажей Марка Твена активность и чувство исключительности, порождаемое этой активностью («Из тысячи... даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдется только один...»), оценивается положительно. В одной из школьных глав романа ради того, чтобы покрасоваться перед всей школой, Том, используя весьма хитроумный способ скупки производных инструментов, добился того, чтобы ему вручили совершенно ненужную Библию. В результате, как в аспекте незаурядности активного участника («Разве мальчикам каждый день достается бе-

лить заборы?» [Твен, с. 21]), так в деятельностном аспекте («Слушай, Том, дай и мне побелить немножко! <...> Дай мне только попробовать... ну хоть немножечко. <...> Я буду стараться не хуже тебя. Мне бы только попробовать!» [Твен, с. 21], спрашивает Бен Тома) покраска забора как событие в субординатном конструкте находится на полюсе, противоположном в сравнении с суперординатным конструктом. В конструкте «наказание» более предпочтительным было бы, если бы Тома никто не видел, было бы лучше не белить, чем белить, то есть быть пассивным и находиться вне внимания публики. Именно на эти различия указывает Том в диалоге с Беном Рождерсом: «Что ты называешь работой? <...> Может, работа, а может, и нет. Я знаю только одно: Тому Сойеру она по душе. <...> Приятное? А что же в нем такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достается белить заборы?». [Твен, с. 21]

Как только вследствие изменения фокуса пригодности и использования другой системы истолкования (субординатного конструкта) событие покраски забора переместилось к полюсу позитивной оценки, в том же направлении оно движется как по старым желобам от одного полюса к другому в суперординатном конструкте. Эмержденция и имплицитность при этом также меняются местами. Замечание Тома в конце главы - «Том сказал себе, что, в сущности, жизнь не так уж пуста и ничтожна» - означает, что если жизнь и может быть пустой и ничтожной имплицитно, но в данный момент это скорее не так, чем так.

В терминах личностного конструктивизма теории бисоциации А. Кестлера, конфликтов сценариев В. Раскина и ментальных пространств М. Харли, Д. Деннета и Р. Адамса могут быть сформулированы в следующем виде: комическое – смоделированное событие, в котором конструкт, имеющий иерархический статус суперординатного, посредством одного из своих элементов, являющегося конструктом с субординатным иерархическим статусом, трансформируется таким образом, что изменяется его фокус пригодности, имплицитность становится эмердженцией, и оценка событий перемещается с одного полюса дихотомии конструкта на противоположный. При этом сам конструкт не уничтожается, он изменяется, точнее этот процесс видоизменения назвать развитием конструкта, что подтверждает идею М.М. Бахтина о том, что карнавальный смех на самом деле не разрушает, а укрепляет внесмеховую картину мира.

Например, драматургический прием комедии ошибок основан на суперординатном конструкте идентификации личности. На одном полюсе дихотомии (эмерженция, принимаемая по умолчанию как наиболее вероятная) – общепринятая установка, что черты лица каждого человека уникальны. На противоположном полюсе имплицитность – сравнительно редко встречающиеся случаи полного внешнего сходства разных людей. В комедии ошибок субординатный конструкт «близнецы» перемещает фокус пригодности и внимание на имплицитность, актуализируя противоположный распространённому полюс дихотомии. Ирония – это высказывание, содержащее два значения, расположенные на противоположных полюсах биполярной структуры конструкта. Пародия (Ю.Н. Тынянов в своих трудах постоянно подчеркивал ее системный характер, то есть, связь с принципами конструирования художественного текста) также может рассматриваться как раскрытие имплицитных качеств объекта пародии.

Личностный конструктивизм, дополняя и развивая лингвистические подходы к изучению комического, может отчасти восполнить их недостатки в рассмотрении эмоционально-психологической стороны юмора. Юмор в трактовке конструктивизма делает наглядным то свойство интеллектуальной деятельности, которое в неявной форме присутствует в любой мыслительной операции – сознание индивида оперирует исключительно собственными представлениями о мире, которые лишь опосредовано связаны с объективной реальностью. Это оказывается созвучным теории смеха А. Бергсона, считавшего его причиной механицизм и искусственность, иными словами – сконструированность.

Так как юмор делает наглядным конструктивистский характер мышления, то он запускает рефлекссию по поводу функционирования конструктов, обнажая механизм их создания. В результате индивид осознает сконструированность мира, в котором он находится. Категории свободы и детерминизма в концепции Дж. Келли строятся на разграничении субординатных и суперординатных элементов. Элемент, входящий в суперординатный конструкт и имеющий статус субординатного, полностью детерминирован и лишен свободы. Свобода возникает в том случае, если существует выбор в использовании конструктов, и он рассматривается с более высокой иерархической ступени. Юмор, демонстрирующий искусственность конструкта, как раз и переводит сознание на более высокий иерархический уровень, созда-

вая ощущение свободы или, обратившись к теории З. Фрейда, отменяя детерминизм нравственного или логического контроля.

В этом же ключе можно трактовать известные утверждения о повторении истории в виде трагедии и фарса или о том, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Юмор в данных случаях становится предварительным этапом актуализации необходимости изменения старых или создания новых конструктов. Конструктивизм также очерчивает возможные границы применения смеха. Оперирование конструктом в форме комического произведения допустимо при удовлетворении двух условий: во-первых, конструкт должен обладать достаточной гибкостью (проницаемостью в терминах Дж. Келли), то есть, позволять включение в себя других элементов; во-вторых, его иерархический статус должен допускать наличие по крайней мере еще одного уровня на иерархической лестнице. Следовательно, из сферы смеха исключаются непроницаемые конструкты с абсолютным иерархическим статусом, например, сакральные конструкты, чья легитимность безусловна и чей авторитет непререкаем.

Таким образом, конструктивизм представляется плодотворным и перспективным подходом к изучению феноменов смеха, юмора и комического, который находится в парадигме развития современных гуманитарных наук.

Вопросы для самоконтроля

1. Как вы понимаете мысль о том, что юмор делает понятным «другого», при этом не уничтожая его отличительных особенностей?
2. Назовите крупнейшие научные сообщества, объединяющие исследователей смеха и юмора в различных его аспектах.
3. Какова роль комического дискурса в современной медицине?
4. В каком аспекте использует современный менеджмент различные аспекты комического?
5. С какой целью педагог может использовать смех в образовательной сфере?
6. Какая из классификаций комического вам кажется наиболее близкой? Чем это объясняете?
7. Свяжите различные интерпретации смеха с научными взглядами той эпохи, когда были распространены данные истолкования.
8. Почему концепция смеха, разработанная М. Мусийчук, считается интегративной?
9. Какие три модели творческой деятельности выделял А. Кестлер?
10. Какой смысл вкладывает В. Раскин в понятие «конфликт сценариев»? Что такое ассоциативный контекст и бисоциация?
11. Как индивидуальный сценарий может перейти в разряд общих (энциклопедических) сценариев?
12. Что такое триггеры? Какие типы триггеров актуализируются в процессе создания комического текста? Покажите на конкретных примерах.
13. Какова иерархическая структура комического по С. Аттардо? Обоснуйте каждый из его шести аспектов.
14. Что такое конструктор в теории Дж. Келли? Какова внутренняя структура конструктора? Как выстраиваются иерархические отношения между конструкторами?
15. Как происходит трансформация конструктора в комическом произведении?

Юмор Великобритании

The open window

Saki

"My aunt will be down presently, Mr. Nuttel," said a very self-possessed young lady of fifteen; "in the meantime you must try and put up with me."

Framton Nuttel endeavoured to say the correct something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately he doubted more than ever whether these formal visits on a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing.

"I know how it will be," his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat; "you will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice."

Framton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction came into the nice division.

"Do you know many of the people round here?" asked the niece, when she judged that they had had sufficient silent communion.

"Hardly a soul," said Framton. "My sister was staying here, at the rectory, you know, some four years ago, and she gave me letters of introduction to some of the people here."

He made the last statement in a tone of distinct regret.

"Then you know practically nothing about my aunt?" pursued the self-possessed young lady.

"Only her name and address," admitted the caller. He was wondering whether Mrs. Sappleton was in the married or widowed state. An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation.

"Her great tragedy happened just three years ago," said the child; "that would be since your sister's time."

"Her tragedy?" asked Framton; somehow in this restful country spot tragedies seemed out of place.

"You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon," said the niece, indicating a large French window that opened on to a lawn.

"It is quite warm for the time of the year," said Framton; "but has that window got anything to do with the tragedy?"

"Out through that window, three years ago to a day, her husband and her two young brothers went off for their day's shooting. They never came back. In crossing the moor to their favourite snipe-shooting ground they were all three engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it." Here the child's voice lost its self-possessed note and became falteringly human. "Poor aunt always thinks that they will come back someday, they and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at that window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing 'Bertie, why do you bound?' as he always did to tease her, because she said it got on her nerves. Do you know, sometimes on still, quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window – "

She broke off with a little shudder. It was a relief to Framton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance.

"I hope Vera has been amusing you?" she said.

"She has been very interesting," said Framton.

"I hope you don't mind the open window," said Mrs. Sappleton briskly; "my husband and brothers will be home directly from shooting, and they always come in this way. They've been out for snipe in the marshes today, so they'll make a fine mess over my poor carpets. So like you menfolk, isn't it?"

She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds, and the prospects for duck in the winter. To Framton it was all purely horrible. He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic, he was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary.

"The doctors agree in ordering me complete rest, an absence of mental excitement, and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise," announced Framton, who laboured under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least

detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. "On the matter of diet they are not so much in agreement," he continued.

"No?" said Mrs. Sappleton, in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention - but not to what Framton was saying.

"Here they are at last!" she cried. "Just in time for tea, and don't they look as if they were muddy up to the eyes!"

Framton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. In a chill shock of nameless fear Framton swung round in his seat and looked in the same direction.

In the deepening twilight three figures were walking across the lawn towards the window, they all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. A tired brown spaniel kept close at their heels. Noiselessly they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk: "I said, Bertie, why do you bound?"

Framton grabbed wildly at his stick and hat; the hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision.

"Here we are, my dear," said the bearer of the white mackintosh, coming in through the window, "fairly muddy, but most of it's dry. Who was that who bolted out as we came up?"

"A most extraordinary man, a Mr. Nuttel," said Mrs. Sappleton; "could only talk about his illnesses, and dashed off without a word of goodby or apology when you arrived. One would think he had seen a ghost."

"I expect it was the spaniel," said the niece calmly; "he told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of pariah dogs, and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. Enough to make anyone lose their nerve."

Romance at short notice was her speciality.

Публикуется по: <http://www.classicshorts.com/stories/openwin.html>

Открытая дверь

Саки

— Мистер Наттел, моя тетушка спустится с минуты на минуту, так что пока вам придется смириться с моим присутствием, — сказала особа лет пятнадцати, определенно умеющая владеть собой, несмотря на юный возраст.

В ответ Фрэмтон Наттел попытался сказать что-нибудь уместное, что могло бы должным образом польстить племяннице и, в то же время, не слишком задеть тетушку, которая вот-вот должна была появиться. В глубине души он испытывал серьёзные сомнения, что все эти формальные визиты, которые ему приходилось наносить абсолютно незнакомым людям, благоприятно сказываются на состоянии его нервов, ради лечения которых он и приехал сюда.

— Я знаю, как всё это будет происходить, — сказала его сестра, когда он готовился к отъезду в эту деревенскую глушь. — Ты забудешься в какую-нибудь нору и постараешься ни с кем не разговаривать, и из-за хандры твои нервы станут только хуже. Я, пожалуй, дам тебе рекомендательные письма ко всем, кого я там знаю. Среди них, насколько я помню, есть очень милые люди.

Фрэмтон испытывал сомнения, что миссис Сэплтон, которой он вручил одно из этих писем, относилась к разряду последних.

— Вы знаете кого-нибудь в наших краях? — поинтересовалась племянница, решившая положить конец молчаливому общению.

— Абсолютно никого, — ответил Фрэмтон. — Видите ли, моя сестра года четыре тому назад гостила у местного священника и дала мне рекомендательные письма к кое-кому из местных жителей.

Последняя часть предложения была произнесена с заметной ноткой сожаления в голосе.

— Значит, вы ничего не знаете о моей тетушке? — не теряя самообладания, продолжала юная особа.

— Только её имя и адрес, — признался посетитель. Фрэмтон не имел ни малейшего понятия, вдовствовала ли она или была замужем, но что-то неуловимое в атмосфере комнаты заставляло предположить присутствие в доме мужчин.

— Три года назад на неё обрушилось огромное несчастье, — сказала девочка. — Это случилось уже после отъезда вашей сестры.

— Несчастье? — недоверчиво переспросил Фрэмтон — могли ли несчастья происходить в этих тихих краях?

— Вы, должно быть, удивлены, что в октябре мы держим у себя дверь открытой, — продолжала племянница, указывая на широко распахнутую большую застекленную дверь, выходящую на лужайку.

— Сегодня довольно тёплый денек для такого времени года, — заметил Фрэмтон и добавил: — Но разве окно имеет какое-то отношение к произошедшему?

— Через эту дверь ровно три года назад, в этот же самый день, её муж и два младших брата отправились охотиться на бекасов. Они больше не вернулись. Их засосала трясына, когда они переходили через моховое болото, лежавшее на пути к их излюбленным охотничьим угодьям. Тогда стояло страшно мокрое лето, и те места, которые всегда считались безопасными, вдруг оказались непроходимыми. Их тела так и не нашли. Это было ужасно, — тут голос девочки дрогнул и зазвучал более взволнованно, как показалось Фрэмтону. — Бедная тетушка верит, что однажды они вернуться; с ними будет их маленький коричневый спаниель, который тоже тогда пропал, и они, по своему обыкновению, войдут в эту самую дверь. Вот почему мы держим её открытой каждый вечер, вплоть до наступления темноты. Бедная тетушка, она часто рассказывала мне о том, как они уходили: её муж, с белым непромокаемым плащом, перекинутым через руку, Ронни, самый младший из братьев, по своему обыкновению напевавший: «Берти, почему ты скачешь?» Он всегда делал так, когда ему хотелось подразнить тетушку, — ведь она говорила, что это её ужасно раздражает. Знаете, в такие тихие и спокойные вечера, как сегодня, у меня тоже иногда возникает жуткое чувство, что все они когда-нибудь вернуться через эту дверь...

По её телу пробежала едва заметная дрожь, и она замолчала. Фрэмтон с облегчением вздохнул, когда в комнату торопливо вошла тетушка, рассыпаясь в извинениях по поводу своей задержки.

— Надеюсь, Вера сумела развлечь вас? — поинтересовалась она.

— Она рассказывала очень интересные вещи, — сдержанно ответил Фрэмтон.

— Надеюсь, вы не возражаете, что дверь открыта, — оживленно проговорила миссис Сэплтон. — Мой муж и мои братья скоро вернуться с охоты, а они всегда заходят в дом этим путем. Сегодня они

отправились на болота пострелять бекасов, — представляете, что они сделают с моими коврами, когда вернутся. Но все мужчины таковы, не правда ли?

Она принялась болтать без умолку, рассказывая Фрэмтону об охоте и о том, как мало стало дичи в их краях и каковы могут быть перспективы зимней охоты на уток. Фрэмтон слушал её, замирая от ужаса. Он предпринял было отчаянную попытку перевести разговор на менее мрачную тему, но тщетно, — хозяйка, похоже, не хотела говорить ни о чем другом, и при этом её внимание постоянно переключалось с гостя на распахнутую дверь и расстилавшуюся за ней лужайку. Надо же, как не повезло, думал Фрэмтон, явиться прямо в годовщину со дня трагического события.

— Врачи пришли к единодушному выводу, что мне необходим полный покой, отсутствие волнений и тяжелых физических нагрузок, — наконец сказал Фрэмтон — он был далеко не единственным, кто питал иллюзии, что случайные знакомцы, равно как и абсолютно незнакомые люди, горят желанием узнать в мельчайших подробностях о болезнях и недомоганиях своих собратьев, их причинах и методах лечения. — Но относительно диеты их мнения расходятся... — продолжал он.

— В самом деле? — проговорила миссис Сэплтон, с трудом подавив зевок. Но в следующий момент она была само внимание, — но только не к тому, что говорил Фрэмтон.

— Ну, наконец-то! — воскликнула она. — Успели прямо к чаю; взгляните-ка, все по уши в грязи!

Фрэмтон слегка пожегся и сочувственно-понимающе взглянул на племянницу. Но та, не мигая, устояла в открытую дверь, и в её глазах застыло выражение ужаса, смешанного с изумлением. Фрэмтон, охваченный необъяснимым страхом, резко повернулся в своем кресле и посмотрел в ту же сторону.

В сгущающихся сумерках он увидел три мужские фигуры, — одна из них в белом плаще, — безмолвно двигавшиеся через лужайку по направлению к дому. У каждого из них под мышкой было ружьё, а за ними по пятам устало плелся коричневого окраса спаниель. И когда они подошли совсем близко, тишину прорезал хрипловатый молодой голос, пропевший: «Эй, Берти, почему ты скачешь?»

Фрэмтон поспешно схватил свою шляпу и трость и стремглав бросился через входную дверь, а затем по посыпанной гравием до-

рожке к воротам. Проезжавшему по дороге велосипедисту пришлось свернуть в заросли живой изгороди, чтобы не сбить его.

— А вот и мы, дорогая, — сказал обладатель белого макинтоша, входя в дверь, — хоть и в грязи, зато сухие. А кто это пустился бежать при нашем появлении?

— Мистер Наттел, очень странный человек, — ответила миссис Стэплтон. — Он не говорил ни о чём другом, кроме своих болезней, а, едва завидев вас, бросился вон из дома, даже не попрощавшись и не извинившись. Можно подумать, что он увидел призрака.

— Спаниеля, я полагаю, — не моргнув глазом, проговорила племянница. — Он рассказывал мне, что смертельно боится собак. Однажды, где-то на берегах Ганга, стая бродячих собак загнала его на кладбище, и ему пришлось провести целую ночь в свежевырытой могиле, а эти твари рычали, хрипели и исходили слюной чуть ли не у него над головой. Тут кто угодно перетрусит.

Романтические экспромты относились к числу её любимых развлечений.

Перевод А. Кузьменкова

A visit to Wales

Nat Gubbins

“Bore da i chwi” ...

Which is Welsh for “Good morning to you”. And to which you should reply, if you know any Welsh:

“Beth? y chwi uma?” Which means, “What? You here?” And where, also a very high proportion of the population is named Jones, which can cause a certain amount of confusion and bewilderment at social gatherings.

“Oh, Mr. Gubbins.”

“Mr. Jones?”

“Allow me to introduce you to a friend of mine, Mr. Jones.” “It is indeed a pleasure to meet you, Mr. Gubbins.”

“It is indeed a pleasure to meet you, Mr. Jones.”

“And Mr. Gubbins.”

“Mr. Jones?”

“Here is another friend of mine, Mr. Jones.”

“A pleasure to meet you, Mr. Jones.”

“And well now, and look who’s come. Mr. Gubbins, you must meet a very, very old friend of mine, Mr. Jones.” “How do you do, Mr. Jones?”

“Very well, Mr. Gubbins.”

“And we have by here the guest of the evening.”

“Not Mr. Jones?”

“Mr. Jones himself.”

Wales and the Welsh people have always held a high place in my affections, which are few and not lightly given. The only thing I have to say against them is that they prefer to talk Welsh in their pubs, which leaves me out in the cold, listening to uproarious laughter at jokes which might be against myself.

It may be for this reason that I bought a fourpenny pamphlet called “Welsh in a Week”, and described as “a rapid method of learning Welsh by means of conversation.” But I found the whole thing too difficult, and soon became absorbed in the adventures of a Mr. J. (not a Mr. Jones by any chance?) whose story is told in the English-Welsh dialogue written for the instruction of the student.

We first meet Mr. J. in the train. To his first question: "Is there any room?" the reply from the other passenger is, "There is plenty of room here."

They soon get into amiable and courteous conversation. "Are you going far?"

"I am going to Wales."

"Do we change carriages on the journey?"

"I think so. No, I don't think so."

"What is the name of the next station?"

"The next station is—"

(He evidently doesn't know or can't pronounce it.)

"Do we pass through—?"

"No, we leave it on the left, on the right."

"They are slackening speed. The train is going very fast." "We are close by. We are a long way off."

"We have almost arrived."

"Do you know of a good hotel?"

"I should go to the Queen's, if I were you."

At the Queen's Hotel Mr. J. is received so warmly that he begins to throw his weight about.

"Good morning to you," he says rather coldly to the reception clerk.

"Good morning, sir."

"Can you give me a bed?"

"With great pleasure."

Evidently this is a most exceptional hotel. Mr. J., who seems a bit of a bully, then issues a series of sharp orders which, as we shall see, sets the whole staff against him.

"What is the number of my room?" barks Mr. J. "Number Eleven."

"Show me the way. Take my bag up."

"Where is the waiter?"

The waiter appears.

"Can you speak English?" asks Mr. J.

"I understand a little, but cannot speak it."

"Do you understand me?"

"No. I do not understand you."

This jolts Mr. J. who probably fancies his English (and French too), for his next question is:

"Have you a table d'hôte?"

The waiter stares blankly at him, and no doubt Mr. J. has to repeat the question in Welsh:

“A ces gennyh ginio cyhoeddus?”

The waiter understands this all right, but he already hates the pompous Mr. J. With an evil smile, he leads him to a table, with nothing on it but a tablecloth, and retires to the kitchen to discuss the new guest with the staff.

Let alone and unattended before his blank tablecloth, Mr. J. begins to mutter to himself:

“At what time do we eat today?”

“When do we have lunch?”

“What price is it?”

“What time is it?”

But nobody takes any notice, and we next hear him shouting at the top of his voice:

“Be so good as to bring me a knife.”

“Be so good as to bring me a spoon.”

“Be so good as to bring me a glass.”

After letting him sweat a bit, the waiter appears at last and asks sneeringly:

“What can I offer you?”

And poor Mr. J., humbled by now, dare not ask for his grand table d’hôte, but says, in a crushed voice:

“I wish to have tea, with bread and butter and cold meat.”

“Would you like some beer?” asks the wine waiter, not thinking him fit to look at the wine list.

“Thank you. I prefer water,” says Mr. J. with quiet dignity.

A strange thing happens after this. Either the cold meat is uneatable or they don’t bring it to Mr. J. at all.

Anyway, his next sentences are: “Let us have breakfast. Is breakfast ready?” And he is soon yelling for eggs.

“Bring me an egg,” he roars.

“Bring me two eggs.”

“Give us some boiled eggs.”

Except for suppressed giggles in the kitchen, there is complete silence, and Mr. J. gives it up.

Desperate and lonely, he then goes to the office and asks: “Is there a letter for me?”

This is a silly question, because he has only just arrived, and the hotel clerk, once so amiable, ignores it.

“Have you notepaper, envelopes, pen and ink?” he asks. “What day of the month is it? Where is the post office? Is there anything to be seen here? What churches are to be seen in this neighbourhood? What public buildings are to be seen in this neighbourhood? How far away are they?”

“About forty to sixty miles,” answers the maddened clerk, slamming his ledger and going off in a huff.

Driven into the street by the cold hostility of the hotel staff, the unhappy Mr. J. thinks he will call on somebody, although he appears to be a stranger in the district.

Hailing a passer-by, he says: “Excuse me, but is there not a Mr. J. living somewhere here?”

In a place half full of Mr. J.’s this question causes some amusement and the passer-by invites his friends to listen. Our Mr. J. is soon surrounded by a jeering crowd.

“Yes,” says the passer-by, “there is a person of that name living here.”

“Can you tell me where he lives?” asks the simple Mr. J. “Am I going in the right direction?”

“No. You are quite wrong.”

“Which way, then, ought I to go?”

“You will come to a cross-road,” says somebody.

“Then you can’t miss it,” says somebody else.

“Take the first turning to the left.”

“Turn to the right,” shouts a bystander.

“Ask at the first house you come to.”

“Follow this path. It will take you there.”

“On which side is it?” asks Mr. J.

“On this side,” they shout.

“On the other side.”

“Many thanks,” says Mr. J., going in the wrong direction, amid shouts of laughter.

In the next chapter Mr. J. chums up with somebody.

“How do you do today?” asks his chum. “When did you arrive?”

“Yesterday, today, last night,” answers Mr. J. (Evidently the place is getting him down.)

“How’s your father?”

This old music-hall crack is too much for Mr. J. As you follow his adventures through the book you can see that he is slowly going mad.

Leaving his chum, he rushes wildly round the shops buying hats, collars, shirts, stockings, shoes, a pound of tea, a pound and a half of sugar, and half a pound of butter.

“Where shall I send it?” asks the shopkeeper.

“I will call for it on my way back.”

“You had better let me send it,” insists the shopkeeper.

“I want my hair cut,” answers Mr. J.

Which seems to clinch the matter.

Romance, of a sort, comes to Mr. J. in the last chapter but one. Mr. J. takes a walk with somebody. And if Mr. J. is true to type, it is the hotel chambermaid.

“Will you come for a walk?”

“Willingly.”

(She takes a second look at Mr. J. and changes her mind.) “No, I do not think I can.”

“It will be pleasant walking.” (Satanic, Mr. J.)

“Are you ready to start?”

“I am waiting for you.”

“Which way shall we go?”

“Whichever way you like.”

“Let us go across the fields.” (Steady, Mr. J.)

“Isn’t the grass wet?”

“We can keep to the path.”

“Let us walk through the wood.” (Whoa, Mr. J.)

“How far shall we go?”

“We will not go very far.”

“I must not be long away.”

“We will turn back soon.”

“Let us return the nearest way.”

Well, that’s the end of his rather futile attempt to be a ladies’ man, and in the next chapter he is back in the hotel, fed up, frustrated, and far from home.

He makes a quick decision.

“What time does the first train start in the morning?” he asks the clerk.

The clerk doesn’t answer.

“Let me have the bill,” he snaps.

The clerk shows some speed over this.

“Here is your bill, sir,” he says in a glad, ringing voice. “Call me at eight o’clock,” says Mr. J. stumping off to bed. “Good night, sir.”

Ffarwel. A thauth bletserus, Mr. J., bach.

(Translation: Farewell. And a pleasant journey, Mr. J., dear.)

Публикуется по: Антология английского юмора, М., 1990.

Поездка в Уэльс

Нэт Габбинз

Самоучитель иностранного языка

“Борэ да хви” — по-валлийски это означает “Доброе утро вам”. На что, если вы владеете валлийским, следует ответить: “Бэтх? И хви ума?” Это означает: “Что? Вы здесь?”

Общение с валлийцами осложняется еще и тем, что большинство жителей Уэльса носят фамилию Джонс:

— Мистер Габбинз?

— Мистер Джонс?

— Позвольте представить вам моего знакомого, мистера Джонса.

— Очень рад познакомиться с вами, мистер Габбинз.

— Очень рад познакомиться с вами, мистер Джонс.

— Мистер Габбинз, можно вас на минуту?

— Слушаю вас, мистер Джонс.

— Вот еще один мой знакомый, мистер Джонс.

— Очень приятно, мистер Джонс.

— Боже, смотрите, кто идет! Мистер Габбинз, вы непременно должны познакомиться с моим старинным приятелем, мистером Джонсом.

— Здравствуйте, мистер Джонс. Как поживаете?

— Очень хорошо, мистер Габбинз.

— А вот наш почетный гость.

— Это случайно не мистер Джонс?

— Он самый.

Я всегда симпатизировал Уэльсу и валлийцам. Их единственный недостаток заключается в том, что у себя в пабах и ресторанах они имеют обыкновение говорить по-валлийски, чем в значительной мере меня озадачивают. Чтобы понимать их шутки (направленные, очень может быть, против меня), я приобрел за четыре пенса брошюру, озаглавленную “Валлийский за неделю” — англо-валлийский разговорник, в котором повествуется о поездке в Уэльс некоего мистера Д. (Уж не Джонса ли?)

Первый раз мы встречаемся с мистером Д. в поезде. На его первый вопрос “Это место свободно?” следует категорическое: “Это место совершенно свободно”.

В дальнейшем между мистером Д. и его спутником завязывается оживленный разговор.

— Куда вы едете?

— Я еду в Уэльс. Я не еду в Уэльс.

— Вы делаете пересадку?

— Боюсь, что да. Боюсь, что нет.

— Какая следующая станция?

— Следующая станция... (Вероятно, спутник мистера Д. либо не знает названия станции, либо не в состоянии это название произнести.)

— А мы проезжаем через...?

— Нет. Да.

— Кажется, поезд замедляет ход. Поезд идет очень быстро.

— Мы уже подъезжаем. Нам еще очень далеко ехать.

— Здесь есть хороший отель?

— На вашем месте я бы остановился в “Куинз”.

В “Куинз” мистер Д. приезжает явно в дурном расположении духа.

— Дайте ключ от моего номера!

— Проводите меня!

— Подымите мой багаж!

— Где официант?

Появляется официант.

— Вы говорите по-английски?

— Немного понимаю, но не говорю.

— Меня вы понимаете?

— Нет, вас я не понимаю.

— У вас есть шведский стол? — решает сменить тему мистер Д.

Официант тупо смотрит на него, потом с ядовитой улыбкой сажает ненавистного мистера Д. за пустой столик. Чувствуя подвох, бедный мистер Д. начинает бессвязно бормотать себе под нос:

— Когда мы сегодня ужинаем?

— Что мы будем есть на обед?

— Сколько стоит салат из помидоров?

— Который сейчас час?

Никто, должно быть, не обращает на него внимания, и мистер Д. повышает голос:

— Будьте так любезны, принесите мне нож!

— Будьте так любезны, принесите мне ложку!

— Будьте так любезны, принесите мне стакан!

Наконец, дав ему вволю накричаться, к столику подходит официант и язвительно спрашивает:

— Чего прикажете?

Мистер Д. поникшим голосом заказывает:

— Принесите чай, хлеб, масло и холодную телятину.

Потом, очевидно передумав, заявляет:

— Принесите мне яйцо.

— Принесите мне яичницу.

— Принесите мне два яйца всмятку.

Далее, забыв, должно быть, что время близится к вечеру, восклицает, благодушно откинувшись на стуле:

— Давайте завтракать!

— Завтрак готов?

— Завтрак еще не готов?

Поскольку завтрак не несут, мистер Д., отчаявшись, плетется к администратору и задает ему предельно неуместные (а потому оставшиеся без ответа) вопросы:

— Мне есть письма?

— У вас есть писчая бумага, конверты, перо, чернила?

— Какое сегодня число?

— Где здесь почта?

— В этом городе есть достопримечательности?

Выспросив у администратора адрес ближайшей церкви, мистер Д. выходит на улицу и задает сакраментальный вопрос:

— Как пройти к церкви?

— Дойдете до перекрестка — и направо, — говорит первый прохожий.

— Первый поворот налево, — советует второй.

— Прямо и направо, — безапелляционно заявляет третий.

— Спросите у полицейского, — уклончиво замечает четвертый.

— Большое спасибо! — отзывается окончательно сбитый с толку мистер Д.

В следующем разделе мистер Д. знакомится с валлийцем.

— Как вы себя чувствуете? — участливо спрашивает его новый друг. — Когда вы приехали?

— Вчера. Сегодня. Позавчера вечером, — тараторит мистер Д., которому последнее время изменяет память.

Неожиданно мистер Д. срывается с места и бежит по магазинам, скупая шляпы, растительное масло, обувь, чай, колбасу и чулки.

— На какой адрес отправить ваши покупки? — интересуется владелец магазина, на что получает несколько неожиданный ответ

— Я хочу постричься. Побриться. Принять душ. Принять ванну.

В предпоследнем разделе мистер Д. пытается, и довольно недвусмысленно, соблазнить горничную.

— Не хотите пройтись? — игриво спрашивает он.

— Охотно, — отвечает горничная. — Нет, у меня нет времени. (Вероятно, девушка еще раз посмотрела на Д. и передумала.)

— Сегодня отличная погода, — настаивает на своем дамский угодник мистер Д.

— Вы готовы? (Кажется, он ее уговорил.)

— Я жду вас.

— Куда мы пойдем?

— Куда пожелаете. (Звучит обнадеживающе.)

— Давайте пойдем в лес. Давайте пойдем в поле. (Спокойно, мистер Д.!)

— А трава не мокрая?

— Мы пойдем по тропинке.

— Мы далеко пойдем?

— Мы пойдем очень далеко. (И зайдете тоже далеко? А, мистер Д.?)

— Мы пойдем не очень далеко.

— Давайте вернемся длинной дорогой. Давайте вернемся короткой дорогой.

Прогулка, надо думать, была удачной, ибо мистер Д. по возвращении в отель собирается обратно в Лондон, причем как можно скорее.

— В котором часу отходит первый лондонский поезд? — спрашивает он в пустоту.

— Дайте мне счет! — требует он.

— Разбудите меня в восемь утра!

— Спокойной ночи, сэр! — восклицает неизвестно откуда взявшийся коридорный. Голос у него дрожит от радости. — Фарвел. А тхаутх блетсерус, мистер Джонс, бах. (Перевод: “Прощайте. И счастливого вам пути, дорогой мистер Джонс”.)

Перевод А. Ливерганта

Публикуется по http://psy.1september.ru/view_article.php?id=201000306

How to be an alien

George Mikes

PREFACE

I believe, without undue modesty, that I have certain qualifications to write on 'how to be an alien.' I am an alien myself. What is more, I have been an alien all my life. Only during the first twenty-six years of my life I was not aware of this plain fact. I was living in my own country, a country full of aliens, and I noticed nothing particular or irregular about myself; then I came to England, and you can imagine my painful surprise.

Like all great and important discoveries it was a matter of a few seconds. You probably all know from your schooldays how Isaac Newton discovered the law of gravitation. An apple fell on his head. This incident set him thinking for a minute or two, then he exclaimed joyfully: 'Of course! The gravitation constant is the acceleration per second that a mass of one gram causes at a distance of one centimetre.' You were also taught that James Watt one day went into the kitchen where cabbage was cooking and saw the lid of the sauce pan rise and fall. 'Now let me think,' he murmured - let me think.' Then he struck his forehead and the steam engine was discovered. It was the same with me, although circumstances were rather different.

It was like this. Some years ago I spent a lot of time with a young lady who was very proud and conscious of being English. Once she asked me - to my great surprise - whether I would marry her. 'No,' I replied, 'I will not. My mother would never agree to my marrying a foreigner.' She looked at me a little surprised and irritated, and retorted: 'I, a foreigner? What a silly thing to say. I am English. You are the foreigner. And your mother, too.' I did not give in. In Budapest, too?' I asked her. 'Everywhere,' she declared with determination. 'Truth does not depend on geography. What is true in England is also true in Hungary and in North Borneo and Venezuela and everywhere.'

I saw that this theory was as irrefutable as it was simple. I was startled and upset. Mainly because of my mother whom I loved and respected. Now, I suddenly learned what she really was.

It was a shame and bad taste to be an alien, and it is no use pretending otherwise. There is no way out of it. A criminal may improve and be-

come a decent member of society. A foreigner cannot improve. Once a foreigner, always a foreigner. There is no way out for him. He may become British; he can never become English.

So it is better to reconcile yourself to the sorrowful reality. There are some noble English people who might forgive you. There are some magnanimous souls who realize that it is not your fault, only your misfortune. They will treat you with condescension, understanding and sympathy. They will invite you to their homes. Just as they keep lap-dogs and other pets, they are quite prepared to keep a few foreigners.

The title of this book. How to be an Alien, consequently expresses more than it should. How to be an alien? One should not be an alien at all. There are certain rules, however, which have to be followed if you want to make yourself as acceptable and civilized as you possibly can.

Study these rules, and imitate the English. There can be only one result: if you don't succeed in imitating them you become ridiculous; if you do, you become even more ridiculous.

A WARNING TO BEGINNERS

In England (When people say England, they sometimes mean Great Britain, sometimes the United Kingdom, sometimes the British Isles – but never England.) everything is the other way round. On Sundays on the Continent even the poorest person puts on his best suit, tries to look respectable, and at the same time the life of the country becomes gay and cheerful; in England even the richest peer or motor-manufacturer dresses in some peculiar rags, does not shave, and the country becomes dull and dreary. On the Continent there is one topic which should be avoided - the weather; in England, if you do not repeat the phrase 'Lovely day, isn't it?' at least two hundred times a day, you are considered a bit dull. On the Continent Sunday papers appear on Monday; in England - a country of exotic oddities – they appear on Sunday. On the Continent people use a fork as though a fork were a shovel; in England they turn it upside down and push everything – including peas – on top of it.

On a continental bus approaching a request-stop the conductor rings the bell if he wants his bus to go on without stopping; in England you ring the bell if you want the bus to stop. On the Continent stray cats are judged individually on their merit – some are loved, some are only respected; in

England they are universally worshipped as in ancient Egypt. On the Continent people have good food; in England people have good table manners.

On the Continent public orators try to learn to speak fluently and smoothly; in England they take a special course in Oxonian stuttering. On the Continent learned persons love to quote Aristotle, Horace, *Mon taigne* and show off their knowledge; in England only uneducated people show off their knowledge, nobody quotes Latin and Greek authors in the course of a conversation, unless he has never read them.

On the Continent almost every nation whether little or great has openly declared at one time or another that it is superior to all other nations; the English fight heroic wars to combat these dangerous ideas without ever mentioning which is really the most superior race in the world. Continental people are sensitive and touchy; the English take everything with an exquisite sense of humour – they are only offended if you tell them that they have no sense of humour. On the Continent the population consists of a small percentage of criminals, a small percentage of honest people and the rest are a vague transition between the two; in England you find a small percentage of criminals and the rest are honest people. On the other hand, people on the Continent either tell you the truth or lie; in England they hardly ever lie, but they would not dream of telling you the truth.

Many continentals think life is a game; the English think cricket is a game.

INTRODUCTION

This is a chapter on how to introduce people to one another. The aim of introduction is to conceal a person's identity. It is very important that you should not pronounce anybody's name in a way that the other party may be able to catch it. Generally speaking, your pronunciation is a sound guarantee for that. On the other hand, if you are introduced to someone there are two important rules to follow.

1. If he stretches out his hand in order to shake yours, you must not accept it. Smile vaguely, and as soon as he gives up the hope of shaking you by the hand, you stretch out your own hand and try to catch his in vain. This game is repeated until the greater part of the afternoon or evening has elapsed. It is extremely likely that this will be the most amusing part of the afternoon or evening, anyway.

2. Once the introduction has been made you have to inquire after the health of your new acquaintance. Try the thing in your own language. Introduce the persons, let us say, in French and murmur their names. Should they shake hands and ask: 'Comment aliez-vous?' 'Comment aliez-vous?' – it will be a capital joke, remembered till their last days. Do not forget, however, that your new friend who makes this touchingly kind inquiry after your state of health does not care in the least whether you are well and kicking or dying of delirium tremens. A dialogue like this:

He: 'How d'you do?'

You: 'General state of health fairly satisfactory. Slight insomnia and a rather bad corn on left foot. Blood pressure low, digestion slow but normal.' – well, such a dialogue would be unforgivable. In the next phase you must not say 'Pleased to meet you.' This is one of the very few lies you must never utter because, for some unknown reason, it is considered vulgar. You must not say 'Pleased to meet you,' even if you are definitely disgusted with the man. A few general remarks:

1. Do not click your heels, do not bow, leave off gymnastic and choreographic exercises altogether for the moment.

2. Do not call foreign lawyers, teachers, dentists, commercial travelers and estate agents 'Doctor.' Everybody knows that the little word 'doctor' only means that they are Central Europeans. This is painful enough in itself, you do not need to remind people of it all the time.

THE WEATHER

This is the most important topic in the land. Do not be misled by memories of your youth when, on the Continent, wanting to describe someone as exceptionally dull, you remarked: 'He is the type who would discuss the weather with you.' In England this is an ever-interesting, even thrilling topic, and you must be good at discussing the weather.

EXAMPLES FOR CONVERSATION

For Good Weather

'Lovely day, isn't it?' 'Isn't it beautiful?' 'The sun . . .' 'Isn't it gorgeous?' 'Wonderful, isn't it?' 'It's so nice and hot. . . .' 'Personally, I think it's so nice when it's hot – isn't it?' 'I adore it – don't you?'

For Bad Weather

'Nasty day, isn't it?' 'Isn't it dreadful?' 'The rain . . . I hate rain . . . ' I don't like it at all. Do you?' 'Fancy such a day in July. Rain in the morning, then a bit of sunshine, and then rain, rain, rain, all day long.' 'I remember exactly the same July day in 1936.' 'Yes, I remember too.' 'Or was it in 1928?' 'Yes, it was.' 'Or in 1939?' 'Tes, that's right.' Now observe the last few sentences of this conversation. A very important rule emerges from it. You must never contradict anybody when discussing the weather. Should it hail and snow, should hurricanes uproot the trees from the sides of the road, and should someone remark to you: 'Nice day, isn't it?' – answer without hesitation: 'Isn't it lovely?' Learn the above conversation by heart. If you are a bit slow in picking things up, learn at least one conversation, it would do wonderfully for any occasion. If you do not say anything else for the rest of your life, just repeat this conversation, you still have a fair chance of passing as a remarkably witty man of sharp intellect, keen observation and extremely pleasant manners.

English society is a class society, strictly organized almost on corporative lines. If you doubt this, listen to the weather forecasts. There is always a different weather forecast for farmers. You often hear statements like this on the radio: 'Tomorrow it will be cold, cloudy and foggy; long periods of rain will be interrupted by short periods of showers.' And then: 'Weather forecast for farmers. It will be fair and warm, many hours of sunshine.' You must not forget that the farmers do grand work of national importance and deserve better weather.

It happened on innumerable occasions that nice, warm weather had been forecast and rain and snow fell all day long, or vice versa. Some people jumped rashly to the conclusion that something must be wrong with the weather forecasts. They are mistaken and should be more careful with their allegations. I have read an article in one of the Sunday papers and now I can tell you what the situation really is. All troubles are caused by anti-cyclones. (I don't quite know what anti-cyclones are, but this is not important; I hate cyclones and am very anti-cyclone myself.) The two naughtiest anti-cyclones are the Azores and the Polar anti-cyclones. The British meteorologists forecast the right weather – as it really should be – and then these impertinent little anti-cyclones interfere and mess up everything. That again proves that if the British kept to themselves and did not mix with for-

eign things like Polar and Azores anti-cyclones they would be much better off.

SOUL AND UNDERSTATEMENT

Foreigners have souls; the English haven't. On the Continent you find any amount of people who sigh deeply for no conspicuous reason, yearn, suffer and look in the air extremely sadly. This is soul. The worst kind of soul is the great Slav soul. People who suffer from it are usually very deep thinkers. They may say things like this: 'Sometimes I am so merry and sometimes I am so sad. Can you explain why?' (You cannot, do not try.) Or they may say: 'I am so mysterious. . . . I sometimes wish I were somewhere else than where I am.' (Do not say: 'I wish you were.') Or 'When I am alone in a forest at night-time and jump from one tree to another, I often think that life is so strange.' All this is very deep: and just soul, nothing else. The English have no soul; they have the understatement instead. If a continental youth wants to declare his love to a girl, he kneels down, tells her that she is the sweetest, the most charming and ravishing person in the world, that she has something in her, something peculiar and individual which only a few hundred thousand other women have and that he would be unable to live one more minute without her. Often, to give a little more emphasis to the statement, he shoots himself on the spot. This is a normal, week-day declaration of love in the more temperamental continental countries. In England the boy pats his adored one on the back and says softly: 'I don't object to you, you know.' If he is quite mad with passion, he may add: 'I rather fancy you, in fact.' If he wants to marry a girl, he says:

I say . . . would you? . . .' If he wants to make an indecent proposal: 'I say . . . what about . . .'

Overstatement, too, plays a considerable part in English social life. This takes mostly the form of someone remarking: 'I say ...' and then keeping silent for three days on end.

TEA

The trouble with tea is that originally it was quite a good drink. So a group of the most eminent British scientists put their heads together, and made complicated biological experiments to find a way of spoiling it. To the eternal glory of British science their labour bore fruit. They suggested

that if you do not drink it clear, or with lemon or rum and sugar, but pour a few drops of cold milk into it, and no sugar at all, the desired object is achieved. Once this refreshing, aromatic, oriental beverage was successfully transformed into colourless and tasteless gargling-water, it suddenly became the national drink of Great Britain and Ireland – still retaining, indeed usurping, the high-sounding title of tea. There are some occasions when you must not refuse a cup of tea, otherwise you are judged an exotic and barbarous bird without any hope of ever being able to take your place in civilised society. If you are invited to an English home, at five o'clock in the morning you get a cup of tea. It is either brought in by a heartily smiling hostess or an almost malevolently silent maid. When you are disturbed in your sweetest morning sleep you must not say: 'Madame (or Mabel), I think you are a cruel, spiteful and malignant person who deserves to be shot.' On the contrary, you have to declare with your best five o'clock smile: 'Thank you so much. I do adore a cup of early morning tea, especially early in the morning.' If they leave you alone with the liquid, you may pour it down the washbasin.

Then you have tea for breakfast; then you have tea at eleven o'clock in the morning; then after lunch; then you have tea for tea; then after supper; and again at eleven o'clock at night. You must not refuse any additional cups of tea under the following circumstances: if it is hot; if it is cold; if you are tired; if anybody thinks that you might be tired; if you are nervous; if you are gay; before you go out; if you are out; if you have just returned home; if you feel like it; if you do not feel like it; if you have had no tea for some time; if you have just had a cup. You definitely must not follow my example. I sleep at five o'clock in the morning; I have coffee for breakfast; I drink innumerable cups of black coffee during the day; I have the most unorthodox and exotic teas even at tea-time. The other day, for instance – I just mention this as a terrifying example to show you how low some people can sink – I wanted a cup of coffee and a piece of cheese for tea. It was one of those exceptionally hot days and my wife (once a good Englishwoman, now completely and hopelessly led astray by my wicked foreign influence) made some cold coffee and put it in the refrigerator, where it froze and became one solid block. On the other hand, she left the cheese on the kitchen table, where it melted. So I had a piece of coffee and a glass of cheese.

SEX

Continental people have sex life; the English have hot-water bottles.
A WORD ON SOME PUBLISHERS

I heard of a distinguished, pure-minded English publisher who adapted John Steinbeck's novel. The Grapes of Wrath, so skilfully that it became a charming little family book on grapes and other fruits, with many illustrations. On the other hand, a continental publisher in London had a French political book. The Popular Front, translated into English. It became an exciting, pornographic book, called The Popular Behind.

THE LANGUAGE

When I arrived in England I thought I knew English. After I'd been here an hour I realized that I did not understand one word. In the first week I picked up a tolerable working knowledge of the language and the next seven years convinced me gradually but thoroughly that I would never know it really well, let alone perfectly. This is sad. My only consolation being that nobody speaks English perfectly.

Remember that those five hundred words an average Englishman uses are far from being the whole vocabulary of the language. You may learn another five hundred and another five thousand and yet another fifty thousand and still you may come across a further fifty thousand you have never heard of before, and nobody else either. If you live here long enough you will find out to your greatest amazement that the adjective nice is not the only adjective the language possesses, in spite of the fact that in the first three years you do not need to learn or use any other adjectives. You can say that the weather is nice, a restaurant is nice, Mr Soandso is nice, Mrs Soandso's clothes are nice, you had a nice time, and all this will be very nice. Then you have to decide on your accent. You will have your foreign accent all right, but many people like to mix it with something else. I knew a Polish Jew who had a strong Yiddish-Irish accent. People found it fascinating though slightly exaggerated. The easiest way to give the impression of having a good accent or no foreign accent at all is to hold an unlit pipe in your mouth, to mutter between your teeth and finish all your sentences with the question: 'isn't it?' People will not understand much, but they are accustomed to that and they will get a most excellent impression.

I have known quite a number of foreigners who tried hard to acquire an Oxford accent. The advantage of this is that you give the idea of being

permanently in the company of Oxford dons and lecturers on medieval numismatics; the disadvantage is that the permanent singing is rather a strain on your throat and that it is a type of affection that even many English people find it hard to keep up incessantly. You may fall out of it, speak naturally, and then where are you? The Mayfair accent can be highly recommended, too. The advantages of Mayfair English are that it unites the affected air of the Oxford accent with the uncultured flavour of a half-educated professional hotel-dancer.

The most successful attempts, however, to put on a highly cultured air have been made on the polysyllabic lines. Many foreigners who have learnt Latin and Greek in school discover with amazement and satisfaction that the English language has absorbed a huge amount of ancient Latin and Greek expressions, and they realize that

(a) it is much easier to learn these expressions than the much simpler English words;

(b) that these words as a rule are interminably long and make a simply superb impression when talking to the greengrocer, the porter and the insurance agent. Imagine, for instance, that the porter of the block of flats where you live remarks sharply that you must not put your dustbin out in front of your door before 7.30 a.m. Should you answer 'Please don't bully me,' a loud and tiresome argument may follow, and certainly the porter will be proved right, because you are sure to find a clause in your contract (small print, of last page) that the porter is always right and you owe absolute allegiance and unconditional obedience to him. Should you answer, however, with these words: 'I repudiate your petulant expostulations,' the argument will be closed at once, the porter will be proud of having such a highly cultured man in the block, and from that day onwards you may, if you please, get up at four o'clock in the morning and hang your dustbin out of the window. But even in Curzon Street society, if you say, for instance, that you are a tough guy they will consider you a vulgar, irritating and objectionable person. Should you declare, however, that you are an inquisitorial and peremptory homo sapiens, they will have no idea what you mean, but they will feel in their bones that you must be something wonderful. When you know all the long words it is advisable to start learning some of the short ones, too. You should be careful when using these endless words. An acquaintance of mine once was fortunate enough to discover the most impressive word nostalgia for back-ache. Mistakenly, however, he declared in a large company: 'I have such a nostalgia.' 'Oh, you want to go home to Nizhne-

Novgorod?' asked his most sympathetic hostess. 'Not at all,' he answered. 'I just cannot sit down.' Finally, there are two important points to remember:

1. Do not forget that it is much easier to write in English than to speak English, because you can write without a foreign accent.

2. In a bus and in other public places it is more advisable to speak softly in good German than to shout in abominable English.

Anyway, this whole language business is not at all easy. After spending eight years in this country, the other day I was told by a very kind lady: 'But why do you complain? You really speak a most excellent accent without the slightest English.'

HOW NOT TO BE CLEVER

'You foreigners are so clever,' said a lady to me some years ago. First, thinking of the great amount of foreign idiots and half-wits I had had the honour of meeting, I considered this remark exaggerated but complimentary. Since then I have learnt that it was far from it. These few words expressed the lady's contempt and slight disgust for foreigners.

If you look up the word clever in any English dictionary, you will find that the dictionaries are out of date and mislead you on this point. According to the Pocket Oxford Dictionary, for instance, the word means quick and neat in movement ... skilful, talented, ingenious. Nuttall's Dictionary gives these meanings: dexterous, skilful, ingenious, quick or ready-witted, intelligent. All nice adjectives, expressing valuable and estimable characteristics. A modern Englishman, however, uses the word clever in the sense: shrewd, sly, furtive, surreptitious, treacherous, sneaking, crafty, un-English, un-Scottish, un-Welsh. In England it is bad manners to be clever, to assert something confidently. It may be your own personal view that two and two make four, but you must not state it in a self-assured way, because this is a democratic country and others may be of a different opinion.

A continental gentleman seeing a nice panorama may remark: 'This view rather reminds me of Utrecht, where the peace treaty concluding the War of Spanish Succession was signed on the 11 th April, 1713. The river there, however, recalls the Guadalquivir, which rises in the Sierra de Cazorla and flows south-west to the Atlantic Ocean and is 60 kilometres long. Oh, rivers. . . . What did Pascal say about them? "Les rivieres sont les chemins qui marchent. . . ." ' This pompous, showing-off way of speaking is not permissible in England. The Englishman is modest and simple. He

uses but few words and expresses so much – but so much – with them. An Englishman looking at the same view would remain silent for two or three hours and think about how to put his profound feeling into words. Then he would remark: 'It's pretty, isn't it?' An English professor of mathematics would say to his maid checking up the shopping list: 'I'm no good at arithmetic, I'm afraid. Please correct me, Jane, if I am wrong, but I believe that the square root of 97344 is 312.' And about knowledge. An English girl, of course, would be able to learn just a little more about, let us say, geography. But it is just not 'chic' to know whether Budapest is the capital of Roumania, Hungary or Bulgaria. And if she happens to know that Budapest is the capital of Roumania, she should at least be perplexed if Bucharest is mentioned suddenly. It is so much nicer to ask, when someone speaks of Barbados, Banska Bystrica or Fiji: 'Oh those little islands. . . . Are they British?' (They usually are.)

HOW TO BE RUDE

It is easy to be rude on the Continent. You just shout and call people names of a zoological character.

On a slightly higher level you may invent a few stories against your opponents. In Budapest, for instance, when a rather unpleasant-looking actress joined a nudist club, her younger and prettier colleagues spread the story that she had been accepted only under the condition that she should wear a fig-leaf on her face. Or in the same city there was a painter of limited abilities who was a most successful card-player. A colleague of his remarked once: 'What a spendthrift! All the money he makes on industrious gambling at night, he spends on his painting during the day.'

In England rudeness has quite a different technique. If somebody tells you an obviously untrue story, on the Continent you would remark 'You are a liar, Sir, and a rather dirty one at that.' In England you just say 'Oh, is that so?' Or 'That's rather an unusual story, isn't it?'

When some years ago, knowing ten words of English and using them all wrong, I applied for a translator's job, my would-be employer (or would-be-not-employer) softly remarked: 'I am afraid your English is somewhat unorthodox.' This translated into any continental language would mean: employer (to the commissioner): 'Jean, kick this gentleman down the steps!'

In the last century, when a wicked and unworthy subject annoyed the Sultan of Turkey or the Czar of Russia, he had his head cut off without much ceremony; but when the same happened in England, the monarch declared: 'We are not amused'; and the whole British nation even now, a century later, is immensely proud of how rude their Queen was.

Terribly rude expressions (if pronounced grimly) are: I am afraid that . . . 'unless . . . 'nevertheless . . . 'How queer . . . ' and I am sorry, but . . . '

It is true that quite often you can hear remarks like: 'You'd better see that you get out of here!' Or 'Shut your big mouth!' Or 'Dirty pig!' etc. These remarks are very un-English and are the results of foreign influence. (Dating back, however, to the era of the Danish invasion.)

HOW TO COMPROMISE

Wise compromise is one of the basic principles and virtues of the British.

If a continental greengrocer asks 14 schillings (or crowns, or francs, or pengoes, or dinars or leis or , or whatever you like) for a bunch of radishes, and his customer offers 2, and finally they strike a bargain agreeing on 6 schillings, francs, roubles, etc., this is just the low continental habit of bargaining; on the other hand, if the British dock-workers or any workers claim a rise of 4 shillings per day, and the employers first flatly refuse even a penny, but after six weeks strike they agree to a rise of 2 shillings per day?" that is yet another proof of the British genius for compromise. Bargaining is a repulsive habit; compromise is one of the highest human virtues – the difference between the two being that the first is practised on the Continent, the latter in Great Britain.

The genius for compromise has another aspect, too. It has a tendency to unite together everything which is bad. English club life, for instance, unites the liabilities of social life with the boredom of solitude. An average English house combines all the curses of civilisation with the vicissitudes of life in the open. It is all right to have windows, but you must not have double windows because double windows would indeed stop the wind from blowing right into the room, and after all, you must be fair and give the wind a chance. It is all right to have central heating in an English home, except the bath room, because that is the only place where you are naked and wet at the same time, and you must give British germs a fair chance. The open fire is an accepted, indeed a traditional, institution. You sit in

front of it and your face is hot whilst your back is cold. It is a fair compromise between two extremes and settles the problem of how to burn and catch cold at the same time. The fact that you may have a drink at five past six p.m., but that it is a criminal offence to have it at five to six is an extremely wise compromise between two things (I do not quite know between what, certainly not between prohibition and licentiousness), achieving the great aim that nobody can get drunk between three o'clock and six o'clock in the afternoon unless he wants to and drinks at home.

English spelling is a compromise between documentary expressions and an elaborate code-system; spending three hours in a queue in front of a cinema is a compromise between entertainment and asceticism; the English weather is a fair compromise between rain and fog; to employ an English charwoman is a compromise between having a dirty house or cleaning it yourself; Yorkshire pudding is a compromise between a pudding and the county of Yorkshire.

The Labour Party is a fair compromise between Socialism and Bureaucracy; the Beveridge Plan is a fair compromise between being and not being a Socialist at the same time; the Liberal Party is a fair compromise between the Beveridge Plan and Toryism; the Independent Labour Party is a fair compromise between Independent Labour and a political party; the Tory-reformers are a fair compromise between revolutionary conservatism and retrograde progress; and the whole British political life is a huge and noncompromising fight between compromising Conservatives and compromising Socialists.

HOW TO BE A HYPOCRITE

If you want to be really and truly British, you must become a hypocrite.

Now: how to be a hypocrite? As some people say that an example explains things better than the best theory, let me try this way.

I had a drink with an English friend of mine in a pub. We were sitting on the high chairs in front of the counter when a flying bomb exploded about a hundred yards away. I was truly and honestly frightened, and when a few seconds later I looked around, I could not see my friend anywhere. At last I noticed that he was lying on the floor, flat as a pancake. When he realized that nothing particular had happened in the pub he got up a little em-

barrassed, flicked the dust off his suit, and turned to me with a superior and sarcastic smile.

'Good Heavens! Were you so frightened that you couldn't move?'

ABOUT SIMPLE JOYS

It is important that you should learn to enjoy simple joys, because that is extremely English. All serious Englishmen play darts and cricket and many other games; a famous English statesman was reported to be catching butterflies in the interval between giving up two European states to the Germans; there was even some misunderstanding with the French because they considered the habit of English soldiers of singing and playing football and hide and seek and blind man's buff slightly childish.

Dull and pompous foreigners are unable to understand why ex-cabinet ministers get together and sing 'Daisy, Daisy' in choir; why serious business men play with toy locomotives while their children learn trigonometry in the adjoining room; why High Court judges collect rare birds when rare birds are rare and they cannot collect many in any case; why it is the ambition of grown-up persons to push a little ball into a small hole; why a great politician who saved England and made history is called a 'jolly good fellow.'

They cannot grasp why people sing when alone and yet sit silent and dumb for hours on end in their clubs, not uttering a word for months in the most distinguished company, and pay twenty guineas a year for the privilege.

THE NATIONAL PASSION

Queueing is the national passion of an otherwise dispassionate race. The English are rather shy about it, and deny that they adore it.

On the Continent, if people are waiting at a bus-stop they loiter around in a seemingly vague fashion. When the bus arrives they make a dash for it; most of them leave by the bus and a lucky minority is taken away by an elegant black ambulance car. An Englishman, even if he is alone, forms an orderly queue of one.

The biggest and most attractive advertisements in front of cinemas tell people: Queue here for 4s 6d; Queue here for 9s 3d; Queue here for 16s

8d (inclusive of tax). Those cinemas which do not put out these queueing signs do not do good business at all.

At week-ends an Englishman queues up at the bus-stop, travels out to Richmond, queues up for a boat, then queues up for tea, then queues up for ice cream, then joins a few more odd queues just for the sake of the fun of it, then queues up at the bus-stop and has the time of his life.

Many English families spend lovely evenings at home just by queueing up for a few hours, and the parents are very sad when the children leave them and queue up for going to bed.

Публикуется по: Антология английского юмора, М., 1990.

Советы эмигранту

Джордж Микеш

Мне многое здесь не нравится, многое можно простить. Но представьте себе мир без Англии – я в таком не желаю жить.
Элис Дьюэр Миллер, «Белые скалы»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я без ложной скромности могу сказать, что имею право давать «советы эмигранту». Я сам эмигрант. Более того, я был эмигрантом и иностранцем всю свою жизнь. Но только первые двадцать шесть лет я не осознавал этого простого факта. Я жил у себя в стране, где меня окружали сплошные иностранцы, и не замечал за собой ничего особенного. Но вот я переехал в Англию – и представьте себе, как я должен был ужаснуться.

Как и все великие и важные открытия, мое было делом нескольких секунд. Наверное, все со школьной скамьи помнят, как Исаак Ньютон узнал о существовании закона всемирного тяготения. Ему на голову свалилось яблоко, после чего он задумался и вдруг с восторгом закричал:

– Ну конечно! Гравитационная постоянная равна ускорению предмета массой в один грамм, пролетевшего в свободном падении один сантиметр за секунду.

Всем также рассказывали, как Джеймс Уатт, оказавшись однажды на кухне, где готовили капусту, увидел пляшущую на кастрюле крышку.

– Так-так, – пробормотал он, хлопнул себя по лбу, и паровая машина была изобретена.

То же самое произошло со мной, только при несколько других обстоятельствах.

Дело было так. Несколько лет назад я много времени проводил в обществе одной молодой особы, которая очень кичилась тем, что она англичанка. Однажды, к моему несказанному удивлению, она спросила меня, не собираюсь ли я на ней жениться.

– Нет, – ответил я. – Не собираюсь. Моя мама не потерпит, чтобы я женился на иностранке.

– Это я иностранка? – взглянув на меня с некоторым удивлением и раздражением, отозвалась она. – Надо же сказать такую глупость. Я англичанка. Иностранец – это ты. И мама твоя.

– Что, и в Будапеште? – не сдавался я.

– Везде, – решительно заявила она. – Истина не подвластна географии. Что истинно в Англии, остается истиной и в Венгрии, и на Северном Борнео, и в Венесуэле – где угодно.

Я понял, что теория эта столь же неопровержима, сколь и проста. Я был обескуражен, главным образом, из-за мамы, которую люблю и уважаю. Мне вдруг открыли на нее глаза.

Быть эмигрантом – позор и дурной вкус, и бесполезно делать вид, что это не так. Ничего тут не поделаешь. Преступник может исправиться и стать благонравным членом общества. Иностранец исправиться не может. Иностранец – это навсегда. Как ни крутись, локтя не укусишь. Можно стать британцем, англичанином – никогда.

Так что лучше смириться с безотрадной действительностью. Есть благородные англичане, способные простить ваш грех. Есть возвышенные души, которые понимают, что это не вина ваша, а беда. Они отнесутся к вам со снисхождением, пониманием и сочувствием. Пригласят вас в гости. Держат ведь они дома болонок и других домашних животных, почему бы не завести себе и парочку-другую эмигрантов.

Следовательно, название книги, «Советы эмигранту», выражает больше, чем следовало бы. Что можно посоветовать эмигранту? Не быть эмигрантом. Однако, если вы хотите, чтобы вас принимали в обществе, следует соблюдать определенные правила.

Нужно изучить эти правила и стараться подражать англичанам. В результате вы добьетесь одного: если вам не удастся скопировать их, над вами посмеются; если удастся, вы будете смешны вдвойне.

Дж.М.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАЧИНАЮЩИМ

В Англии (Когда говорят «Англия», иногда имеют в виду Великобританию, иногда Соединенное Королевство, а иногда Британские острова – но ни в коем случае не Англию) все наоборот.

В других странах по воскресеньям даже самый жалкий бедняк надевает лучшее, что у него есть и старается выглядеть прилично, а жизнь страны повсеместно оживает и бьет ключом. В Англии богатейший пэр и автомобильный король натягивают на себя какие-то странные лохмотья, не бреются, а вся страна погружается в скуку и уныние. В других странах принято воздерживаться от разговоров о погоде. В Англии фразу «Чудесный день, не правда ли?» нужно повторять не менее двухсот раз в день, иначе вас сочтут скучноватым. В других странах воскресные газеты выходят по понедельникам; в Англии, стране эксцентричных нравов – по воскресеньям. В других странах вилкой пользуются, как лопатой; в Англии ее переворачивают и все на нее накалывают, даже горошек.

В других странах кондуктор автобуса, проезжающего остановку по требованию, предупреждает об этом пассажиров звонком. В Англии, если вы хотите, чтобы автобус остановился, звонить приходится вам. В других странах к бездомным кошкам относятся по-разному, в зависимости от их качеств – одних любят, других просто уважают. В Англии им повсеместно поклоняются, как в Древнем Египте. В других странах могут похвастаться хорошей кухней, в Англии – хорошими манерами за столом.

В других странах человек, выступающий перед аудиторией, старается говорить быстро, без запинок. В Англии проходят особый курс оксфордского заикания. В других странах образованные люди обязательно процитируют вам Аристотеля, Горация, Монтеня и покрасуются своими знаниями. В Англии только невежда будет выставлять напоказ ученость, а процитировать в разговоре римлян и греков может только человек, никогда не бравший их книг в руки.

На континенте, пожалуй, нет ни одной нации, большой или малой, которая рано или поздно не провозгласила бы свое превосходство над другими нациями. Англичане ведут героическую борьбу с этими опасными идеями, ни словом не обмолвясь о том, какой народ выше всех на самом деле. В других странах народ ранимый и обидчивый – англичане все воспринимают с тонким чувством юмора, обидеть их можно только сказав, что у них это чувство отсутствует. В других странах все население состоит из небольшого числа преступников, такого же числа честных людей, а остальная масса представляет собой нечто среднее. В Англии живет небольшое количество преступников, остальные – честные люди. С другой стороны, в других странах вам

или скажут правду, или солгут; в Англии вам вряд ли солгут, но и правды не скажут.

Почти во всем мире полагают, что жизнь – игра. Англичане считают игрой крикет.

ЗНАКОМСТВО

Эта глава посвящена тому, как правильно представлять людей друг другу.

Цель того, кто знакомит людей – скрыть личность человека. Имена необходимо произносить так, чтобы их невозможно было слышать. Вообще говоря, твердой гарантией тому будет ваше произношение. Но если вас самого представляют кому-нибудь, придерживайтесь следующих двух правил.

1. Если вам протягивают руку, чтобы пожать вашу, не следует отвечать тем же. Нужно рассеянно улыбаться, а как только ваш партнер потеряет всякую надежду на ответный жест, самому быстро протянуть руку, безуспешно пытаясь схватить его руку. Эта игра продолжается до тех пор, пока не пройдет большая часть вечера. Весьма вероятно, что это будет наиболее интересная его часть.

2. Представившись, следует поинтересоваться о самочувствии вашего нового знакомого.

Попробуйте представить людей друг другу на вашем родном языке, например, пробормотав их имена по-французски. Если после рукопожатия они обмениваются вопросами:

– Comment allez-vous?

– Comment allez-vous? – это будет шуткой вечера, которая запомнится им на всю жизнь.

При этом, однако, не стоит думать, что новому знакомому, столь любезно и трогательно интересующемуся состоянием вашего здоровья, есть хоть какое-нибудь дело до того, здравствуете вы или вот-вот умрете от белой горячки. Так, диалог типа:

«Он: – Как дела?

Вы: – Общее состояние здоровья вполне удовлетворительное. Временами бессонница, застарелая мозоль на левой ступне. Кровяное давление пониженное; пищеварение несколько замедлено, в пределах нормы», – такой диалог был бы неуместен.

Нельзя говорить вслед за этим: «Рад с вами познакомиться». Это одна из немногочисленных лживых фраз, которые не следует произносить ни при каких обстоятельствах, так как по неведомым причинам они считаются пошлыми. Нельзя говорить «Рад с вами познакомиться» даже в том случае, если вы определенно испытываете к человеку отвращение.

Несколько замечаний общего характера:

1. Не следует щелкать каблуками, кланяться – на время оставьте какие бы то ни было гимнастические и хореографические упражнения.

2. Не следует использовать обращение «доктор» по отношению к иностранным адвокатам, преподавателям, дантистам, коммивояжерам и агентам по недвижимости. Всем известно, что словечко «доктор» означает лишь то, что они приехали из Центральной Европы. Факт сам по себе достаточно печальный, не нужно постоянно напоминать людям об этом.

ПОГОДА

Это основная тема разговоров в стране. Пусть вас не вводят в заблуждение воспоминания вашей юности, проведенной в других странах, когда, сказав о ком-нибудь:

– Он из тех, кто говорит о погоде, – вы имели в виду, что этот человек – страшный зануда.

В Англии эта тема – одна из самых интересных, даже захватывающих, так что в разговоре о погоде следует быть на высоте.

ПРИМЕРЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА

О хорошей погоде

– Чудесный день, не правда ли?

– Прекрасный!

– Солнышко...

– Великолепная погода!

– Погодка – прелесть.

– Хорошо-то как, припекает...

– Лично мне нравится, когда припекает – а вам?

– Обожаю такие деньки.

О плохой погоде

– Скверный день, не правда ли?

– Ужасный!

– Дождь... Терпеть не могу.

– Не нравится мне это совсем. А вам?

– Надо же – такая погода в июле. С утра дождь, немного распогодится, и опять хлещет и хлещет, до самой ночи.

– Помню точь-в-точь такой же июльский день в тридцать шестом году.

– И я припоминаю.

– Или в двадцать восьмом?

– Да-да, в двадцать восьмом.

– Или в тридцать девятом?

– Ах, да, точно.

Обратите внимание на последние фразы этого диалога. Из них вытекает очень важное правило. Ни в коем случае не возражайте, когда с вами говорят о погоде. Пусть идет снег и град, пусть ураган с корнями вырывает деревья из земли – если кто-нибудь заметит:

– Прекрасный день, не правда ли? – отвечайте без колебаний:

– Замечательный!

Выучите приведенные выше диалоги наизусть. Если это трудно, можно ограничиться одним диалогом, он подойдет на все случаи жизни.

Можете больше никогда ничего не говорить до конца своих дней, лишь твердите заученный диалог, – все равно у вас будет много шансов прослыть человеком непревзойденного остроумия, высокого интеллекта и поразительной наблюдательности, весьма располагающим к себе.

Английское общество организовано на классовых, можно сказать, строго корпоративных началах. Сомневаетесь – послушайте прогнозы погоды. Так, для фермеров прогноз всегда особый. По радио часто можно услышать такие сводки:

– Завтра ожидается холодная и облачная погода, туман. Затяжные дожди, местами непродолжительные ливни.

А после этого:

– Прогноз погоды для фермеров. Ожидается устойчивая безоблачная, сухая, теплая погода.

Не следует забывать, что фермеры заняты важным делом всенародного значения и потому заслуживают лучшей погоды.

Неоднократно случалось, что предсказывалась хорошая, теплая погода, а на самом деле с утра до вечера шел мокрый снег, или наобо-

рот. Некоторые поспешно приходят к выводу о недоброкачественности метеосводок. Эти люди ошибаются, им следует быть осторожнее в своих заявлениях.

Из одной воскресной газеты я узнал, чем объясняется такое положение вещей. Во всем виноваты антициклоны. (Не совсем представляю себе, что это такое, но это неважно: я сам их терпеть не могу и настроен весьма антициклонически). Самые вредные антициклоны – арктический и азорский.

Британские синоптики предсказывают погоду правильно, какой она и должна быть, но тут нагло вмешиваются эти антициклоны, и путают все карты.

Это еще раз доказывает, что если бы британцы не пускали к себе кого попало и не якшались со всякой иностранщиной, вроде арктических и азорских антициклонов, то жилось бы им куда лучше.

ДУША И ПРЕУМЕНЬШЕНИЕ

У иностранцев есть душа. У англичан ее нет.

В других странах не редкость увидеть человека, то и дело тяжело вздыхающего без всякой видимой причины, с тоскливым и страдальческим выражением лица уставившегося в потолок. Это – душа.

Самый тяжелый случай – великая славянская душа. Люди, страдающие этим недугом – обычно очень глубокие мыслители. От них можно услышать что-нибудь в таком духе:

– Иногда мне так весело, а иногда так грустно. Чем это объяснить? (Ничем, не стоит и пробовать).

Можно услышать и такое:

– Сам себя не могу понять... Временами мне так хочется куда-нибудь мгновенно перенестись. (Не вздумайте сказать: «Скорее бы!»)

– Наедине с собой, в ночном лесу, прыгая с дерева на дерево, я часто думаю, что жизнь – странная штука.

Все это очень глубоко, это чистая душа, без всяких примесей.

У англичан души нет. Им ее заменяет преуменьшение.

В какой-нибудь другой стране юноша, признающийся девушке в любви, падает на колени и говорит, что она самая очаровательная, самая замечательная и прелестная девушка на земле, что в ней есть что-то особенное, неповторимое, чего нет больше ни в ком, разве что в паре сотен тысяч других женщин, и что без нее он не проживет ни

минуты. Зачастую, желая усилить впечатление, влюбленный тут же пускает себе пулю в висок. Это обычное, будничное объяснение в любви, принятое в странах, где нравы не столь холодны. Юный англичанин в подобной ситуации похлопает свою ненаглядную по спине и негромко скажет:

– Слушай, а ты ничего.

Если же он охвачен безумной страстью, то может добавить:

– Вообще-то, ты очень даже ничего.

Желая сделать предложение, он говорит:

– Ну что... может быть?..

Если на уме у него что-нибудь непристойное, то девушка услышит:

– Ну что... как насчет...

Преувеличение тоже играет немалую роль в общении англичан. Как правило, оно выражается в том, что вам говорят:

– Мм...да ... – и потом дня три подряд хранят молчание.

ЧАЙ

Обиднее всего, что когда-то чай был очень неплохим напитком.

И вот несколько наиболее выдающихся британских ученых объединили свои усилия и провели ряд сложных биологических экспериментов с целью испортить его.

К неувядаемой славе британской науки, их труд принес свои плоды. Было высказано предположение, что если отказаться от привычки пить чай просто так или с лимоном, или с ромом и сахаром, а вместо этого накапать в него немного холодного молока – без сахара, то желанная цель будет достигнута. И вот, как только освежающий ароматный восточный напиток был успешно превращен в бесцветную и безвкусную жидкость для полоскания рта, он вдруг стал национальным напитком Великобритании и Ирландии, сохранив – фактически узурпировав – высокое звание чая.

Бывают такие ситуации, когда отказаться от чашки чая нельзя, иначе прослывешь чудачком и дикарем и навсегда лишишься надежды войти в культурное общество.

Если вы гостите у англичан, то в пять часов утра вас угостят чашечкой чая. Принесет ее хозяйка, сияющая радушной улыбкой, или

горничная, хранящая почти злобное молчание. И хотя вас разбудят в ранний час, когда сон самый сладкий, не нужно говорить:

– Мадам (или: «Мейбл»), Вы злы и жестоки. За такое убивают.

Напротив, следует с лучшей из ваших предрассветных улыбок провозгласить:

– Большое спасибо. Нет ничего лучше ранней утренней чашечки чая. Особенно спозаранку.

Когда вас оставят наедине с принесенной жидкостью, можете выплеснуть ее в раковину.

Потом вам подадут чай на завтрак, потом в одиннадцать часов утра, затем после обеда, во время чаепития, после ужина, и, наконец, снова в одиннадцать – вечера.

Кроме того, нельзя отказываться от чашки чая при следующих обстоятельствах: в жару, в холод, если вы устали, если кто-нибудь полагает, что вы, возможно, устали; если вы нервничаете; если вам весело; перед выходом из дома; после выхода из дома; сразу по возвращении домой; если вам хочется выпить чаю; если вам этого не хочется; если вы какое-то время не пили чаю; если вы только что выпили чашку.

И уж ни в коем случае нельзя следовать моему примеру. В пять утра я сплю, за завтраком пью кофе, выпиваю несчетное количество чашек черного кофе в течение дня, а чай пью самым нетрадиционным и экзотическим образом даже в час, отведенный для чаепития.

Так, на днях, – привожу этот случай лишь в качестве вопиющего примера того, как низко может пасть человек, – вместо чая мне захотелось выпить чашечку кофе и съесть кусочек сыра. День был неизменно жаркий, и моя жена (которая когда-то была приличной англичанкой, а теперь окончательно и безнадежно испорчена моим порочным иностранным влиянием), приготовив холодного кофе, поставила его в холодильник, где он замерз и превратился в кусок льда. Сыр же, который она оставила на кухонном столе, расплавился. Так что я съел кусочек кофе и выпил чашку сыру.

СЕКС

В других странах есть секс. В Англии есть грелки.

О НЕКОТОРЫХ ИЗДАТЕЛЯХ

Я слышал, что одному знаменитому английскому издателю, человеку целомудренному, удалось так искусно адаптировать роман Джона Стейнбека «Гроздь гнева», что он превратился в милую книжку для семейного чтения о винограде и других фруктах. Книга прекрасно иллюстрирована.

А вот другой случай. В Лондоне для одного европейского издательства перевели на английский язык французскую политическую книгу «Народный фронт». Получилась захватывающая порнографическая книжка под названием «Народный зад».

ЯЗЫК

Эмигрируя в Англию, я думал, что знаю английский язык. Пробыв здесь час, я обнаружил, что не понимаю ни слова. За первую неделю я достаточно сориентировался в языке, чтобы худо-бедно объясниться, а в течение следующих семи лет медленно, но верно убедился в том, что по-настоящему знать язык я не буду никогда, не говоря уже о том, чтобы знать его в совершенстве. Это печально. Утешаюсь я тем только, что в совершенстве английский не знает никто.

Помните, что те пятьсот слов, которыми пользуется средний англичанин – это еще далеко не весь словарный состав языка. Можно выучить еще пятьсот, и еще пять тысяч, и еще пятьдесят тысяч, и все равно останется еще пятьдесят тысяч слов, которых никогда не встречали ни вы, ни кто-либо другой и на каждое из которых вы можете в любую минуту наткнуться.

Прожив здесь достаточно долгое время, вы, к своему несказанному удивлению, обнаружите, что, кроме слова «nice» («хороший, приятный, милый»), в английском языке существуют и другие прилагательные, хотя первые три года вам нет нужды учить или употреблять их. «Nice» можно сказать применительно к погоде, ресторану, мистеру Такому-то, костюму мистера Такого-то, проведенному вами времени, и все это будет очень «nice».

Затем, нужно выбрать себе произношение. Конечно, у вас есть ваш акцент, но многие не прочь что-нибудь к нему подмешать. Я знал одного польского еврея, который говорил с сильным идиш-ирландским акцентом. Эффект был сильный, хотя все видели, что он

переигрывает. Самый легкий способ создать впечатление, что у вас хорошее произношение и нет акцента, – это держать во рту нераскуренную трубку, цедить фразы сквозь зубы и каждую реплику заканчивать вопросом:

– Не правда ли?

Вас вряд ли поймут, но к этому все уже привыкли, так что впечатление вы произведете самое благоприятное.

Я повидал немало эмигрантов, старательно работавших над постановкой оксфордского произношения. У него есть свои достоинства: люди начинают верить в то, что вы постоянно обращаетесь в обществе преподавателей Оксфордского университета и знатоков средневековой нумизматики; но его недостаток состоит в том, что непрерывное пение – это довольно большая нагрузка на голосовые связки, и даже многим англичанам кажется трудным такой каждодневный подвиг. Ведь можно забыться, заговорить нормально – и что тогда?

Настоятельно рекомендую также мейферское произношение. Оно хорошо тем, что сочетает в себе аффектированность оксфордского выговора с пикантной вульгарностью речи неграмотной ресторанной певички.

Но самые успешные попытки сойти за высококультурного человека связаны с использованием многосложных слов. Многие иностранцы, изучавшие в школе латынь и древнегреческий, к своему восторгу делают вдруг открытие, что английский язык впитал в себя огромное количество латинских и греческих слов и выражений и что потому:

а) гораздо легче выучить эти слова и выражения, чем намного более простые английские;

б) эти слова, как правило, бесконечно длинны и при разговоре с продавцом, носильщиком или страховым агентом производят просто великолепное впечатление.

Представьте себе, что дворник многоквартирного дома, в котором вы живете, делает вам резкое замечание, что, мол, негоже выставлять мусорное ведро за дверь раньше семи тридцати утра. Если вы ответите:

– Просьба не хамить! – то может последовать шумный и утомительный спор, в результате которого дворник, конечно же, окажется прав, так как в вашем договоре наверняка найдется пункт (напечатанный мелким шрифтом внизу последней страницы) о том, что дворник

прав всегда, а вы обязаны во всем беспрекословно и безусловно ему подчиняться. Но попробуйте ответить такими словами:

– Я денонсирую ваши нецивилизованные инсинуации, – и спор мгновенно прекратится, дворник будет гордиться тем, что в доме живет столь высококультурный человек, а вы, начиная с этого дня, можете, если вам заблагорассудится, вставать хоть в четыре часа утра и вывешивать мусорное ведро за окно.

Но и в обществе людей с Керзон-Стрит не стоит называть себя «крутым парнем» создадите себе репутацию вульгарного, несимпатичного, неприятного человека. Но скажите, что вы «гомо сапиенс с ортодоксальной ментальностью», и люди будут твердо уверены, что вы представляете собой нечто в высшей степени замечательное, хотя и совершенно не поймут ваших слов.

После того, как вы запомните все длинные слова, рекомендуется приступить также к изучению некоторого количества коротких.

Употреблять эти непростые слова нужно с осторожностью. Одному моему знакомому посчастливилось наткнуться на очень выразительное слово «нотальгия», обозначающее боль в спине. Но однажды в большой компании он неправильно его произнес, поделившись с кем-то:

– У меня такая ностальгия.

– Ах, вас тянет на родину, в Нижний Новгород? – с самым искренним сочувствием спросила хозяйка.

– Да нет, – ответил он. – Просто мне сидеть больно.

И, наконец, следует помнить о двух важных правилах:

1. Не забывайте, что писать по-английски гораздо легче, чем говорить, потому что писать можно без акцента.

2. В автобусе и других общественных местах лучше тихо, но хорошо говорить по-немецки, чем громко пугать окружающих своим английским.

Как бы то ни было, в целом проблема языка далеко не проста. Я прожил в этой стране восемь лет, а на днях услышал от одной весьма любезной дамы:

– И чего вы жалуетесь? У вас правда отличное произношение, хотя и совсем не английское.

КАК ОТУЧИТЬСЯ БЫТЬ УМНЫМ

Несколько лет тому назад одна дама сказала мне:

– Вы, иностранцы, такие умные (clever).

Сначала, вспомнив огромное количество дураков и идиотов, с которыми я имел честь быть знакомым среди эмигрантов, я счел ее замечание несколько преувеличенным, но лестным.

Позже я понял, что это совсем не так. В этих немногих словах дама выразила свое презрение к иностранцам, граничащее с отвращением.

Загляните в любой словарь английского языка и найдите в нем слово «clever». Вы обнаружите, что словари устарели и по данному вопросу вводят вас в заблуждение. Так, «Карманный оксфордский словарь» толкует это слово следующим образом: находчивый, изобретательный, искусный, талантливый, ловкий. Словарь Наттолла дает такие значения: разумный, сообразительный, находчивый, сметливый, умелый, искусный. Сплошь прекрасные эпитеты, обозначающие ценные и достойные уважения качества. Однако, современный англичанин употребляет слово clever в смысле «хитрый, пронырливый, изворотливый, вороватый, коварный, подлый, вероломный, неанглийский, нешотландский, неваллийский».

Разглагольствовать о чем-либо с умным видом в Англии – плохой тон. Считайте себе на здоровье, что дважды два – четыре, но не нужно провозглашать это как истину в последней инстанции, ибо вы находитесь в демократической стране и кто-то может придерживаться другого мнения.

Человек, приехавший из другой страны, обозревая великолепный вид, может заметить:

– Эта панорама, пожалуй, напоминает мне Утрехт, где 11 апреля 1713 г. был заключен мирный договор, покончивший с Войной за испанское наследство. Впрочем, вон та река похожа на Гвадалквивир, истоки которого находятся в Сьерра-де-Казорла, а устье – в 650 километрах к юго-западу, у Атлантического океана. О, реки! Как сказал о них Паскаль: «Les rivières sont les chemins qui marchent...»

Такие речи, произнесенные с помпой и рисовкой, в Англии непозволительны. Англичанин скромн и прост. Он пользуется немногими словами, но выражает в них многое, очень многое. Если бы тот же самый вид предстал англичанину, то он бы часа три молча раз-

мышлял, как лучше выразить всю глубину своего чувства, и наконец сказал бы:

– Прелестно, не правда ли?

Служанке, просматривающей список покупок, англичанин, профессор математики, скажет:

– К сожалению, я ничего не смыслю в арифметике. Джейн, поправь меня, если я ошибаюсь, кажется, квадратный корень из 97344 – триста двенадцать?

И о знаниях. Конечно, английская девушка способна подучить, ну, например, географию. Но когда девушка знает, столицей чего – Румынии, Венгрии или Болгарии, – является Будапешт, пропадает весь шик. А если при ней, знающей, что Будапешт – столица Румынии, в этом качестве будет вдруг упомянут Бухарест, она должна выказать хотя бы некоторое недоумение.

Будет гораздо милее при упоминании Барбадоса, Банска Быстрицы или Фиджи поинтересоваться:

– Ах, эти островки... Из Британских?

(Как правило, следует положительный ответ.)

КАК ПРАВИЛЬНО ГРУБИТЬ

В других странах нагрубить легко: накричал на человека да назвал его каким-нибудь представителем фауны.

Чуть более изысканная форма – сочинить о своем недруге какую-нибудь небылицу. Так, когда в Будапеште одна страшенькая актриса вступила в нудистский клуб, то ее более молодые и симпатичные подруги по сцене распространили слух, что приняли ее лишь при условии, что она всегда будет прикрывать лицо фиговым листком. В том же городе жил посредственный художник, у которого очень удачно шла игра в карты. Один из его собратьев-живописцев заметил как-то:

– Экий мот! По ночам усердно выигрывает, а днем просаживает все на свои картины.

В Англии грубят совсем по-другому. Если вам рассказывают заведомо неправдоподобную историю, в любой другой стране вы скажете:

– Вы лжете, уважаемый, грязно лжете.

В Англии говорят:

– Вот как?

– Довольно необычная история, вы не находите?

Несколько лет назад, зная по-английски с десяток слов и те безбужно перевирая, я устраивался на должность переводчика. Мой потенциальный работодатель (или потенциальный работонедатель) мягко заметил:

– К сожалению, ваш английский несколько нетрадиционен.

В переводе на любой иностранный язык это означало бы:

РАБОТОДАТЕЛЬ (швейцару):

– Джин, спусти-ка этого господина с лестницы!

В прошлом, когда турецкому султану или русскому царю досаждал какой-нибудь неблагонамеренный и недостойный подданный, последнему без особых церемоний отрубали голову. Если то же самое случалось в Англии, из монарших уст можно было услышать:

– Нам не смешно, – и вся Британия до сих пор, спустя столетия, безмерно гордится грубостью своей королевы.

Вот примеры самых грубых выражений (если они произносятся с суровым видом): «к сожалению...», «если не...», «и все-таки...», «Странно...», «Мне жаль, но...»

Правда, довольно часто можно услышать что-нибудь вроде: «Катился бы ты отсюда!», «Заткни фонтан!», «Свинья поганая!» и т.д. Эти замечания совсем не в характере англичан и являются результатом иностранного влияния. (Восходящим, однако, еще к эпохе датского завоевания).

ИСКУССТВО КОМПРОМИССА

Важное место среди принципов и ценностей британцев занимает мудрый компромисс.

Когда в любой другой стране торговец овощами просит четырнадцать шиллингов (или крон, франков, пенге, динаров, лей, драхм, левов – чего угодно) за пучок редиски, а покупатель дает два, но в конце концов они сходятся на шести шиллингах, франках, рублях и т.д., это – всего лишь вульгарная иноземная привычка торговаться. Когда же британские докеры или другие рабочие требуют повышения зарплаты на четыре шиллинга в день, а работодатели сначала наотрез отказываются уступить хоть пенни, но после шести недель забастовки соглашаются прибавить два шиллинга, то мы имеем дело лишь с оче-

редным доказательством способности британцев к компромиссу. Торговаться – отвратительная привычка, компромисс – одна из высочайших человеческих добродетелей, причем разница состоит в том, что первое принято в других странах, а второе характерно для Великобритании.

В способности к компромиссу есть и другая сторона. Это свойство собирать воедино все плохое. Так, английская клубная жизнь сочетает в себе обязанности общественной жизни со скукой одиночества. Дом среднего англичанина соединяет в себе проклятия цивилизации с тяготами жизни под открытым небом. Окна в доме иметь можно, но только не двойные, потому что при двойных ветер уже не будет задувать внутрь, а ведь справедливость требует и ветру отдать должное. Разрешено в английском доме и центральное отопление, за исключением ванной комнаты, так как это единственное место, где человек бывает голым и мокрым одновременно – пусть британские микробы тоже порадуются. Камин – вещь общепринятая, это настоящая традиция. Сидя перед ним, вы согреете лицо, но у вас застынет спина. Вот честный компромисс между двумя противоположностями и решение вопроса, как обжечься и простудиться одновременно. В Англии разрешается выпить в пять минут седьмого, но сделать это, когда на часах без пяти шесть, равносильно уголовному преступлению; здесь мы видим очень мудрый компромисс (не знаю, между чем и чем, но уж точно не между сухим законом и пьянством), который обеспечивает достижение великой цели, исключая всякую возможность напиться с трех часов дня до шести, если только вам этого не захочется и вы не напьетесь дома.

Английская орфография – компромисс между документально зафиксированным правописанием и сложной системой кодов; провести три часа в очереди перед кинотеатром – компромисс между развлечением и аскетизмом; английская погода – честный компромисс между дождем и туманом; нанять приходящую уборщицу-англичанку – компромисс между неубранным домом и самостоятельной уборкой; йоркширский пудинг – компромисс между пудингом и графством Йоркшир.

Лейбористская партия – честный компромисс между социализмом и бюрократией; план Бевериджа – честный компромисс между тем, чтобы быть и одновременно не быть социалистом; либеральная партия – честный компромисс между планом Бевериджа и торизмом;

Независимая рабочая партия – честный компромисс между независимыми рабочими и политической партией; тори-реформисты – честный компромисс между революционным консерватизмом и реакционной прогрессивностью; а политическая жизнь Британии в целом – это жестокая, бескомпромиссная борьба между идущими на компромисс консерваторами и идущими на компромисс социалистами.

ИСКУССТВО ЛИЦЕМЕРИЯ

Если вы хотите стать настоящим британцем, то вам нужно научиться лицемерию.

Как же стать лицемером?

Говорят, пример лучше всяких объяснений. Вот вам пример.

Как-то раз мы сидели с одним приятелем-англичанином в пабе и выпивали. Сидим мы на высоких табуретках перед стойкой, как вдруг в сотне ярдов от нас взрывается бомба. Я не на шутку перепугался, а когда спустя несколько секунд оглянулся, моего приятеля нигде не было. Наконец, я его увидел. Он, распластавшись, как блин, лежал на полу. Сообразив, что ничего страшного в баре не произошло, он встал с некоторым смущением, стряхнул с костюма пыль и повернулся ко мне, саркастически и свысока улыбаясь:

– Боже милостивый! Неужели ты так испугался, что не мог двинуться с места?

О ПРОСТЫХ РАДОСТЯХ

Необходимо научиться получать удовольствие от простых радостей жизни, так как это весьма в английском духе. Все серьезные англичане играют в дартс, крикет и многие другие игры. Известно, что один знаменитый английский государственный деятель в перерыве между сдачей двух европейских стран немцам занимался ловлей бабочек. А в отношениях с французами возникли некоторые недоразумения: им показался некоторым ребячеством обычай английских солдат распевать песни и играть в футбол, прятки и жмурки.

Скучному и надутому иностранцу не понять причин, по которым бывшие министры собираются, чтобы хором спеть «Daisy, Daisy»; почему серьезные бизнесмены возятся с игрушечными локомотивами, в то время как их дети в соседней комнате занимаются три-

гонометрией; зачем члены Высокого суда коллекционируют редких птиц, несмотря на то что редкие птицы встречаются редко, и много их не наловишь; почему взрослым людям так важно загнать шарик в лунку и почему великого политика, спасшего Англию и оставившего большой след в истории, называют «славным малым».

Для иностранца непостижимо, как люди могут петь в одиночестве, и в то же время часами сидеть, словно набрав в рот воды, в своих клубах, месяцами не промолвить ни слова в самом изысканном обществе и платить за это счастье двадцать гиней в год.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАСТЬ

Очереди – страсть нации, в других отношениях бесстрашной. Англичане стесняются этой страсти и никогда не признаются в ней.

В других странах люди, ожидающие на остановке автобуса, с кажущейся рассеянностью прогуливаются вокруг. Когда автобус подходит, все бросаются к нему, и большую часть увозит он, а счастливое меньшинство – изящная черная машина скорой помощи. Англичанин, даже оставшись один, чинно становится в очередь из единственного человека.

Самые большие и самые привлекательные рекламные щиты у кинотеатров указывают: «Очередь за билетами по 4 шиллинга 6 пенсов», «Очередь за билетами по 9 шиллингов 3 пенса», «Очередь за билетами по 16 шиллингов 8 пенсов (включая НДС)». У кинотеатров, не вывешивающих таких объявлений, дела идут плохо.

В выходной день англичанин становится в очередь на автобусной остановке, едет в Ричмонд (4), выстаивает очередь на лодку, потом стоит в очереди за чаем, затем за мороженым, потом еще в нескольких очередях там и сям просто так, забавы ради, опять становится в очередь на автобус и считает, что прекрасно отдохнул.

Многие английские семьи приятно коротают вечера дома, просто выстраиваясь на несколько часов в очередь, и родителям так не хочется отпустить детей стоять в другой очереди – чтобы лечь спать.

Перевод А. Александрова

Публикуются по: <http://spintongues.vladivostok.com/mikesh.htm>

Юмор Германии

Anekdote von der Senkung der Arbeitsmoral

Heinrich Böll

In einem Hafen an einer westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in seinen Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren: blauer Himmel, grüne See mit friedlichen, schneeweißen Wellenkämmen, schwarzes Boot, rote Fischermütze. Klick. Noch einmal: klick, und da aller guten Dinge drei sind und sicher sicher ist, ein drittes Mal: klick. Das spröde, fast feindselige Geräusch weckt den dösenden Fischer, der sich schläfrig aufrichtet, schläfrig nach seiner Zigaretenschachtel angelt; aber noch bevor er das Gesuchte gefunden, hat ihm der eifrige Tourist schon eine Schachtel vor die Nase gehalten, ihm die Zigarette nicht gerade in den Mund gesteckt, aber in die Hand gelegt, und ein viertes Klick, das des Feuerzeuges, schließt die eilfertige Höflichkeit ab. Durch jenes kaum meßbare, nie nachweisbare Zuviel an flinker Höflichkeit ist eine gereizte Verlegenheit entstanden, die der Tourist – der Landessprache mächtig – durch ein Gespräch zu überbrücken versucht.

„Sie werden heute einen guten Fang machen.“

Kopfschütteln des Fischers.

„Aber man hat mir gesagt, daß das Wetter günstig ist.“

Kopfnicken des Fischers.

„Sie werden also nicht ausfahren?“

Kopfschütteln des Fischers, steigende Nervosität des Touristen. Gewiß liegt ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Menschen am Herzen, nagt in ihm die Trauer über die verpaßte Gelegenheit.

„Oh, Sie fühlen sich nicht wohl?“

Endlich geht der Fischer von der Zeichensprache zum wahrhaft gesprochenen Wort über. „Ich fühle mich großartig“, sagt er. „Ich habe mich nie besser gefühlt.“ Er steht auf, reckt sich, als wolle er demonstrieren, wie athletisch er gebaut ist. „Ich fühle mich phantastisch.“

Der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer unglücklicher, er kann die Frage nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu sprengen droht: „Aber warum fahren Sie dann nicht aus?“

Die Antwort kommt prompt und knapp. „Weil ich heute morgen schon ausgefahren bin.“

„War der Fang gut?“

„Er war so gut, daß ich nicht noch einmal auszufahren brauche, ich habe vier Hummer in meinen Körben gehabt, fast zwei Dutzend Makrelen gefangen ...“

Der Fischer, endlich erwacht, taut jetzt auf und klopft dem Touristen beruhigend auf die Schultern. Dessen besorgter Gesichtsausdruck erscheint ihm als ein Ausdruck zwar unangebrachter, doch rührender Kümmeris.

„Ich habe sogar für morgen und übermorgen genug“, sagt er, um des Fremden Seele zu erleichtern. „Rauchen Sie eine von meinen?“

„Ja, danke.“

Zigaretten werden in Mäuler gesteckt, ein fünftes Klick, der Fremde setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus der Hand, denn er braucht jetzt beide Hände, um seiner Rede Nachdruck zu verleihen.

„Ich will mich ja nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten mischen“, sagt er, „aber stellen Sie sich mal vor, Sie führen heute ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus und Sie würden drei, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Dutzend Makrelen fangen ... stellen Sie sich das mal vor.“

Der Fischer nickt.

„Sie würden“, fährt der Tourist fort, „nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, ja an jedem günstigen Tag zwei-, dreimal, vielleicht viermal ausfahren – wissen Sie, was geschehen würde?“

Der Fischer schüttelt den Kopf.

„Sie würden sich in spätestens einem Jahr einen Motor kaufen können, in zwei Jahren ein zweites Boot, in drei oder vier Jahren könnten Sie vielleicht einen kleinen Kutter haben, Sie würden ...“, die Begeisterung verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme, „Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit einem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die Fischschwärme ausmachen und ihren Kuttern per Funk Anweisung geben. Sie könnten die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren – und dann ...“, wieder verschlägt die Begeisterung dem Fremden die Sprache. Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt, seiner Urlaubsfreude schon fast verlustig, blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der die ungefangenen Fische munter springen. „Und dann“, sagt er, aber wieder verschlägt ihm die Erregung die Sprache.

Der Fischer klopf ihm auf den Rücken, wie einem Kind, das sich verschluckt hat. „Was dann?“ fragt er leise.

„Dann“, sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, „dann können Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen – und auf das herrliche Meer blicken.“

„Aber das tu ich ja schon jetzt“, sagt der Fischer, „ich sitze beruhigt am Hafen und döse, nur Ihr Klicken hat mich dabei gestört.“

Tatsächlich zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von dannen, denn früher hatte er einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen, und es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer zurück, nur ein wenig Neid.

Публикуется по:

<https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/HAK/Dateien/BW/Wirtschaft.pdf>

Разговор на берегу

К вопросу об упадке трудовой морали

Генрих Бёль

На берегу моря в рыбацкой лодке лежит бедно одетый человек и дремлет. Элегантный турист рядом с ним заряжает свой фотоаппарат цветной пленкой, чтобы заснять эту идиллию: синее небо, зеленое море с кипейно-белыми мирными барашками, черную лодку, красную шапку рыбака. Щелк! Еще раз — щелк, а поскольку бог троицу любит, для верности, и третий раз — щелк! Хрупкий чужеродный звук будит рыбака. Он сонно приподнимается, сонно ищет сигареты, однако, исполненный вежливой благожелательности, турист опережает его и сам протягивает свою пачку с очевидным намерением завязать разговор.

— Сегодня вас ждет большой улов?

Рыбак качает головой.

— Но мне говорили, в такую погоду хорошо ловится?

Рыбак кивает.

— Вы что, не выйдете в море?

Рыбак качает головой. Турист выглядит огорченным.

— О, вы себя неважно чувствуете?

Рыбак наконец переходит от языка жестов к нормальной речи.

— Я чувствую себя великолепно, — говорит он. — Я никогда так хорошо себя не чувствовал. — Он встает и потягивается, как бы желая продемонстрировать атлетичность своего сложения. — Я чувствую себя просто фантастически.

Лицо туриста становится все более скорбным, он не в силах уже сдержать вопрос, который, так сказать, рвется из его сердца:

— Но почему же вы тогда не выйдете в море?

— Потому что я уже выходил сегодня утром.

— И хороший был улов?

— До того хороший, что теперь мне больше незачем выходить.

Я поймал четырех омаров, две дюжины макрелей... —

Рыбак наконец совсем просыпается, становится разговорчивей и успокаивающе похлопывает по плечу туриста, озабоченность на лице которого кажется ему выражением необоснованной, но трогательной печали.

— Мне хватит даже на завтра и на послезавтра, — говорит он, чтобы окончательно снять груз с души приезжего.

— Не желаете ли закурить моих?

— Да, спасибо.

Сигарета во рту, еще раз — шелк; покачивая головой, турист присаживается на борт лодки, кладет аппарат рядом — сейчас ему необходимо иметь свободными обе руки, чтобы придать своей речи достаточную выразительность.

— Я не хотел бы вмешиваться в ваши личные дела, — говорит он, — но только представьте себе, что вы вышли бы сегодня в море второй, третий, может быть, даже четвертый раз и поймали бы три, четыре; пять, может быть, даже десять дюжин макрелей... вы только представьте себе это.

Рыбак кивает.

— Вы стали бы выходить в море, — продолжает турист, — не только сегодня, но и завтра, и послезавтра, словом, в любой день, если он окажется удачливым, по два, по три, а может быть, и по четыре раза... Представляете, что тогда будет?

Рыбак качает головой.

— Самое большее через год вы сможете купить мотор, через два года у вас будет вторая лодка, через три или четыре года вы, наверно, сумеете приобрести небольшой катер, с двумя лодками и катером вы, конечно, станете ловить больше — в один прекрасный день у вас окажется два катера, вы... — от воодушевления у туриста на секунду прерывается голос, — вы постройте маленький холодильник, возможно, коптильню, а потом и консервную фабрику, вы заведете собственный вертолет, чтобы с воздуха высматривать косяки и давать по радио указания своим катерам. Вы получите патент, откроете рыбный ресторан, будете сами, без посредников, экспортировать своих омаров прямо в Париж... И тогда...

Воодушевление вновь перехватывает ему дыхание: поматывая головой, почти забыв о радостях своего отпуска, скорбя до глубины души, глядит он на мирно перекатывающиеся волны, в которых резвится непойманная рыба.

— Тогда... — говорит он, но волнение все еще мешает ему.

Рыбак хлопает его по плечу, как хлопают поперхнувшегося ребенка.

— Что тогда? — спрашивает он негромко.

— Тогда, — говорит приезжий с тихим восторгом, — тогда вы сможете спокойно усесться вот здесь. на берегу, дремать на солнцепеке и смотреть на это прекрасное море.

— Но я и сейчас так делаю, — говорит рыбак. — Я сижу себе спокойно на берегу и подремываю. Мне помешало только ваше щелканье...

Турист уходит с берега в раздумье. Он думает о работе, которая всегда казалась ему средством, добиться в один прекрасный день возможности больше не работать. На лице его нет теперь и следа сочувствия к бедно одетому рыбаку — только немного зависти.

Перевод М. Харитонова

Публикуется по: <http://www.rulit.me/books/o-padenii-trudovoj-moraliread-168456-1.html>

Das Frühstücksei

Loriot

Er: Berta!

Sie: Ja ...

Er: Das Ei ist hart!

Sie: (schweigt)

Er: Das Ei ist hart!!!

Sie: Ich habe es gehört ...

Er: Wie lange hat das Ei denn gekocht?

Sie: Zu viele Eier sind gar nicht gesund!

Er: Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat ...?

Sie: Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben ...

Er: Das weiß ich ...

Sie: Was fragst du denn dann?

Er: Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann!

Sie: Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten.

Er: Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich?

Sie: Ich weiß es nicht ... ich bin kein Huhn!

Er: Ach! ... Und woher weißt du, wann das Ei gut ist?

Sie: Ich nehme es nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott!

Er: Nach der Uhr oder wie?

Sie: Nach Gefühl ... eine Hausfrau hat das im Gefühl ...

Er: Im Gefühl? Was hast du im Gefühl?

Sie: Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist ...

Er: Aber es ist hart ... vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht ...

Sie: Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der

Küche, mache

die Wäsche, bring deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere

mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht?

Er: Jaja ... jaja ... jaja ... wenn ein Ei nach Gefühl kocht, kocht es eben nur zufällig genau

viereinhalb Minuten.

Sie: Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig viereinhalb Minuten kocht ...

Hauptsache, es kocht viereinhalb Minuten!

Er: Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei! Es ist mir egal, wie lange es kocht!

Sie: Aha! Das ist dir egal ... es ist dir also egal, ob ich viereinhalb Minuten in der Küche schufte!

Er: Nein - nein ...

Sie: Aber es ist nicht egal ... das Ei muss nämlich viereinhalb Minuten kochen ...

Er: Das habe ich doch gesagt ...

Sie: Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal!

Er: Ich hätte nur gern ein weiches Ei ...

Sie: Gott, was sind Männer primitiv!

Er: (düster vor sich hin) Ich bringe sie um ... morgen bringe ich sie um!

Публикуется по: http://www.ouvertuere.org/doc/Das_Fruehstuecksei.pdf

Яйцо на завтрак

Лорио

Он: Берга!

Она: Да ...

Он: Яйцо сварено вкрутую!

Она: (молчит)

Он: Яйцо сварено вкрутую!

Она: Я слышала ...

Он: Сколько оно варилось?

Она: Есть много яиц вредно для здоровья!

Он: Я спрашиваю, сколько варилось это яйцо ...?

Она: Тебе ведь надо всегда четыре с половиной минуты ...

Он: Я знаю ...

Она: Для чего тогда спрашиваешь?

Он: Потому что это яйцо точно не варилось четыре с половиной минуты.

Она: Я каждое утро варю его четыре с половиной минуты.

Он: Тогда почему оно иногда всмятку, а иногда вкрутую?

Она: Я не знаю... Я не курица.

Он: Да? И как ты понимаешь, что яйцо готово?

Она: О Боже! Я просто достаю его через четыре с половиной минуты.

Он: По часам или как?

Она: Я чувствую. Домохозяйка это чувствует.

Он: Чувствуешь? Что же ты чувствуешь?

Она: Я чувствую, когда яйцо готово.

Он: Но яйцо переварено. Может быть, с твоим чувством что-то не так...

Она: С моим чувством что-то не так? Я целый день провожу на кухне, стираю белье, убираю твои вещи, создаю дома уют, смотрю за детьми, а ты говоришь, что с моим чувством что-то не так?

Он: да-да-да... Если варить яйцо согласно чувству, оно лишь случайно может вариться именно четыре с половиной минуты.

Она: Тебя не должно волновать, варится он случайно четыре с половиной минуты или не случайно ... Главное, оно варится четыре с половиной минуты!

Он: Единственное, что мне нужно, это яйцо всмятку, а не случайно сваренное яйцо всмятку. Неважно, как долго оно варилось.

Она: Ага! Тебе неважно... Тебе неважно, сколько времени я провожу на кухне.

Он: нет-нет...

Она: Но это очень важно. Яйцо же должно вариться четыре с половиной минуты...

Он: Я же уже говорил об этом...

Она: Но ты же только что сказал, что тебе все равно.

Он: Мне нужно лишь яйцо всмятку...

Она: О Боже! Что за примитивные создания эти мужчины!

Он: (угрюмо, не громко). Я ее убью. Завтра я ее убью!

Перевод М. Опарина.

Wir sind eine demokratische Familie

Max von der Grün

Vor drei Jahren beschlossen wir, in unserer Familie Weihnachten abzuschaffen. Drei stimmten dafür: Ich, meine Frau und meine Tochter. Sohn Frank, damals erst drei Jahre alt, enthielt sich der Stimme, er sagte nur, als er gefragt wurde: Ei, ei.

Das brachte uns auf einen Kompromiss, denn keinen Baum in der Wohnung zu haben an Weihnachten, war uns, trotz wilder Entschlossenheit, mit diesem bürgerlichen Relikt zu brechen, doch nicht geheuer.

Seitdem putzten wir am Heiligen Abend, genau ab 14 Uhr, eine Tanne (aus dem Sauerland) mit gefärbten und ausgeblasenen Eiern. Es ist ein wunderschöner bunter Baum, die Eier werden von uns, immer genau sechzig Stück, Tage vorher in Heimarbeit und mit vergnüglicher Gemeinsamkeit, ausgeblasen und bemalt. In der Küche. Es gibt bis zum Heiligen Abend nur die Eierspeisen, denn irgendwo muss das, was sich innerhalb der Schalen befindet, ja bleiben.

Ein aufgeklärter, aber zufällig zu den Feiertagen angewerter Besucher stand staunend vor dem Baum und sagte: Ein Antibaum. Dem Besucher, Jurist aus alter Pastorenfamilie, war anzusehen, dass es ihm schmeichelte, in so einer fortschrittlichen Familie Gast zu sein, er bestaunte die Eier gehörig, meinte, da sei wohl viel Arbeit dran, er befühlte die Eier und war noch mehr beeindruckt, weil etliche mit Wasserfarbe, etliche mit Öl bepinselt waren, konkrete und abstrakte Musterung.

Damit aber nicht genug. Die 18 Weihnachtsplatten, die meisten davon LPs, wanderten in den Kleiderschrank ganz nach hinten, wo meine seit dreißig Jahren nicht mehr benützte Geige in einem vergammelten Kasten schmort, damit wir nicht der Versuchung erliegen sollten, sie abzuspielen, denn wir hatten uns im Laufe der Zeit eine Menge Frühlingslieder gekauft.

Die spielen wir immer ab zum Heiligen Abend, nämlich: Der Mai ist gekommen, oder: Alle Vöglein sind schon da, oder: Am Baum vor dem Tore.

Meine Tochter, sie steht vor dem Abitur, meinte zwar, was wir treiben, sei reaktionär, aber sie konnte es doch nicht lassen, damals nacheinander ihre Freundinnen einzuladen, ihnen den Baum zu zeigen, ihnen die Platten vorzuspielen. Die Freundinnen, die auch Klassenkameradinnen

sind, fanden das ungeheuer aufregend und chic, sie liefen nach Hause und erzählten ihren Eltern von unserem Antibaum. Die Eltern meinten zwar, wir wären verrückt, Schriftsteller haben alle einen Dachschaden und die können sich den Dachschaden auch leisten, weil er von der Gesellschaft akzeptiert wird, aber diese Töchter haben doch erreicht, dass ihre Eltern doch unsicher wurden auf dem Gebiet der Heiligen und Stillen Nacht.

Ein Jahr später konnten einige dieser Töchter in der Schule stolz melden, dass nun sie auch einen Antibaum hätten, und im letzten Jahr gab es in unserer Siedlung keine Wohnung mehr, in der nicht ein mit Eiern behangener Baum stand, zumindest in den Zimmern der Familien, die sich Intellektuelle, Bürger und Handeltreibende nennen. Nur im grauen Viertel unserer Siedlung, wo diese exotischen Gewächse wohnen, von Linksradikalen auch Proletarier genannt, da hängen noch Kugeln an den Bäumen und brennen noch echte Bienenwachskerzen und da spielt man auch noch richtige Weihnachtslieder.

Aber auch dieses graue Viertel tauen wir noch auf, der Anfang wurde letzte Weihnachten gemacht, als am ersten Feiertag wir unsere Fenster öffneten und mittels Verstärker unsere Lieder zur anderen Straßenseite hinüberschickten, nämlich: Der Mai ist gekommen, und: Alle Vöglein sind schon da.

Erst versuchten die Exoten von der anderen Seite gegen uns anzustinken mit: O Tannenbaum, und mit: Leise rieselt der Schnee, aber da sie keine Verstärker hatten, ließen sie es bald.

Trotzdem. Meine Tochter und ihre Freundinnen sind sich sicher, dass uns nächstes Jahr der Einbruch in die Arbeitersiedlung gelingen wird, dass nächstes Jahr auch im grauen Viertel Antibäume stehen werden, mit Eiern behängen und mit Frühlingsliedern garniert. Man muss bei den Leuten nur behutsam vorgehen, darf nicht erkennen lassen, dass es eine linke, vielleicht sogar eine radikal linke Initiative ist, meine Tochter tarnt das mit Mode, gegen die auch Proletarier nichts einzuwenden haben, im Gegenteil, für Mode sind sie immer zu haben, sofern sie dafür bezahlen müssen und nicht dafür bezahlt bekommen.

So schön dieser Erfolg ist, mit Konsequenz seit drei Jahren betrieben, was uns gar nicht so leicht fiel, wie es vielleicht den Anschein hat, dass wir ihn in das Viertel tragen konnten und vielleicht auch das Exotenviertel unterwandern können, es gab in eigenem Haus einen Misston, der uns letztes Weihnachten das Blut gerinnen ließ. Denn bei unserer Aufgabe, allen Menschen, die guten Willens sind, den Antibaum schmackhaft zu machen,

vergaßen wir ganz, dass unser Sohn Frank älter geworden war. Damals, als wir den Entschluss fassten, Eier statt Kugeln an den Baum zu hängen, da sagte er nur: Ei, ei.

Jetzt aber, letztes Weihnachtsfest, meine Frau brutzelte in der Küche die Gans, meine Tochter vertrug in die Nachbarschaft einen Waschkorb voll von Geschenken, und ich lümmelte im Sessel in meinem Zimmer und las in dem Buch: „Einführung in den dialektischen und historischen Materialismus“, da riss es mich hoch, denn ganz laut, mit Verstärker natürlich, lief in unserer Wohnung das Lied von der Stillen und Heiligen Nacht ab.

Sohn Frank hat im Kleiderschrank gestöbert, die Platten gefunden, er saß im Wohnzimmer auf dem Teppich, um ihn herum die Weihnachtsplatten, er legte sie auf, spielte sie ab, und was das Erschütterndste war: Er sang mit.

Meine Frau kam schwitzend aus der Küche gelaufen und rief: Mein Gott, wo hat das Kind das nur her!

Von mir nicht, sagte ich.

Denkst du, vielleicht von mir?

Wir stritten uns dann noch lautstark, aber viel zu hören war nicht von unseren Worten, denn Sohn Frank war bei O Tannenbaum angekommen.

Wir ließen ihn erst gewähren, dann aber nahmen wir ihn ins Gebet: Das dürfe er nie wieder tun, da werde das Christkind böse und bringe keine Geschenke mehr, und überhaupt, was werden die Nachbarn sagen, die müssen uns ja für verrückt halten und glauben, wir hätten einen Dachschaten.

Da wir eine tolerante Familie sind, mit Sinn für Fortschritt und dem Glauben an den Verstand, haben wir das unserem Sohn natürlich nicht mit Holzhammermanier beigebracht, wir haben ihm den Unterschied erklärt, der zwischen einem Baum mit Kugeln und einem Baum mit Eiern besteht.

Frank hörte zu, ganz Innerlichkeit, ganz unser Sohn, was die Aufmerksamkeit betrifft.

Meine Frau ging wieder in die Küche zu ihrer Gans, ich zu meiner Einführung in ... Die Tochter kam sich brüstend zurück, sie war ihre Geschenke endlich losgeworden, da hörten wir es wieder, diese grässlichen Weihnachtslieder, wie der Schnee leise rieselt. Ich lief zu meiner Frau in die Küche, ich war wütend, ich schrie sie an: Sofort verbietest du ^deinem Sohn, dass er diese Platten spielt.

Aber sie stand vor dem Herd und weinte, sie sagte nur: Die Gans ist verkohlt. So ein Unglück. Das ganze Fest ist verdorben. Weihnachten ohne Gans ... mein Gott, wenn das meine Mutter noch erlebt hätte ... mein Gott.

Публикуется по:

Наша демократическая семья

Макс фон дер Грюн

Три года тому назад наша семья решила покончить с празднованием Рождества. Три члена семьи были за: я, моя супруга и моя дочь. Сын Франк, которому на тот момент было лишь три года, воздержался. На наш вопрос он лишь ответил: "Ай, ай! "

Его ответ привел нас к компромиссу. Отказаться на Рождество от елки, несмотря на твердую решимость окончательно покончить с этим мещанским пережитком, было как-то страшновато.

С тех пор на сочельник, начиная ровно с 14 часов, мы наряжаем елку (из Зауерланда) разукрашенными и выдутыми яйцами. Елка получается очень красивой и разноцветной. Мы дружно целыми днями проводим за домашней работой, выдувая и разукрашивая яйца. Ровно 60 штук. На кухне. До сочельника вся наша еда состоит из яиц. Иначе куда же девать отходы производства?

Один просвещенный, но случайно навеянный на праздники гость стоя перед елкой с удивлением произнес: "Антиёлка!". По гостю, юристу из семьи священника было заметно, что ему льстило быть гостем в такой прогрессивной семье. Он как полагается с удивлением рассмотрел яйца. Сказал, что это, наверное, стоило больших усилий. Он потрогал их и был удивлен еще больше, так как одни были покрашены водяной краской другие масляной, на одни был нанесен конкретный рисунок, на другие абстрактный.

Но это еще не все. 18 рождественских пластинок, большинство из которых были долгоиграющими отправились в шкаф с одеждой, причем в самый дальний ящик, там, где уже тридцать лет в заплевывшем футляре пылилась моя скрипка. Это было сделано для того, чтобы мы не поддались искушению их послушать. За последнее время мы накупили очень много весенних песен.

Их мы теперь всегда слушаем на Рождество: "Май наступил", "Все птицы уже прилетели", "На дереве у ворот" .

Моя дочь, ученица последнего класса гимназии полагала, что то, чем мы занимаемся, носит реакционный характер, но и она не смогла удержаться от того, чтобы не пригласить по очереди своих подружек с целью показать им елку и послушать весенние песни. Одноклассницы, находясь под впечатлением, убежали домой и рассказывали своим ро-

дителям об антиелке. Их родители считали нас сумасшедшими. По их мнению, у всех писателей не все дома. К тому же писатели могут позволить себе быть сумасшедшими, так как это обществом принимается. Несмотря на это их дочерям удавалось привнести в свои семьи долю сомнения на предмет празднования Рождества.

Через год некоторые из этих дочерей в школе с гордостью говорили, что и у них появилась антиелка. А в прошлом году в нашем поселке уже не было ни одной квартиры, в которой не стояла бы украшенная яйцами антиелка. Ну, по крайней мере в тех семьях, которые причисляли себя к разряду интеллектуалов, бюргеров и торговцев. Лишь в сером квартале нашего поселка, там, где живут эти экзоты, именуемые благодаря левым радикалам пролетариями, там на деревьях все еще висят шары, горят настоящие восковые свечи, а жители слушают рождественские песни.

Но и этот серый квартал нам удастся растопить. Начало было положено в прошлом году. В первый праздничный день мы открыли окна и направили наши колонки посредством усилителей на другую сторону улицы: "Май наступил", "Все птицы уже прилетели".

Изначально экзоты пытались отвечать нам с другой стороны: "О, елка!", "Тихо падает снег", но так как у них не было усилителей, они вскоре бросили эту затею.

Несмотря на это моя дочь и ее подруги уверены, что в следующем году мы обязательно покорим этот рабочий поселок и в следующем году и в этом квартале будут стоять антиелки, обвешанные яйцами и приправленные радостными весенними песенками. Просто надо быть достаточно осторожным, люди не должны увидеть в этом левую, возможно, даже крайне левую инициативу. Моя дочь скрывает это под словом мода, против которой даже пролетариям нечего возразить. Напротив, при помощи моды их можно даже завлечь, особенно в случае когда платят они, а не им.

Какой бы успешной ни была наша инициатива, последовательно реализуемая в течение трех лет и давшаяся нам гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд (мы смогли распространить нашу идею на весь квартал и были в шаге от завоевания "экзотического" квартала), она была омрачена происшествием в нашем собственном доме, имевшем место в прошлое Рождество. Полностью отдавшись нашей миссии по популяризации антиелки среди людей доброй воли, мы полностью забыли о том, что наш сын Франк подросток. Тогда, когда мы при-

няли решение вешать на елку вместо шаров яйца, он лишь сказал: "Ай, ай!".

А сейчас в последнее Рождество, в то время как моя жена жарила на кухне гуся, дочь раздавала подарки соседям, а я удобно разместившись в кресле читал "Введение в диалектический и исторический материализм", внезапно на всю громкость в доме заиграла "Тихая, святая ночь" и заставила меня забыть об уютном времяпрепровождении.

Франк порывлся в шкаф и нашел пластинки. Он сидел в комнате на ковре, вокруг него лежали рождественские пластинки. Он проигрывал их одну за другой и самое ужасное: он пел эти песни.

Моя жена прибежала из кухни и закричала: "О Боже, откуда они у него?".

"Я их ему не давал" - ответил я.

"Не думаешь ли ты, что это от меня?".

Мы орал друг на друга, но нас не было слышно, так как Франк дошел до "О, елка!".

Мы немного остыли, но потом серьезно с ним поговорили: Это было в первый и последний раз, иначе Иисус рассердится и не принесет подарки, и вообще, что скажут соседи, они же подумают, что мы сошли с ума, что у нас не все дома.

Так как мы толерантная семья, верящая в прогресс и здравый смысл, мы очень деликатно объяснили сыну, в чем состоит отличие между деревом с шарами и деревом с яйцами.

Франк слушал очень внимательно и проникновенно. Определенно наш сын, что касается внимательности, - подумали мы.

Моя жена пошла на кухню, я вернулся к моему введению... Дочь, избавившись от подарков, с гордостью вернулась домой. Тут вновь раздались эти ужасные рождественские песни о падающем снеге. Я вне себя от ярости побежал к жене и закричал: "Ты немедленно запретишь своему сыну слушать эти песни!".

Но она стояла у плиты и плакала, она сказала: "Гусь сгорел. Какая беда! Праздник испорчен. Рождество без гуся ... Боже мой, если бы моя мама это видела Боже мой!".

Перевод М. Опарина

Юмор ЧИИА

from **Babbitt**

Sinclair Lewis

I

Babbitt's preparations for leaving the office to its feeble self during the hour and a half of his lunch-period were somewhat less elaborate than the plans for a general European war.

He fretted to Miss McGoun, "What time you going to lunch? Well, make sure Miss Bannigan is in then. Explain to her that if Wiedenfeldt calls up, she's to tell him I'm already having the title traced. And oh, b' the way, remind me tomorrow to have Penniman trace it. Now if anybody comes in looking for a cheap house, remember we got to shove that Bangor Road place off onto somebody. If you need me, I'll be at the Athletic Club. And—uh— And—uh— I'll be back by two."

He dusted the cigar-ashes off his vest. He placed a difficult unanswered letter on the pile of unfinished work, that he might not fail to attend to it that afternoon. (For three noons, now, he had placed the same letter on the unfinished pile.) He scrawled on a sheet of yellow backing-paper the memorandum: "See abt apt h drs," which gave him an agreeable feeling of having already seen about the apartment-house doors.

He discovered that he was smoking another cigar. He threw it away, protesting, "Darn it, I thought you'd quit this darn smoking!" He courageously returned the cigar-box to the correspondence-file, locked it up, hid the key in a more difficult place, and raged, "Ought to take care of myself. And need more exercise—walk to the club, every single noon—just what I'll do—every noon—cut out this motoring all the time."

The resolution made him feel exemplary. Immediately after it he decided that this noon it was too late to walk. It took but little more time to start his car and edge it into the traffic than it would have taken to walk the three and a half blocks to the club.

II

As he drove he glanced with the fondness of familiarity at the buildings.

A stranger suddenly dropped into the business-center of Zenith could not have told whether he was in a city of Oregon or Georgia, Ohio or Maine, Oklahoma or Manitoba. But to Babbitt every inch was individual and stirring. As always he noted that the California Building across the way was three stories lower, therefore three stories less beautiful, than his own Reeves Building. As always when he passed the Parthenon Shoe Shine Parlor, a one-story hut which beside the granite and red-brick ponderousness of the old California Building resembled a bath-house under a cliff, he commented, "Gosh, ought to get my shoes shined this afternoon. Keep forgetting it." At the Simplex Office Furniture Shop, the National Cash Register Agency, he yearned for a dictaphone, for a typewriter which would add and multiply, as a poet yearns for quartos or a physician for radium.

At the Nobby Men's Wear Shop he took his left hand off the steering-wheel to touch his scarf, and thought well of himself as one who bought expensive ties "and could pay cash for 'em, too, by golly"; and at the United Cigar Store, with its crimson and gold alertness, he reflected, "Wonder if I need some cigars—idiot—plumb forgot—going t' cut down my fool smoking." He looked at his bank, the Miners' and Drivers' National, and considered how clever and solid he was to bank with so marbled an establishment. His high moment came in the clash of traffic when he was halted at the corner beneath the lofty Second National Tower. His car was banked with four others in a line of steel restless as cavalry, while the crosstown traffic, limousines and enormous moving-vans and insistent motor-cycles, poured by; on the farther corner, pneumatic riveters rang on the sun-plated skeleton of a new building; and out of this tornado flashed the inspiration of a familiar face, and a fellow Booster shouted, "H' are you, George!" Babbitt waved in neighborly affection, and slid on with the traffic as the policeman lifted his hand. He noted how quickly his car picked up. He felt superior and powerful, like a shuttle of polished steel darting in a vast machine.

As always he ignored the next two blocks, decayed blocks not yet reclaimed from the grime and shabbiness of the Zenith of 1885. While he was passing the five-and-ten-cent store, the Dakota Lodging House, Concordia Hall with its lodge-rooms and the offices of fortune-tellers and chiropractors, he thought of how much money he made, and he boasted a little and worried a little and did old familiar sums:

"Four hundred fifty plunks this morning from the Lyte deal. But taxes due. Let's see: I ought to pull out eight thousand net this year, and

save fifteen hundred of that—no, not if I put up garage and— Let's see: six hundred and forty clear last month, and twelve times six-forty makes— makes—let see: six times twelve is seventy-two hundred and— Oh rats, anyway, I'll make eight thousand—gee now, that's not so bad; mighty few fellows pulling down eight thousand dollars a year—eight thousand good hard iron dollars—bet there isn't more than five per cent. of the people in the whole United States that make more than Uncle George does, by golly! Right up at the top of the heap! But— Way expenses are— Family wasting gasoline, and always dressed like millionaires, and sending that eighty a month to Mother— And these stenographers and salesmen gouging me for every cent they can get—”

The effect of his scientific budget-planning was that he felt at once triumphantly wealthy and perilously poor, and in the midst of these dissertations he stopped his car, rushed into a small news-and-miscellany shop, and bought the electric cigar-lighter which he had coveted for a week. He dodged his conscience by being jerky and noisy, and by shouting at the clerk, “Guess this will prett' near pay for itself in matches, eh?”

It was a pretty thing, a nickeled cylinder with an almost silvery socket, to be attached to the dashboard of his car. It was not only, as the placard on the counter observed, “a handy little refinement, lending the last touch of class to a gentleman's auto,” but a priceless time-saver. By freeing him from halting the car to light a match, it would in a month or two easily save ten minutes.

As he drove on he glanced at it. “Pretty nice. Always wanted one,” he said wistfully. “The one thing a smoker needs, too.”

Then he remembered that he had given up smoking.

“Darn it!” he mourned. “Oh well, I suppose I'll hit a cigar once in a while. And— Be a great convenience for other folks. Might make just the difference in getting chummy with some fellow that would put over a sale. And— Certainly looks nice there. Certainly is a mighty clever little jigger. Gives the last touch of refinement and class. I— By golly, I guess I can afford it if I want to! Not going to be the only member of this family that never has a single doggone luxury!”

Thus, laden with treasure, after three and a half blocks of romantic adventure, he drove up to the club.

III

The Zenith Athletic Club is not athletic and it isn't exactly a club, but it is Zenith in perfection. It has an active and smoke-misted billiard room, it is represented by baseball and football teams, and in the pool and the gymnasium a tenth of the members sporadically try to reduce. But most of its three thousand members use it as a café in which to lunch, play cards, tell stories, meet customers, and entertain out-of-town uncles at dinner. It is the largest club in the city, and its chief hatred is the conservative Union Club, which all sound members of the Athletic call "a rotten, snobbish, dull, expensive old hole—not one Good Mixer in the place—you couldn't hire me to join." Statistics show that no member of the Athletic has ever refused election to the Union, and of those who are elected, sixty-seven per cent. resign from the Athletic and are thereafter heard to say, in the drowsy sanctity of the Union lounge, "The Athletic would be a pretty good hotel, if it were more exclusive."

The Athletic Club building is nine stories high, yellow brick with glassy roof-garden above and portico of huge limestone columns below. The lobby, with its thick pillars of porous Caen stone, its pointed vaulting, and a brown glazed-tile floor like well-baked bread-crust, is a combination of cathedral-crypt and rathskellar. The members rush into the lobby as though they were shopping and hadn't much time for it. Thus did Babbitt enter, and to the group standing by the cigar-counter he whooped, "How's the boys? How's the boys? Well, well, fine day!"

Jovially they whooped back—Vergil Gunch, the coal-dealer, Sidney Finkelstein, the ladies'-ready-to-wear buyer for Parcher & Stein's department-store, and Professor Joseph K. Pumphrey, owner of the Riteway Business College and instructor in Public Speaking, Business English, Scenario Writing, and Commercial Law. Though Babbitt admired this savant, and appreciated Sidney Finkelstein as "a mighty smart Buyer and a good liberal spender," it was to Vergil Gunch that he turned with enthusiasm. Mr. Gunch was president of the Boosters' Club, a weekly lunch-club, local chapter of a national organization which promoted sound business and friendliness among Regular Fellows. He was also no less an official than Esteemed Leading Knight in the Benevolent and Protective Order of Elks, and it was rumored that at the next election he would be a candidate for Exalted Ruler. He was a jolly man, given to oratory and to chumminess with the arts. He called on the famous actors and vaudeville artists when

they came to town, gave them cigars, addressed them by their first names, and—sometimes—succeeded in bringing them to the Boosters' lunches to give The Boys a Free Entertainment. He was a large man with hair en brosse, and he knew the latest jokes, but he played poker close to the chest. It was at his party that Babbitt had sucked in the virus of to-day's restlessness.

Gunch shouted, "How's the old Bolsheviki? How do you feel, the morning after the night before?"

"Oh, boy! Some head! That was a regular party you threw, Verg! Hope you haven't forgotten I took that last cute little jack-pot!" Babbitt bellowed. (He was three feet from Gunch.)

"That's all right now! What I'll hand you next time, Georgie! Say, juh notice in the paper the way the New York Assembly stood up to the Reds?"

"You bet I did. That was fine, eh? Nice day to-day."

"Yes, it's one mighty fine spring day, but nights still cold."

"Yeh, you're right they are! Had to have coupla blankets last night, out on the sleeping-porch. Say, Sid," Babbitt turned to Finkelstein, the buyer, "got something wanta ask you about. I went out and bought me an electric cigar-lighter for the car, this noon, and—"

"Good hunch!" said Finkelstein, while even the learned Professor Pumphrey, a bulbous man with a pepper-and-salt cutaway and a pipe-organ voice, commented, "That makes a dandy accessory. Cigar-lighter gives tone to the dashboard."

"Yep, finally decided I'd buy me one. Got the best on the market, the clerk said it was. Paid five bucks for it. Just wondering if I got stuck. What do they charge for 'em at the store, Sid?"

Finkelstein asserted that five dollars was not too great a sum, not for a really high-class lighter which was suitably nickeled and provided with connections of the very best quality. "I always say—and believe me, I base it on a pretty fairly extensive mercantile experience—the best is the cheapest in the long run. Of course if a fellow wants to be a Jew about it, he can get cheap junk, but in the long run, the cheapest thing is—the best you can get! Now you take here just th' other day: I got a new top for my old boat and some upholstery, and I paid out a hundred and twenty-six fifty, and of course a lot of fellows would say that was too much—Lord, if the Old Folks—they live in one of these hick towns up-state and they simply can't get onto the way a city fellow's mind works, and then, of course, they're

Jews, and they'd lie right down and die if they knew Sid had anted up a hundred and twenty-six bones. But I don't figure I was stuck, George, not a bit. Machine looks brand new now—not that it's so darned old, of course; had it less 'n three years, but I give it hard service; never drive less 'n a hundred miles on Sunday and, uh— Oh, I don't really think you got stuck, George. In the long run, the best is, you might say, it's unquestionably the cheapest."

"That's right," said Vergil Gunch. "That's the way I look at it. If a fellow is keyed up to what you might call intensive living, the way you get it here in Zenith—all the hustle and mental activity that's going on with a bunch of live-wires like the Boosters and here in the Z.A.C., why, he's got to save his nerves by having the best."

Babbitt nodded his head at every fifth word in the roaring rhythm; and by the conclusion, in Gunch's renowned humorous vein, he was enchanted:

"Still, at that, George, don't know's you can afford it. I've heard your business has been kind of under the eye of the gov'ment since you stole the tail of Eathorne Park and sold it!"

"Oh, you're a great little josh, Verg. But when it comes to kidding, how about this report that you stole the black marble steps off the post-office and sold 'em for high-grade coal!" In delight Babbitt patted Gunch's back, stroked his arm.

"That's all right, but what I want to know is: who's the real-estate shark that bought that coal for his apartment-houses?"

"I guess that'll hold you for a while, George!" said Finkelstein. "I'll tell you, though, boys, what I did hear: George's missus went into the gents' wear department at Parcher's to buy him some collars, and before she could give his neck-size the clerk slips her some thirteens. 'How juh know the size?' says Mrs. Babbitt, and the clerk says, 'Men that let their wives buy collars for 'em always wear thirteen, madam.' How's that! That's pretty good, eh? How's that, eh? I guess that'll about fix you, George!"

"I—I—" Babbitt sought for amiable insults in answer. He stopped, stared at the door. Paul Riesling was coming in. Babbitt cried, "See you later, boys," and hastened across the lobby. He was, just then, neither the sulky child of the sleeping-porch, the domestic tyrant of the breakfast table, the crafty money-changer of the Lyte-Purdy conference, nor the blaring Good Fellow, the Josher and Regular Guy, of the Athletic Club. He was an

older brother to Paul Riesling, swift to defend him, admiring him with a proud and credulous love passing the love of women. Paul and he shook hands solemnly; they smiled as shyly as though they had been parted three years, not three days—and they said:

“How’s the old horse-thief?”

“All right, I guess. How’re you, you poor shrimp?”

“I’m first-rate, you second-hand hunk o’ cheese.”

Reassured thus of their high fondness, Babbitt grunted, “You’re a fine guy, you are! Ten minutes late!” Riesling snapped, “Well, you’re lucky to have a chance to lunch with a gentleman!” They grinned and went into the Neronian washroom, where a line of men bent over the bowls inset along a prodigious slab of marble as in religious prostration before their own images in the massy mirror. Voices thick, satisfied, authoritative, hurtled along the marble walls, bounded from the ceiling of lavender-bordered milky tiles, while the lords of the city, the barons of insurance and law and fertilizers and motor tires, laid down the law for Zenith; announced that the day was warm—indeed, indisputably of spring; that wages were too high and the interest on mortgages too low; that Babe Ruth, the eminent player of baseball, was a noble man; and that “those two nuts at the Climax Vaudeville Theater this week certainly are a slick pair of actors.” Babbitt, though ordinarily his voice was the surest and most episcopal of all, was silent. In the presence of the slight dark reticence of Paul Riesling, he was awkward, he desired to be quiet and firm and deft.

The entrance lobby of the Athletic Club was Gothic, the washroom Roman Imperial, the lounge Spanish Mission, and the reading-room in Chinese Chippendale, but the gem of the club was the dining-room, the masterpiece of Ferdinand Reitman, Zenith’s busiest architect. It was lofty and half-timbered, with Tudor leaded casements, an oriel, a somewhat musicianless musicians’-gallery, and tapestries believed to illustrate the granting of Magna Charta. The open beams had been hand-adzed at Jake Offutt’s car-body works, the hinges were of hand-wrought iron, the wainscot studded with handmade wooden pegs, and at one end of the room was a heraldic and hooded stone fireplace which the club’s advertising-pamphlet asserted to be not only larger than any of the fireplaces in European castles but of a draught incomparably more scientific. It was also much cleaner, as no fire had ever been built in it.

Half of the tables were mammoth slabs which seated twenty or thirty men. Babbitt usually sat at the one near the door, with a group including

Gunch, Finkelstein, Professor Pumphrey, Howard Littlefield, his neighbor, T. Cholmondeley Frink, the poet and advertising-agent, and Orville Jones, whose laundry was in many ways the best in Zenith. They composed a club within the club, and merrily called themselves "The Roughnecks." To-day as he passed their table the Roughnecks greeted him, "Come on, sit in! You 'n' Paul too proud to feed with poor folks? Afraid somebody might stick you for a bottle of Bevo, George? Strikes me you swells are getting awful darn exclusive!"

He thundered, "You bet! We can't afford to have our reps ruined by being seen with you tightwads!" and guided Paul to one of the small tables beneath the musicians'-gallery. He felt guilty. At the Zenith Athletic Club, privacy was very bad form. But he wanted Paul to himself.

That morning he had advocated lighter lunches and now he ordered nothing but English mutton chop, radishes, peas, deep-dish apple pie, a bit of cheese, and a pot of coffee with cream, adding, as he did invariably, "And uh— Oh, and you might give me an order of French fried potatoes." When the chop came he vigorously peppered it and salted it. He always peppered and salted his meat, and vigorously, before tasting it.

Paul and he took up the spring-like quality of the spring, the virtues of the electric cigar-lighter, and the action of the New York State Assembly. It was not till Babbitt was thick and disconsolate with mutton grease that he flung out:

"I wound up a nice little deal with Conrad Lyte this morning that put five hundred good round plunks in my pocket. Pretty nice—pretty nice! And yet— I don't know what's the matter with me to-day. Maybe it's an attack of spring fever, or staying up too late at Verg Gunch's, or maybe it's just the Winter's work piling up, but I've felt kind of down in the mouth all day long. Course I wouldn't beef about it to the fellows at the Roughnecks' Table there, but you— Ever feel that way, Paul? Kind of comes over me: here I've pretty much done all the things I ought to; supported my family, and got a good house and a six-cylinder car, and built up a nice little business, and I haven't any vices 'specially, except smoking— and I'm practically cutting that out, by the way. And I belong to the church, and play enough golf to keep in trim, and I only associate with good decent fellows. And yet, even so, I don't know that I'm entirely satisfied!"

It was drawled out, broken by shouts from the neighboring tables, by mechanical love-making to the waitress, by stertorous grunts as the coffee

filled him with dizziness and indigestion. He was apologetic and doubtful, and it was Paul, with his thin voice, who pierced the fog:

“Good Lord, George, you don’t suppose it’s any novelty to me to find that we hustlers, that think we’re so all-fired successful, aren’t getting much out of it? You look as if you expected me to report you as seditious! You know what my own life’s been.”

“I know, old man.”

“I ought to have been a fiddler, and I’m a pedler of tar-roofing! And Zilla— Oh, I don’t want to squeal, but you know as well as I do about how inspiring a wife she is.... Typical instance last evening: We went to the movies. There was a big crowd waiting in the lobby, us at the tail-end. She began to push right through it with her ‘Sir, how dare you?’ manner— Honestly, sometimes when I look at her and see how she’s always so made up and stinking of perfume and looking for trouble and kind of always yelping, ‘I tell yuh I’m a lady, damn yuh!’—why, I want to kill her! Well, she keeps elbowing through the crowd, me after her, feeling good and ashamed, till she’s almost up to the velvet rope and ready to be the next let in. But there was a little squirt of a man there—probably been waiting half an hour—I kind of admired the little cuss—and he turns on Zilla and says, perfectly polite, ‘Madam, why are you trying to push past me?’ And she simply—God, I was so ashamed!—she rips out at him, ‘You’re no gentleman,’ and she drags me into it and hollers, ‘Paul, this person insulted me!’ and the poor skate, he got ready to fight.

“I made out I hadn’t heard them—sure! same as you wouldn’t hear a boiler-factory!—and I tried to look away—I can tell you exactly how every tile looks in the ceiling of that lobby; there’s one with brown spots on it like the face of the devil—and all the time the people there—they were packed in like sardines—they kept making remarks about us, and Zilla went right on talking about the little chap, and screeching that ‘folks like him oughtn’t to be admitted in a place that’s supposed to be for ladies and gentlemen,’ and ‘Paul, will you kindly call the manager, so I can report this dirty rat?’ and— Oof! Maybe I wasn’t glad when I could sneak inside and hide in the dark!

“After twenty-four years of that kind of thing, you don’t expect me to fall down and foam at the mouth when you hint that this sweet, clean, respectable, moral life isn’t all it’s cracked up to be, do you? I can’t even talk about it, except to you, because anybody else would think I was yel-

low. Maybe I am. Don't care any longer.... Gosh, you've had to stand a lot of whining from me, first and last, Georgie!"

"Rats, now, Paul, you've never really what you could call whined. Sometimes—I'm always blowing to Myra and the kids about what a whale of a realtor I am, and yet sometimes I get a sneaking idea I'm not such a Pierpont Morgan as I let on to be. But if I ever do help by jollyng you along, old Paulski, I guess maybe Saint Pete may let me in after all!"

"Yuh, you're an old blow-hard, Georgie, you cheerful cut-throat, but you've certainly kept me going."

"Why don't you divorce Zilla?"

"Why don't I! If I only could! If she'd just give me the chance! You couldn't hire her to divorce me, no, nor desert me. She's too fond of her three squares and a few pounds of nut-center chocolates in between. If she'd only be what they call unfaithful to me! George, I don't want to be too much of a stinker; back in college I'd've thought a man who could say that ought to be shot at sunrise. But honestly, I'd be tickled to death if she'd really go making love with somebody. Fat chance! Of course she'll flirt with anything—you know how she holds hands and laughs—that laugh—that horrible brassy laugh—the way she yaps, 'You naughty man, you better be careful or my big husband will be after you!'—and the guy looking me over and thinking, 'Why, you cute little thing, you run away now or I'll spank you!' And she'll let him go just far enough so she gets some excitement out of it and then she'll begin to do the injured innocent and have a beautiful time wailing, 'I didn't think you were that kind of a person.' They talk about these demi-vierges in stories—"

"These whats?"

"—but the wise, hard, corseted, old married women like Zilla are worse than any bobbed-haired girl that ever went boldly out into this-here storm of life—and kept her umbrella slid up her sleeve! But rats, you know what Zilla is. How she nags—nags—nags. How she wants everything I can buy her, and a lot that I can't, and how absolutely unreasonable she is, and when I get sore and try to have it out with her she plays the Perfect Lady so well that even I get fooled and get all tangled up in a lot of 'Why did you say's' and 'I didn't mean's.' I'll tell you, Georgie: You know my tastes are pretty fairly simple—in the matter of food, at least. Course, as you're always complaining, I do like decent cigars—not those Flor de Cabagos you're smoking—"

“That’s all right now! That’s a good two-for. By the way, Paul, did I tell you I decided to practically cut out smok—”

“Yes you— At the same time, if I can’t get what I like, why, I can do without it. I don’t mind sitting down to burnt steak, with canned peaches and store cake for a thrilling little dessert afterwards, but I do draw the line at having to sympathize with Zilla because she’s so rotten bad-tempered that the cook has quit, and she’s been so busy sitting in a dirty lace negligée all afternoon, reading about some brave manly Western hero, that she hasn’t had time to do any cooking. You’re always talking about ‘morals’— meaning monogamy, I suppose. You’ve been the rock of ages to me, all right, but you’re essentially a simp. You—”

“Where d’ you get that ‘simp,’ little man? Let me tell you—”

“—love to look earnest and inform the world that it’s the duty of responsible business men to be strictly moral, as an example to the community.’ In fact you’re so earnest about morality, old Georgie, that I hate to think how essentially immoral you must be underneath. All right, you can—”

“Wait, wait now! What’s—”

“—talk about morals all you want to, old thing, but believe me, if it hadn’t been for you and an occasional evening playing the violin to Terrill O’Farrell’s cello, and three or four darling girls that let me forget this beastly joke they call ‘respectable life,’ I’d’ve killed myself years ago.

“And business! The roofing business! Roofs for cow-sheds! Oh, I don’t mean I haven’t had a lot of fun out of the Game; out of putting it over on the labor unions, and seeing a big check coming in, and the business increasing. But what’s the use of it? You know, my business isn’t distributing roofing—it’s principally keeping my competitors from distributing roofing. Same with you. All we do is cut each other’s throats and make the public pay for it!”

“Look here now, Paul! You’re pretty darn near talking socialism!”

“Oh yes, of course I don’t really exactly mean that—I s’pose. Course—competition—brings out the best—survival of the fittest—but— But I mean: Take all these fellows we know, the kind right here in the club now, that seem to be perfectly content with their home-life and their businesses, and that boost Zenith and the Chamber of Commerce and holler for a million population. I bet if you could cut into their heads you’d find that one-third of ’em are sure-enough satisfied with their wives and kids and friends and their offices; and one-third feel kind of restless but won’t admit

it; and one-third are miserable and know it. They hate the whole peppy, boasting, go-ahead game, and they're bored by their lives and think their families are fools—at least when they come to forty or forty-five they're bored—and they hate business, and they'd go— Why do you suppose there's so many 'mysterious' suicides? Why do you suppose so many Substantial Citizens jumped right into the war? Think it was patriotism?"

Babbitt snorted, "What do you expect? Think we were sent into the world to have a soft time and—what is it?—'float on flowery beds of ease'? Think Man was just made to be happy?"

"Why not? Though I've never discovered anybody that knew what the deuce Man really was made for!"

"Well we know—not just in the Bible alone, but it stands to reason—a man who doesn't buckle down and do his duty, even if it does bore him sometimes, is nothing but a—well, he's simply a weakling. Mollycoddle, in fact! And what do you advocate? Come down to cases! If a man is bored by his wife, do you seriously mean he has a right to chuck her and take a sneak, or even kill himself?"

"Good Lord, I don't know what 'rights' a man has! And I don't know the solution of boredom. If I did, I'd be the one philosopher that had the cure for living. But I do know that about ten times as many people find their lives dull, and unnecessarily dull, as ever admit it; and I do believe that if we busted out and admitted it sometimes, instead of being nice and patient and loyal for sixty years, and then nice and patient and dead for the rest of eternity, why, maybe, possibly, we might make life more fun."

They drifted into a maze of speculation. Babbitt was elephantishly uneasy. Paul was bold, but not quite sure about what he was being bold. Now and then Babbitt suddenly agreed with Paul in an admission which contradicted all his defense of duty and Christian patience, and at each admission he had a curious reckless joy. He said at last:

"Look here, old Paul, you do a lot of talking about kicking things in the face, but you never kick. Why don't you?"

"Nobody does. Habit too strong. But— Georgie, I've been thinking of one mild bat—oh, don't worry, old pillar of monogamy; it's highly proper. It seems to be settled now, isn't it—though of course Zilla keeps rooting for a nice expensive vacation in New York and Atlantic City, with the bright lights and the bootlegged cocktails and a bunch of lounge-lizards to dance with—but the Babbitts and the Rieslings are sure-enough going to Lake Sunasquam, aren't we? Why couldn't you and I make some excuse—

say business in New York—and get up to Maine four or five days before they do, and just loaf by ourselves and smoke and cuss and be natural?”

“Great! Great idea!” Babbitt admired.

Not for fourteen years had he taken a holiday without his wife, and neither of them quite believed they could commit this audacity. Many members of the Athletic Club did go camping without their wives, but they were officially dedicated to fishing and hunting, whereas the sacred and unchangeable sports of Babbitt and Paul Riesling were golfing, motoring, and bridge. For either the fishermen or the golfers to have changed their habits would have been an infraction of their self-imposed discipline which would have shocked all right-thinking and regularized citizens.

Babbitt blustered, “Why don’t we just put our foot down and say, ‘We’re going on ahead of you, and that’s all there is to it!’ Nothing criminal in it. Simply say to Zilla—”

“You don’t say anything to Zilla simply. Why, Georgie, she’s almost as much of a moralist as you are, and if I told her the truth she’d believe we were going to meet some dames in New York. And even Myra—she never nags you, the way Zilla does, but she’d worry. She’d say, ‘Don’t you want me to go to Maine with you? I shouldn’t dream of going unless you wanted me’; and you’d give in to save her feelings. Oh, the devil! Let’s have a shot at duck-pins.”

During the game of duck-pins, a juvenile form of bowling, Paul was silent. As they came down the steps of the club, not more than half an hour after the time at which Babbitt had sternly told Miss McGoun he would be back, Paul sighed, “Look here, old man, oughtn’t to talked about Zilla way I did.”

“Rats, old man, it lets off steam.”

“Oh, I know! After spending all noon sneering at the conventional stuff, I’m conventional enough to be ashamed of saving my life by busting out with my fool troubles!”

“Old Paul, your nerves are kind of on the bum. I’m going to take you away. I’m going to rig this thing. I’m going to have an important deal in New York and—and sure, of course!—I’ll need you to advise me on the roof of the building! And the ole deal will fall through, and there’ll be nothing for us but to go on ahead to Maine. I—Paul, when it comes right down to it, I don’t care whether you bust loose or not. I do like having a rep for being one of the Bunch, but if you ever needed me I’d chuck it and come out for you every time! Not of course but what you’re—course I don’t

mean you'd ever do anything that would put—that would put a decent position on the fritz but— See how I mean? I'm kind of a clumsy old codger, and I need your fine Eytalian hand. We— Oh, hell, I can't stand here gas-sing all day! On the job! S' long! Don't take any wooden money, Paulibus! See you soon! S' long!"

Публикуется по:

https://archive.org/stream/babbitsinclair00lewirich/babbitsinclair00lewirich_djvu.txt

Бэббит (фрагмент)

Синклер Льюис

Подготовка, которую проводил Бэббит перед завтраком, прежде чем бросить на целых полтора часа свою бедную контору на произвол судьбы, была только немногим упрощеннее подготовки всеобщей войны в Европе.

Он совсем задержал мисс Мак-Гаун:

— В котором часу вы пойдете завтракать? Пусть тогда мисс Бенниген посидит тут. Объясните ей, что если позвонит Биденфелд, пусть скажет, что я уже заказал опись. Да, кстати, напомните мне завтра распорядиться, чтобы Пеннимен ее заготовил. И еще, если кто-нибудь спросит насчет дома за сходную цену, помните, что нам надо сбыть с рук тот домишко на Бенгор-роуд. Еще вот что... еще... Словом, я вернусь к двум.

Он смахнул сигарный пепел с жилетки. Потом положил письмо, на которое трудно было сразу дать ответ, в стопку недоделанных работ, чтобы непременно заняться им после завтрака. (Уже третий день он клал это самое письмо в стопку недоделанных работ.) Он нацарапал на клочке желтой оберточной бумаги для памяти «поч. кв. дв.» — и у него было приятное чувство, будто он уже починил квартирные двери доходного дома.

Он поймал себя на том, что закурил сигару. Он отшвырнул ее с возмущением: «Черт тебя дерит, ты же бросил курить!» Он мужественно поставил ящичек с сигарами в регистрационную картотеку, припрятал ключ еще дальше, ругательски ругая себя: «Надо о здоровье подумать. Больше двигаться, каждый день ходить в клуб пешком, да, так я и буду делать — каждый божий день хватит разъезжать в машине!»

Решив это, он пришел в восхищение от собственной добродетели. Но тут же подумал, что сегодня идти пешком уже поздно.

Чтобы завести машину и выехать на главную улицу ему понадобилось только чуть больше времени, чем для того чтобы пройти пешком три с половиной квартала до клуба.

По дороге он с привычной нежностью поглядывал на дома.

Если бы приезжий сразу попал в деловой центр Зенита, он бы не отличил его от любого города в Орегоне или Джорджии, Огайо или Мэне, Оклахоме или Манитобе. Но для Бэббита каждый камень имел

свою индивидуальность, волновал его. Как всегда, он отметил, что Калифорния-Билдинг по той стороне улицы, на три этажа ниже, а следовательно, и на три этажа невзрачней, чем его родной Ривс-Билдинг. Как всегда, проезжая салон чистки обуви «Парфенон» — одноэтажный домишко, который рядом с гранитом и красным кирпичом старого Калифорния-Билдинг казался чем-то вроде купальни под скалой, — он подумал: «Черт, надо бы почистить сегодня ботинки! Вечно забываю...» У Магазина новейшей мебели и Агентства по распространению счетных машин он размышлял о диктофоне, о новой пишущей машинке, которая умела бы складывать и множить, как мечтает поэт об издании томика стихов или врач — о запасе радия.

У магазина готового платья «Мужской шик» он снял левую руку с руля, чтобы потрогать свой галстук, и с уважением к себе подумал, что может покупать дорогие галстуки — и платить за них чистоганом, да-с! — а у Центрального магазина табачных изделий, во всем его ало-золотом великолепии, он прикинул: «Кажется, мне нужны сигары — ах, я болван! Совершенно забыл — я же бросаю это дурацкое курево!» Он посмотрел на свой банк — Национальный Горнорудный и Промышленный банк, и подумал, как умно и солидно держать вклады в таком роскошном мраморном дворце. Но высшее блаженство он испытал во время остановки на перекрестке, под высоченным зданием Второй Национальной гостиницы. Машины выстроились стальными рядами, подрагивая, как нетерпеливые кавалерийские кони, пока мимо неслись лимузины, огромные грузовики, прыткие мотоциклы, а на противоположном углу с залитого солнцем каркаса нового здания доносился гул автогенной сварки, и откуда-то в шуме и вихре мелькнуло знакомое лицо, и приятель по клубу Толкачей крикнул: «Привет, Джорджи!» Бэббит от всей души помахал ему рукой и по знаку полисмена двинулся дальше в потоке машин. Он радовался, что его машина сразу набрала ход. Он чувствовал себя могучим и сильным, как стальной челнок, снующий в мощном механизме.

Как всегда, он старался не смотреть на следующие два квартала, где царили мерзость и запустение старого Зенита 1885 года. Проезжая мимо магазина стандартных цен, мебелированных комнат «Дакота» и отеля «Конкордия» с дешевыми номерами и приемными гадалок и мозольных операторов, он стал думать о том, сколько он зарабатывает, чуть-чуть возгордился, чуть-чуть расстроился, еще раз подсчитал давно знакомые цифры: «С Лайта заработал четыреста пятьдесят мо-

нет. Да, а налоги? Постой-ка: в этом году надо бы выгнать тысяч восемь чистых, из них полторы отложить — нет, не удастся, если строить гараж и... погоди: шестьсот сорок монет очистилось в прошлый месяц, значит, за год выйдет... сколько же это будет... двенадцать раз по шестьсот сорок, значит, шесть на двенадцать — семь тысяч двести, а... впрочем, черт с ним, восемь тысяч я как-нибудь заработаю... ого, не так плохо, не всякий зарабатывает по восемь тысяч в год, восемь тысяч честных, крепких, полновесных долларов, — честное слово, во всех Штатах едва ли наберется пять человек из ста, которые зарабатывают больше дяди Джорджа! Высоко забрался! Конечно, расходов не оберешься — семейка у меня такая, бензин тратят почем зря, одеваются как миллионеры, — да матери надо посылать восемьдесят в месяц... А тут еще эти стенографистки, коммивояжеры готовы последний цент из меня высосать».

В результате столь научного планирования бюджета Бэббит почувствовал себя и колоссально богатым, и безнадежно нищим, и вдруг, посреди всех этих размышлений, он остановил машину, забежал в небольшой магазин новинок и купил ту самую электрическую зажигалку, о которой мечтал всю неделю. Чтобы заглушить совесть, он разговаривал громко и оживленно и даже крикнул приказчику:

— Экономю на спичках нагоню, вот и окупится, верно?

Зажигалка была очень красивая — никелированный цилиндр в оправе под серебро, прикреплявшийся к распределительной доске автомашины. Это была не только «изящная вещица, последний штрих, придающий стиль машине настоящего джентльмена», как гласила реклама, висевшая над прилавком, нет — зажигалка давала бесценную экономию времени. Не надо было останавливать машину, чтобы прикурить от спички, так что за месяц или два набегало экономии не меньше десяти минут!

Бэббит вел машину и любовался зажигалкой.

— Славная штучка. Давно мечтал, — сказал он задумчиво. — Для курильщика — просто клад!

И тут он вспомнил, что бросает курить.

«А, черт! — огорчился он. — Ну ничего, неужели иногда нельзя выкурить сигарку? А потом — другим-то как удобно! Куда легче будет по-дружески разговаривать в машине с каким-нибудь покупателем. Нет, серьезно, она тут как раз на месте! Классная вещица, честное слово! Действительно, последний штрих, сразу видно — человек

со вкусом! Что ж, неужели я и этого не могу себе позволить? Неужели я один из всей семьи должен себе отказывать в удовольствии? Нет уж, извините!»

И, владея этим бесценным кладом, испытал столько романтических приключений на протяжении каких-нибудь трех кварталов, он подъехал к своему клубу.

В Спортивном клубе города Зенита нет ничего спортивного и почти ничего клубного, но зато — он высшее воплощение самого Зенита. Правда, там есть всегда переполненная и прокуренная бильярдная, существуют при клубе и команды — бейсбольная и футбольная, а в бассейне и гимнастическом зале один из десяти членов клуба иногда пытается похудеть. Но большинство его членов — а их насчитывается три тысячи — используют клуб как кафе, где можно завтракать, играть в карты, рассказывать анекдоты, встречаться с клиентами и угощать обедом приезжих дядюшек. Это самый большой клуб в городе, и там питают самую неудержимую ненависть к консервативному клубу Юнион, о котором всякий порядочный член Спортивного непременно скажет: «Затхлая, скучная дыра, дерут втридорога, полно снобов, ни одного настоящего, компанейского парня — меня туда ни за какие деньги не заманишь!» Однако статистика говорит, что ни один из членов Спортивного клуба еще не отказался от приглашения вступить в клуб Юнион, а шестьдесят три из ста тотчас же выходили из Спортивного и не раз потом говаривали в сонной тишине святилища клуба Юнион — его гостиной: «Нет, Спортивный, в общем, не плохой ресторанчик, будь там отбор посетителей поостроже».

Спортивный клуб помещался в девятиэтажном здании из желтого камня с зимним садом наверху и огромными колоннами у подъезда. Холл, с пилястрами из пористого кайенского камня, сводчатым потолком и выложенным глазированными плитками полом цвета хорошо подрумяненной хлебной корочки, походил не то на соборную усыпальницу, не то на винный погребок. Члены клуба влетают в холл, как обычно вбегают в магазин за покупками, когда очень некогда. Так влетел и Бэббит, и сразу заорал компании, стоявшей у табачного прилавка:

— Здорово, друзья, как дела? Чудная погода, верно?

Они весело заорали в ответ — и Верджил Гэнч — торговец углем, и Сидни Финкельштейн — коммивояжер фирмы дамского готового платья Паркер и Штейн, и профессор Джозеф К.Памфри — ди-

ректор коммерческого колледжа «Верный путь», преподававший там ораторское искусство, деловую корреспонденцию, сценарное мастерство и коммерческую юриспруденцию. И хотя Бэббит восхищался этим ученым мужем и отдавал должное Сидни Финкельштейну — «он, знаете, отличный делец и передовой человек», — но душа у него лежала к Верджилю Гэнчу. Мистер Гэнч был председателем клуба Толкачей, где еженедельно собирались к завтраку члены местного филиала этой общенациональной организации, чьим девизом была поддержка деловых начинаний и укрепление связей между Порядочными Людьми. Кроме того, Гэнч занимал почетное место Первого Рыцаря в Благотельном и Покровительственном ордене Лосей, и ходили толки, что на следующих выборах его кандидатура будет выставлена на пост Великого Магистра Ордена. Он был весельчак, любил произносить речи и покровительствовать искусству. Когда в город приезжали знаменитые актеры или опереточные певцы, он вечно торчал за кулисами, угощал актеров сигарами, называл по именам, а иногда приводил их на завтраки Толкачей, чтобы «поразвлечь компанию на даровщинку». Громадный, с торчащими кверху волосами, он всегда знал самые свежие анекдоты и ловко играл в покер. Именно после вчерашнего вечера у него в гостях Бэббита весь день разъедало беспокойство.

— Как дела, старый смутьян? Как чувствуешь себя после вчерашнего? — крикнул Гэнч.

— Ох, и не говори! Голова трещит! Ну и задал ты нам угощение, Вердж! Не забыл, как я тебя обставил напоследок? — заорал в ответ Бэббит, хотя Гэнч стоял в трех шагах от него.

— Ладно, ладно! погоди, я тебе еще всыплю, Джорджи! Слушай, а ты прочел в газетах, как нью-йоркский муниципалитет разделался с красными?

— Еще бы! Здорово, а? А погода сегодня какая!

— Да, совсем весна, только ночи холодные!

— И впрямь холодные! Спал нынче под двумя одеялами. Слушайте, Сид, — Бэббит обернулся к коммивояжеру Финкельштейну, — хочу с вами посоветоваться. Купил сейчас электрическую зажигалку для машины, так вот...

— Правильно сделали! — сказал Сид, и даже ученый профессор Памфри, круглый человечек в сером с искрой костюме, с визгливым, как шарманка, голосом, подтвердил:

— Изящная вещичка! Придает стиль машине.

— Да, решил наконец купить. Последнего выпуска, так приказчик уверяет. Выложил пять долларов. Вот и думаю — не переплатил ли? Сколько они стоят в универмаге, а, Сид?

Финкельштейн подтвердил, что пять долларов вовсе не дорого, особенно за такую первоклассную зажигалку, всю никелированную, с проводкой лучшего качества.

— Мое мнение такое, — сказал Сид, — и верьте, я это знаю по своему долготлетнему коммерческому опыту, — чем лучше вещь, тем она в конце концов обходится дешевле. Конечно, — добавил Финкельштейн, — какой-нибудь жид хватается за всякую дешевку, но в конце-то концов дешевле всего обходятся первоклассные вещи! Вот я скажу о себе: на днях я сменил на своей старой калоше кузов и всю обивку и заплатил сто двадцать шесть долларов пятьдесят центов, ну и, конечно, найдутся такие, которые скажут — дорого! Ой, если б мои папа с мамой узнали — они до сих пор живут в захолустном местечке и не могут понять городского человека, знаете, такие старозаветные евреи, — так они бы, наверно, окоchureились, если б им сказали, что их Сид сразу выложил сто двадцать шесть монет. Но я считаю, что я не переплатил, Джордж, ничуть! Машина как новенькая, конечно, она и так не старая, езжу на ней всего третий год, но уж езжу всюю! По воскресеньям меньше ста миль не делаю, ну да, о чем я? Нет, вас не надули, Джордж. В конце-то концов первоклассные вещи всегда обходятся дешевле.

— Правильно! — подтвердил Верджил Гэнч. — И я так считаю. Живет человек, как говорится, деятельной жизнью, как у нас в Зените, — особенно если вращается в такой среде, как наши Толкачи и здешние одноклубники, — не мудрено, что он может замотаться от всей этой суеты и умственного напряжения; значит, ему надо поберечь нервы и пользоваться только первоклассными вещами.

Бэббит кивал в такт каждому его слову под гул голосов и весь расплылся от восхищения, когда Гэнч по привычке под конец сострил:

— Вот только не знаю, можешь ли ты себе позволить такой расход, Джорджи! Я слышал, что власти на тебя что-то косятся, с тех пор как ты отхватил кусок Иторнского парка и распродал его по участкам.

— Ну и шутник ты, Вердж! Ты меня не дразни, не то я тебе тоже припомню, как ты украл черное мраморное крыльцо почтамта и продал по кускам вместо угля! — Бэббит в восторге хлопал Гэнча по плечу и трепал по спине.

— Это еще куда ни шло, а вот хотел бы я знать, какая акула скупилась у меня этот «уголек» для своих доходных домов?

— Ага. Джордж, крыть нечем! — сказал Финкельштейн. — А я, знаете, что слышал, друзья: заходит супружница Джорджа в отдел мужского белья, у Парчера, купить мужу воротнички, и не успела сказать номер, а приказчик уже подает ей тринадцатый. «Откуда вы знаете, что он носит тринадцатый номер?» — спрашивает миссис Бэббит, а тот ей говорит: «Если мужчина посылает жену покупать ему воротнички, мадам, значит, он наверняка носит тринадцатый номер!» Здорово, а? Неплохо сказано! Что, съели, Джордж?

— А я... — Бэббит пытался придумать такую же безобидную колкость, но вдруг замолчал и уставился на двери. В клуб входил Поль Рислинг. Бэббит крикнул: «До скорого, друзья!» — и заторопился навстречу Полю. Теперь Бэббит был уже не капризный ребенок, как утром во сне, не домашний тиран в столовой, не матерый делец на совещании с Лайтом и Парди, не крикливый Славный Парень, шутник и душа человек из Спортивного клуба. Он сразу стал старшим братом Поля Рислинга, готовым защищать его и восторгаться им с гордой, доверчивой влюбленностью, которая была сильнее всякой другой любви. Они с Полем торжественно пожали друг другу руки; они улыбнулись с таким смущением, будто не виделись три года, а не три дня. Но говорили они так:

— Ну, как, старый ворюга?

— Ничего как будто. А ты, дохлая курица?

— Сам старый ошметок! У меня-то все отлично!

Убедившись таким образом во взаимной привязанности, Бэббит буркнул: «Хорош тип, нечего сказать! Опоздал на целых десять минут!» — на что Рислинг фыркнул: «Твое счастье, что ты вообще удостоился позавтракать с порядочным человеком!» Оба засмеялись и пошли в умывальную, похожую на термы Нерона, где над тяжелыми мраморными умывальниками склонялись ряды мужчин, словно преклоняясь перед собственными отражениями в массивных зеркалах. Густые, самодовольные, внушительные голоса отдавались от мраморных стен, гудели под потолком, выложенным молочными с палевой каемкой плитками: это хозяева города — короли страховых обществ, юриспруденции, минеральных удобрений и автомобильных шин — устанавливали законы для Зенита, возвещая, что погода сегодня теплая, да, прямо весенняя, что заработки рабочих слишком высоки, а

проценты по закладным слишком низки, что Бэйб Рут, знаменитый бейсболист, — благороднейший человек и что «эти черти в театре „Водевиль“ действительно актеры что надо!». И хотя обычно Бэббит гремел уверенней и внушительней всех, сейчас он молчал. В присутствии темноволосого, сдержанного Поля Рислинга он чувствовал себя неловко, и ему хотелось быть спокойным, ровным, тактичным.

Холл Спортивного клуба был построен в готическом стиле, умывальная — в стиле ампир, гостиная — в испанском, а читальня представляла смесь китайщины и чиппендейла. Но жемчужиной клуба была столовая — шедевр самого популярного архитектора Зенита, Фердинанда Рейтмана, — высокая, до половины обшитая дубом, со стрельчатыми окнами в стиле Тюдоров, стеклянным фонарем, безмнестрельной галереей менестрелей и гобеленами, на которых якобы изображалось пожалование Хартии Вольностей. Открытые потолочные балки были отделаны ручным способом в автомобильных мастерских Джека Оффата, задвижки и петли были фигурного чугуна, панели прикреплены деревянными, обточенными вручную болтами. В конце комнаты красовался каменный готически-геральдический камин, очень глубокий, про который в брошюре, рекламирующей клубы, было сказано, что он не только больше всех каминов во всех старинных замках Европы, но и тяга в нем несравненно более усовершенствованная. Кроме того, камин был и гораздо чище других, так как его никогда не топили.

Почти все столы были чудовищных размеров, и за ними легко помещалось человек двадцать или тридцать. Обычно Бэббит садился поближе к дверям, вместе с Гэнчем, Финкельштейном, профессором Памфри, своим соседом — Говардом Литтлфилдом, поэтом и агентом по рекламе — Т.Чамондли Фринком и Орвилем Джонсом, чья прачечная по всем статьям занимала первое место в Зените. Эта компания была чем-то вроде клуба внутри клуба, и ее члены игриво окрестили себя «дебоширами». И сегодня, когда Бэббит проходил мимо стола, «дебоширы» орали ему вслед: «Давай сюда! Садись с нами! Что-то вы с Полем носы задрали! Брезгуете нами, бедняками! Боишься, Джорджи, — вдруг нагреют на бутылку минеральной! Задаются, братцы, нехорошо. Избегаете нас, что ли?»

— Еще бы! — загремел в ответ Бэббит. — Нам наша репутация дорога — еще увидят, что сидим с вами, скупердяями! — И он решительно направился с Полем к одному из маленьких столиков под гале-

реей менестрелей. Он чувствовал себя виноватым. В зенитском Спортивном клубе уединяться от компании считалось весьма дурным тоном. Но ему хотелось побыть с Полем наедине.

Сегодня утром он ратовал за легкие завтраки и потому заказал себе только баранью котлетку по-английски, редиску, горошек, яблочный пирожок, сыр и кофе со сливками и, помявшись, добавил, как всегда: «М-mmm... пожалуй... дайте-ка мне еще порцию жареного картофеля!» Когда подали котлету, он основательно посолил и поперчил ее — он всегда, не пробуя, клал в мясо много соли и перцу.

Поговорили о том, что весна уже похожа на весну, о преимуществах электрических зажималок, о действиях нью-йоркского муниципалитета. И только когда Бэббит, до отвала наевшись жирной баранины, погрустнел, он стал изливать душу:

— Обтяпал сегодня неплохое дельце с Конрадом Лайтом, положил в карман пятьсот кругленьких — казалось бы, все хорошо, все отлично. Да вот — сам не знаю, что со мной творится! То ли весенняя лихорадка, то ли поздно засиделся вчера у Верджила Гэнча, а может, просто измотался за зиму, не знаю, но только весь день меня тоска грызет. Конечно, «дебоширам» за тем столом я не стал бы жаловаться, но тебе... С тобой так бывало, Поль? Что-то на меня находит, делаю я все, что требуется: содержу семью, имею хороший дом, машину с шестью цилиндрами, неплохо поставил дело, никаким излишествам не предаюсь, разве что люблю покурить, да и то, кстати говоря, я уже почти бросил. И в церковь хожу, и в гольф играю, чтобы не толстеть, и дружу только с честными, порядочными людьми. И все-таки — никакого удовлетворения!

Он говорил медленно: то его перебивали выкрики с соседних столов, то он машинально заигрывал с официанткой или тяжело отдувался после кофе, от которого у него шумело в голове и подпирало под ложечкой. Слова его звучали виновато и неуверенно, но высокий голос Поля сразу рассеял эту муть:

— Черт побери, Джордж, неужели ты думаешь, будто я не знаю, как мы всю жизнь мотаемся, думаем, что достигли бог знает чего, а на самом деле все это зря... У тебя такой вид, будто я сейчас донесу, какой ты крамольник! Сам знаешь, что у меня за жизнь!

— Знаю, старик, знаю!

— Мечтал стать скрипачом, а торгую толем! А Зилла... нет, я не жалуюсь, ты не хуже меня знаешь, какая у меня возвышенная супру-

га... К примеру: пошли мы вчера вечером в кино. У кассы — огромная очередь, стоим в хвосте. И вот она начинает проталкиваться вперед с таким видом: «Сэр, как вы смеете!..» Честное слово, иногда смотрю на нее — намазанная, покрашенная, духами от нее несет, и вечно скандалит, вечно визжит: «Не смейте! Я дама, черт вас дерит!» Ей-богу, я готов ее убить. Прет напролом, а я за ней, весь горю от стыда, и мы почти добираемся до входа — вот-вот впустят. А впереди нас стоит скромный такой человечек, видно, ждет уже с полчаса, я им просто залюбовался: повернулся он к Зилле и вежливо так говорит: «Сударыня, почему вы меня отталкиваете?» А она как заорет на него — мне просто стыдно стало: «Вы не джентльмен! — и тут же меня впутала: — Поль! — кричит, — этот тип оскорбляет меня!» Этот несчастный, наверно, решил — сейчас я его побью!

А я притворился, что ничего не слышу, — да не тут-то было: орет, как паровозный гудок! Я уставился вверх — могу тебе точно описать каждую плитку на потолке, там была одна, в коричневых пятнах, прямо какая-то дьявольская физиономия, — а люди набились, как сельди в бочке, и кругом отпускают по нашему адресу всякие словечки, а Зилла никак не уймется, вопит про этого человека, что «таких, как он, и впускать нельзя туда, где бывают порядочные леди и джентльмены», и пристает ко мне: «Поль, будь добр, сию же минуту вызови администратора, я должна пожаловаться на эту грязную крысу!» Уф, до чего я был рад войти в зал и спрятаться в темноте!

Неужели ты думаешь, что после двадцати четырех лет такой жизни я с пеной у рта накинусь на тебя за один твой намек, что наша прекрасная, чистая, уважаемая, высоко нравственная жизнь совсем не то, что кажется! Ни с кем, кроме тебя, я говорить об этом не желаю, пусть не думают, что я тряпка. А может, так оно и есть. Плевать... Да, нажаловался я тебе, Джордж, досталось тебе нынче... Ну, это в первый и последний раз.

— Ерунда, Поль, никогда ты не жалуешься. Бывает со всеми — вот я вечно хвастаю перед Майрой, что я великий делец, а сам втихомолку думаю — уж не такой я Пирпонт Морган, как воображаю. Но если я немножко помогаю тебе развеселиться, Полибус, так, может, святой Петр хоть за это впустит меня в рай!

— Ты молодец, Джорджи, старый ты греховодник! Но когда я тебя вижу, у меня и вправду настроение подымается.

— Почему не разведешься с Зиллой?

— Почему? Если бы я только смог! Если б она согласилась! Нет, ее силком не заставишь развестись со мной или бросить меня. Слишком она любит свои три кусочка шоколаду с орехами да еще три фунта конфет в придачу. Если бы она хоть, что называется, изменила мне! Джордж, я не подлец, честное слово. Когда я был студентом, я бы сказал, что за такие слова человека расстрелять не жалко! Но клянусь честью, я был бы на седьмом небе, если б она по-настоящему с кем-нибудь спуталась! Как же, держи карман шире! Конечно, она флиртует с кем попало, знаешь ее манеру хохотать, когда ей жмут ручку, — ох, этот смех, отвратительный, визгливый! — и пищать: «Ах вы, шалун, не смейте, у меня муж — силач, он вам задаст!» А этот тип презрительно косится на меня и думает: «Катись-ка ты, цыпленок, подалее, не то я тебе покажу!» А она ему позволяет бог знает что, лишь бы нервы себе пощекотать, а потом вдруг начинает разыгрывать оскорбленную невинность, ей, видите ли, приятно стонать: «Ах, я никогда не думала, что вы такой!» Вот в книжках пишут про всяких *demi-vierges*... [4 - полудев (франц.)]

— Чего, чего?

— ...а оказывается, эти прожженные, опытные, затянутые в корсет замужние женщины, вроде Зиллы, в тысячу раз хуже какой-нибудь стриженной девчонки, которая очертя голову бросается в так называемые житейские бури, а сама прячет зонтик под мышкой! В общем, к черту, ты сам знаешь, что такое Зилла. Знаешь, как она меня пилит, пилит, пилит без конца, как вечно требует, чтоб я ей покупал все, что можно и чего нельзя, знаешь ее полнейшую безответственность, а когда я пытаюсь ей что-нибудь втолковать, она начинает разыгрывать такую королеву, что даже меня сбивает с толку, и я одно долблю без конца: «зачем ты так говоришь?» и «я не то хотел сказать». И еще, Джорджи: ты знаешь, я непривередлив, во всяком случае, в еде. Конечно, ты всегда меня попрекаешь, что я люблю дорогие сигары, а не эти «Флер-де-Капустос», которые ты куришь...

— Ладно, ладно! Вполне приличные сигарки. Кстати, я тебе говорил, что бросаю ку...

— Да, да, говорил... Понимаешь, если меня плохо кормят, я готов терпеть. Могу съесть и пережаренный бифштекс, и консервированный компот с покупным пирогом — дивный десерт, правда? Но чего я не могу — это сочувствовать Зилле, что из-за ее паршивого характера у нас ни одна кухарка не живет, а самой ей готовить некогда:

еще бы, все утро занята, валяется в грязном кружевном капоте и запомним читает про красавцев с Дикого Запада. Вот ты всегда говоришь насчет нравственности и, очевидно, подразумеваешь единобрачие. Для меня ты всегда был непоколебимой скалой, но на самом деле ты простак. Ты любишь...

— Эй, эй, милый, что это еще за «простак»? Ты поосторожней! Я тебе вот что скажу...

— ...любишь делать серьезное лицо и объявлять во всеуслышание, что «долг всякого порядочного гражданина — быть строго нравственным и подавать тем самым пример всему обществу». Ей-богу, ты так серьезно защищаешь нравственные устои, Джорджи, старина, что мне даже неприятно думать, до чего ты, наверно, сам в душе безнравственный человек. Ну что ж, проповедуй...

— Погоди, погоди! Как это ты...

— ...проповедуй всякие добродетели, милый друг, но поверь мне, если бы не твоя дружба и не вечера, когда я могу поиграть на скрипке с Террилом О'Фаррелом, под его виолончель, и если бы не те славные девчушки, которые помогают мне забыть это гнусное издевательство, называемое «респектабельной жизнью», я бы давно повесился!

А мои дела! Торговать толем! Крыть коровники! Нет, я не говорю, что мне совсем не доставляет удовольствия вести игру, обставлять, скажем, профсоюзы, получать большие деньги, расширять дело. Но что пользы? Ты понимаешь, что мое дело, в сущности, не торговать. И у тебя то же самое. Основное наше занятие — перервать глотку сопернику и заставить покупателей платить за это!

— Перестань, Поль! Ей-богу, эти разговоры пахивают социализмом!

— Нет, конечно, я не то хочу сказать... Ясно: здоровая конкуренция, побеждает лучший, естественный отбор — и все-таки... Все-таки знаешь что: возьми всех наших знакомых, хотя бы тех, кто сейчас тут, в клубе, все они с виду вполне довольны своей семейной жизнью и своим делом, до небес превозносят Zenit и Торговую палату и проповедуют рост населения до миллиона! Но я готов душу прозакладывать, что, если б можно было прочесть их мысли, стало бы видно, что треть из них вполне довольна и женами, и детьми, и конторами, и приятелями, другая треть — чем-то недовольна, но даже себе не признается, а остальные просто-напросто несчастные люди и знают это

сами. Они ненавидят все это рвачество, суету, гонку, им надоели жены, детей они считают болванами — во всяком случае, к сорока — сорока пяти годам им все надоедает, они ненавидят свое дело и с удовольствием бросили бы все. Ты думал когда-нибудь, откуда столько «таинственных» самоубийств? Думал, почему Солидные Граждане удирали на войну? По-твоему, из одного патриотизма, что ли?

Бэббит презрительно хмыкнул:

— А ты чего ждал? Что ж, по-твоему, нам жизнь дана, чтоб развлекаться и, как это говорится, «на ложе лени возлежать»? По-твоему, человек создан только для счастья?

— А разве нет? Впрочем, мне еще не попадался мудрец, который бы знал, на кой черт создан человек.

— По-моему, это общеизвестно — и не только из Библии, просто здравый смысл подсказывает: кто не трудится, не выполняет свой долг, даже если его иногда и берет тоска, тот просто слюняй! Баба он, вот что! А ты, в сущности, из-за чего копыя ломаешь? Говори прямо! Неужели ты серьезно считаешь, что, если человеку надоела жена, он имеет право ее бросить и удрать или удузиться?

— О господи, да почему я знаю, на что человек «имеет право»? Почему я знаю, как избавиться от тоски? Если б я знал, я был бы единственным философом, способным врачевать человеческие души. Знаю только, что из десяти человек лишь один откровенно признается, что жизнь — скука, и к тому же бессмысленная. И еще знаю, что, если бы мы не сдерживались и хоть изредка откровенно об этом говорили, вместо того чтобы быть тихими, терпеливыми и верными до шестидесяти лет, а потом быть тихими, терпеливыми и мертвыми до скончания века, жизнь, может быть, стала бы веселее.

И они пошли философствовать. Бэббит неуклюже спорил. Рислинг был полон дерзаний, хотя и сам не представлял себе, по какому это поводу он «дерзает». Иногда Бэббит неожиданно соглашался с Полем, противореча всем своим доводам в защиту долга и христианского долготерпения, и каждый раз при этом испытывал непонятную безудержную радость. В конце концов он сказал:

— Слушай, Поль, старина, вот ты вечно разглагольствуешь, что все надо снести к черту, а сам ничего не делаешь. А почему?

— Никто ничего не делает. Слишком в нас это въелось, вошло в привычку. Впрочем, знаешь, Джорджи, хочется мне выкинуть одну штуку, — да не пугайся ты, защитник брачных устоев! Все в высшей

степени благоприлично! Кажется, уже решено — хотя Зилла и точит меня, чтобы разориться на отдых в Нью-Йорке и Атлантик-Сити, ей, видите ли, нужны «огни столицы», запрещенные коктейли и всякие фертики для танцев, — кажется, мы решили, что Бэббиты с Рислинг-ами поедут на озеро Санасквем, правильно? Почему бы нам с тобой под каким-нибудь предлогом — скажем, дела в Нью-Йорке — не поехать вперед, побыть в Мэне дней пять-шесть без семьи, одним, ни черта не делать, курить, ругаться сколько влезет — словом, отдохнуть как следует!

— Вот это здорово! Замечательная мысль! — Бэббит был в восторге.

Ни разу за последние четырнадцать лет он не отдыхал без жены, да Поль и сам не верил, что они решатся на такую выходку. Многие члены Спортивного клуба ездили отдыхать без жен, но те официально занимались охотой и рыбной ловлей, тогда как Бэббит и Поль Рислинг неизменно и свято блюли верность гольфу, езде на автомобилях и бриджу. А если бы игроки в гольф или рыболовы изменили своим привычкам, они нарушили бы свои собственные традиции и привели в ужас всех здравомыслящих и добропорядочных граждан.

Бэббит заволновался:

— Давай решительно скажем: мы едем раньше, и никаких разговоров! Ничего преступного тут нет. Скажи Зилле напрямик...

— Да разве Зилле что-нибудь скажешь напрямик? Нет, Джорджи, она любит читать мораль ничуть не меньше, чем ты, и скажи я ей чистейшую правду, она все равно решит, что мы с тобой едем в Нью-Йорк кутить с женщинами. И даже твоя Майра — хоть она и не пилит тебя, как Зилла, но и она расстроится. Обязательно скажет: «Неужели тебе неприятно ехать со мной? Конечно, я и не подумаю навязываться, если ты не хочешь!» — и тут ты сразу сдашься, лишь бы ее не обидеть. А ну их всех к черту! Давай-ка сыграем в настольные кегли!

Пока они играли в эту безобидную игру — разновидность настоящих кеглей, Поль все время молчал. Они вышли из клуба — Бэббит опаздывал всего на полчаса против того срока, который он так сурово назначил мисс Мак-Гаун, и Поль со вздохом сказал:

— Слушай, старик, напрасно я так говорил про Зиллу...

— Глупости, старик, надо же облегчить душу!

— Знаю, знаю. Я тут целый час издевался перед тобой над всякими условностями, а я и сам такой: теперь мне неловко, что я выложил тебе все мои дурацкие неприятности, чтоб не подохнуть с тоски.

— Поль, дружище, у тебя нервы ни к черту. Я тебя увезу. Все устрою. Скажу, что у меня важное дело в Нью-Йорке, а ты... ну конечно, мне нужен твой совет насчет кровли в одном новом доме! Дело, разумеется, лопнет, и нам с тобой ничего другого не останется, как только уехать в Мэн. А я — честно говоря, Поль, мне все равно, взбунтуешься ты или нет. Конечно, мне приятно, что у меня репутация порядочного человека, но если я тебе понадобится, я все брошу и встану за тебя горой. Я не говорю, что ты... я не хочу сказать, что ты способен выкинуть такую штуку, которая все устои перевернет вверх тормашками, но... в общем, ты меня понимаешь? Человек я медлительный, неповоротливый, мне не обойтись без твоей горячей южной души. Мы с тобой... о черт! Да что это я разболтался! Работать пора! Ну, всего доброго! Не давай себя водить за нос, Полибус! Всего лучшего!

Перевод Р. Райт-Ковалевой

Публикуется по: Льюис С. Бэббит. М., 1973.

Glory in the daytime

Dorothy Parker

Mr. Murdock was one who carried no enthusiasm whatever for plays and their players, and that was too bad, for they meant so much to little Mrs. Murdock. Always she had been in a state of devout excitement over the luminous, free, passionate elect who serve the theater. And always she had done her wistful worshiping, along with the multitudes, at the great public altars. It is true that once, when she was a particularly little girl, love had impelled her to write Miss Maude Adams a letter beginning "Dearest Peter," and she had received from Miss Adams a miniature thimble inscribed "A kiss from Peter Pan." (That was a day!) And once, when her mother had taken her holiday shopping, a limousine door was held open and there had passed her, as close as that, a wonder of sable and violets and round red curls that seemed to tinkle on the air; so, forever after, she was as good as certain that she had been not a foot away from Miss Billie Burke. But until some three years after her marriage, these had remained her only personal experiences with the people of the lights and the glory.

Then it turned out that Miss Noyes, new come to little Mrs. Murdock's own bridge club, knew an actress. She actually knew an actress; the way you and I know collectors of recipes and members of garden clubs and amateurs of needlepoint.

The name of the actress was Lily Wynton, and it was famous. She was tall and slow and silvery; often she appeared in the role of a duchess, or of a Lady Pam or an Honorable Moira. Critics recurrently referred to her as "that great lady of our stage." Mrs. Murdock had attended, over years, matinee performances of the Wynton successes. And she had no more thought that she would one day have opportunity to meet Lily Wynton face to face than she had thought—well, than she had thought of flying!

Yet it was not astounding that Miss Noyes should walk at ease among the glamorous. Miss Noyes was full of depths and mystery, and she could talk with a cigarette still between her lips. She was always doing something difficult, like designing her own pajamas, or reading Proust, or modeling torsos in plasticine. She played excellent bridge. She liked little Mrs. Murdock. "Tiny one," she called her.

“How’s for coming to tea tomorrow, tiny one? Lily Wynton’s going to drop up,” she said, at a therefore memorable meeting of the bridge club. “You might like to meet her.”

The words fell so easily that she could not have realized their weight. Lily Wynton was coming to tea. Mrs. Murdock might like to meet her. Little Mrs. Murdock walked home through the early dark, and stars sang in the sky above her.

Mr. Murdock was already at home when she arrived. It required but a glance to tell that for him there had been no singing stars that evening in the heavens. He sat with his newspaper opened at the financial page, and bitterness had its way with his soul. It was not the time to cry happily to him of the impending hospitalities of Miss Noyes; not the time, that is, if one anticipated exclamatory sympathy. Mr. Murdock did not like Miss Noyes. When pressed for a reason, he replied that he just plain didn’t like her. Occasionally he added, with a sweep that might have commanded a certain admiration, that all those women made him sick. Usually, when she told him of the temperate activities of the bridge club meetings, Mrs. Murdock kept any mention of Miss Noyes’s name from the accounts. She had found that this omission made for a more agreeable evening. But now she was caught in such a sparkling swirl of excitement that she had scarcely kissed him before she was off on her story.

“Oh, Jim,” she cried. “Oh, what do you think! Hallie Noyes asked me to tea tomorrow to meet Lily Wynton!”

“Who’s Lily Wynton?” he said.

“Ah, Jim,” she said. “Ah, really, Jim. Who’s Lily Wynton! Who’s Greta Garbo, I suppose!”

“She some actress or something?” he said.

Mrs. Murdock’s shoulders sagged. “Yes, Jim,” she said. “Yes. Lily Wynton’s an actress.”

She picked up her purse and started slowly toward the door. But before she had taken three steps, she was again caught up in her sparkling swirl. She turned to him, and her eyes were shining.

“Honestly,” she said, “it was the funniest thing you ever heard in your life. We’d just finished the last rubber—oh, I forgot to tell you, I won three dollars, isn’t that pretty good for me?—and Hallie Noyes said to me, ‘Come on in to tea tomorrow. Lily Wynton’s going to drop up,’ she said. Just like that, she said it. Just as if it was anybody.”

“Drop up?” he said. “How can you drop up?”

“Honestly, I don’t know what I said when she asked me,” Mrs. Murdock said. “I suppose I said I’d love to—I guess I must have. But I was so simply—Well, you know how I’ve always felt about Lily Wynton. Why, when I was a little girl, I used to collect her pictures. And I’ve seen her in, oh, everything she’s ever been in, I should think, and I’ve read every word about her, and interviews and all. Really and truly, when I think of meeting her—Oh, I’ll simply die. What on earth shall I say to her?”

“You might ask her how she’d like to try dropping down, for a change,” Mr. Murdock said.

“All right, Jim,” Mrs. Murdock said. “If that’s the way you want to be.”

Wearily she went toward the door, and this time she reached it before she turned to him. There were no lights in her eyes.

“It—it isn’t so awfully nice,” she said, “to spoil somebody’s pleasure in something. I was so thrilled about this. You don’t see what it is to me, to meet Lily Wynton. To meet somebody like that, and see what they’re like, and hear what they say, and maybe get to know them. People like that mean—well, they mean something different to me. They’re not like this. They’re not like me. Who do I ever see? What do I ever hear? All my whole life, I’ve wanted to know—I’ve almost prayed that someday I could meet—Well. All right, Jim.”

She went out, and on to her bedroom.

Mr. Murdock was left with only his newspaper and his bitterness for company. But he spoke aloud.

“‘Drop up!’” he said. “‘Drop up,’ for God’s sake!”

The Murdocks dined, not in silence, but in pronounced quiet. There was something straitened about Mr. Murdock’s stillness; but little Mrs. Murdock’s was the sweet, far quiet of one given over to dreams. She had forgotten her weary words to her husband, she had passed through her excitement and her disappointment. Luxuriously she floated on innocent visions of days after the morrow. She heard her own voice in future conversations. . . .

I saw Lily Wynton at Hallie’s the other day, and she was telling me all about her new play—no, I’m, terribly sorry, but it’s a secret, I promised her I wouldn’t tell anyone the name of it . . . Lily Wynton dropped up to tea yesterday, and we just got to talking, and she told me the most interesting things about her life; she said she’d never dreamed of telling them to anyone else. . . . Why, I’d love to come, but I promised to have lunch with Lily

Wynton. . . . I had a long, long letter from Lily Wynton. . . . Lily Wynton called me up this morning. . . . Whenever I feel blue, I just go and have a talk with Lily Wynton, and then I'm all right again. . . . Lily Wynton told me . . . Lily Wynton and I . . . "Lily," I said to her . . .

The next morning, Mr. Murdock had left for his office before Mrs. Murdock rose. This had happened several times before, but not often. Mrs. Murdock felt a little queer about it. Then she told herself that it was probably just as well. Then she forgot all about it, and gave her mind to the selection of a costume suitable to the afternoon's event. Deeply she felt that her small wardrobe included no dress adequate to the occasion; for, of course, such an occasion had never before arisen. She finally decided upon a frock of dark blue serge with fluted white muslin about the neck and wrists. It was her style, that was the most she could say for it. And that was all she could say for herself. Blue serge and little white ruffles—that was she.

The very becomingness of the dress lowered her spirits. A nobody's frock, worn by a nobody. She blushed and went hot when she recalled the dreams she had woven the night before, the mad visions of intimacy, of equality with Lily Wynton. Timidity turned her heart liquid, and she thought of telephoning Miss Noyes and saying she had a bad cold and could not come. She steadied, when she planned a course of conduct to pursue at teatime. She would not try to say anything; if she stayed silent, she could not sound foolish. She would listen and watch and worship and then come home, stronger, braver, better for an hour she would remember proudly all her life.

Miss Noyes's living-room was done in the early modern period. There were a great many oblique lines and acute angles, zigzags of aluminum and horizontal stretches of mirror. The color scheme was sawdust and steel. No seat was more than twelve inches above the floor, no table was made of wood. It was, as has been said of larger places, all right for a visit.

Little Mrs. Murdock was the first arrival. She was glad of that; no, maybe it would have been better to have come after Lily Wynton; no, maybe this was right. The maid motioned her toward the living-room, and Miss Noyes greeted her in the cool voice and the warm words that were her special combination. She wore black velvet trousers, a red cummerbund, and a white silk shirt, opened at the throat. A cigarette clung to her lower lip, and her eyes, as was her habit, were held narrow against its near smoke.

“Come in, come in, tiny one,” she said. “Bless its little heart. Take off its little coat. Good Lord, you look easily eleven years old in that dress. Sit ye doon, here beside of me. There’ll be a spot of tea in a jiff.”

Mrs. Murdock sat down on the vast, perilously low divan, and, because she was never good at reclining among cushions, held her back straight. There was room for six like her, between herself and her hostess. Miss Noyes lay back with one ankle flung upon the other knee, and looked at her.

“I’m a wreck,” Miss Noyes announced. “I was modeling like a mad thing, all night long. It’s taken everything out of me. I was like a thing bewitched.”

“Oh, what were you making?” cried Mrs. Murdock.

“Oh, Eve,” Miss Noyes said. “I always do Eve. What else is there to do? You must come pose for me some time, tiny one. You’d be nice to do. Ye-es, you’d be very nice to do. My tiny one.”

“Why, I—” Mrs. Murdock said, and stopped. “Thank you very much, though,” she said.

“I wonder where Lily is,” Miss Noyes said. “She said she’d be here early—well, she always says that. You’ll adore her, tiny one. She’s really rare. She’s a real person. And she’s been through perfect hell. God, what a time she’s had!”

“Ah, what’s been the matter?” said Mrs. Murdock.

“Men,” Miss Noyes said. “Men. She never had a man that wasn’t a louse.” Gloomily she stared at the toe of her flat-heeled patent leather pump. “A pack of lice, always. All of them. Leave her for the first little floozie that comes along.”

“But—” Mrs. Murdock began. No, she couldn’t have heard right. How could it be right? Lily Wynton was a great actress. A great actress meant romance. Romance meant Grand Dukes and Crown Princes and diplomats touched with gray at the temples and lean, bronzed, reckless Younger Sons. It meant pearls and emeralds and chinchilla and rubies red as the blood that was shed for them. It meant a grim-faced boy sitting in the fearful Indian midnight, beneath the dreary whirring of the punkahs, writing a letter to the lady he had seen but once; writing his poor heart out, before he turned to the service revolver that lay beside him on the table. It meant a golden-locked poet, floating face downward in the sea, and in his pocket his last great sonnet to the lady of ivory. It meant brave, beautiful men, liv-

ing and dying for the lady who was the pale bride of art, whose eyes and heart were soft with only compassion for them.

A pack of lice. Crawling after little floozies; whom Mrs. Murdock swiftly and hazily pictured as rather like ants.

“But—” said little Mrs. Murdock.

“She gave them all her money,” Miss Noyes said. “She always did. Or if she didn’t, they took it anyway. Took every cent she had, and then spat in her face. Well, maybe I’m teaching her a little bit of sense now. Oh, there’s the bell—that’ll be Lily. No, sit ye doon, tiny one. You belong there.”

Miss Noyes rose and made for the archway that separated the living-room from the hall. As she passed Mrs. Murdock, she stooped suddenly, cupped her guest’s round chin, and quickly, lightly kissed her mouth.

“Don’t tell Lily,” she murmured, very low.

Mrs. Murdock puzzled. Don’t tell Lily what? Could Hallie Noyes think that she might babble to the Lily Wynton of these strange confidences about the actress’s life? Or did she mean—But she had no more time for puzzling. Lily Wynton stood in the archway. There she stood, one hand resting on the wooden molding and her body swayed toward it, exactly as she stood for her third-act entrance of her latest play, and for a like half-minute.

You would have known her anywhere, Mrs. Murdock thought. Oh, yes, anywhere. Or at least you would have exclaimed, “That woman looks something like Lily Wynton.” For she was somehow different in the daylight. Her figure looked heavier, thicker, and her face—there was so much of her face that the surplus sagged from the strong, fine bones. And her eyes, those famous dark, liquid eyes. They were dark, yes, and certainly liquid, but they were set in little hammocks of folded flesh, and seemed to be set but loosely, so readily did they roll. Their whites, that were visible all around the irises, were threaded with tiny scarlet veins.

“I suppose footlights are an awful strain on their eyes,” thought little Mrs. Murdock.

Lily Wynton wore, just as she should have, black satin and sables, and long white gloves were wrinkled luxuriously about her wrists. But there were delicate streaks of grime in the folds of her gloves, and down the shining length of her gown there were small, irregularly shaped dull patches; bits of food or drops of drink, or perhaps both, sometime must have slipped their carriers and found brief sanctuary there. Her hat—oh, her hat.

It was romance, it was mystery, it was strange, sweet sorrow; it was Lily Wynton's hat, of all the world, and no other could dare it. Black it was, and tilted, and a great, soft plume drooped from it to follow her cheek and curl across her throat. Beneath it, her hair had the various hues of neglected brass. But, oh, her hat.

"Darling!" cried Miss Noyes.

"Angel," said Lily Wynton. "My sweet."

It was that voice. It was that deep, soft, glowing voice. "Like purple velvet," someone had written. Mrs. Murdock's heart beat visibly.

Lily Wynton cast herself upon the steep bosom of her hostess, and murmured there. Across Miss Noyes's shoulder she caught sight of little Mrs. Murdock.

"And who is this?" she said. She disengaged herself.

"That's my tiny one," Miss Noyes said. "Mrs. Murdock."

"What a clever little face," said Lily Wynton. "Clever, clever little face. What does she do, sweet Hallie? I'm sure she writes, doesn't she? Yes, I can feel it. She writes beautiful, beautiful words. Don't you, child?"

"Oh, no, really I—" Mrs. Murdock said.

"And you must write me a play," said Lily Wynton. "A beautiful, beautiful play. And I will play in it, over and over the world, until I am a very, very old lady. And then I will die. But I will never be forgotten, because of the years I played in your beautiful, beautiful play."

She moved across the room. There was a slight hesitancy, a seeming insecurity, in her step, and when she would have sunk into a chair, she began to sink two inches, perhaps, to its right. But she swayed just in time in her descent, and was safe.

"To write," she said, smiling sadly at Mrs. Murdock, "to write. And such a little thing, for such a big gift. Oh, the privilege of it. But the anguish of it, too. The agony."

"But, you see, I—" said little Mrs. Murdock.

"Tiny one doesn't write, Lily," Miss Noyes said. She threw herself back upon the divan. "She's a museum piece. She's a devoted wife."

"A wife!" Lily Wynton said. "A wife. Your first marriage, child?"

"Oh, yes," said Mrs. Murdock.

"How sweet," Lily Wynton said. "How sweet, sweet, sweet. Tell me, child, do you love him very, very much?"

"Why, I—" said little Mrs. Murdock, and blushed. "I've been married for ages," she said.

“You love him,” Lily Wynton said. “You love him. And is it sweet to go to bed with him?”

“Oh—” said Mrs. Murdock, and blushed till it hurt.

“The first marriage,” Lily Wynton said. “Youth, youth. Yes, when I was your age I used to marry, too. Oh, treasure your love, child, guard it, live in it. Laugh and dance in the love of your man. Until you find out what he’s really like.”

There came a sudden visitation upon her. Her shoulders jerked upward, her cheeks puffed, her eyes sought to start from their hammocks. For a moment she sat thus, then slowly all subsided into place. She lay back in her chair, tenderly patting her chest. She shook her head sadly, and there was grieved wonder in the look with which she held Mrs. Murdock.

“Gas,” said Lily Wynton, in the famous voice. “Gas. Nobody knows what I suffer from it.”

“Oh, I’m so sorry,” Mrs. Murdock said. “Is there anything—”

“Nothing,” Lily Wynton said. “There is nothing. There is nothing that can be done for it. I’ve been everywhere.”

“How’s for a spot of tea, perhaps?” Miss Noyes said. “It might help.” She turned her face toward the archway and lifted up her voice. “Mary! Where the hell’s the tea?”

“You don’t know,” Lily Wynton said, with her grieved eyes fixed on Mrs. Murdock, “you don’t know what stomach distress is. You can never, never know, unless you’re a stomach sufferer yourself. I’ve been one for years. Years and years and years.”

“I’m terribly sorry,” Mrs. Murdock said.

“Nobody knows the anguish,” Lily Wynton said. “The agony.”

The maid appeared, bearing a triangular tray upon which was set an heroic-sized tea service of bright white china, each piece a heptagon. She set it down on a table within the long reach of Miss Noyes and retired, as she had come, bashfully.

“Sweet Hallie,” Lily Wynton said, “my sweet. Tea—I adore it. I worship it. But my distress turns it to gall and wormwood in me. Gall and wormwood. For hours, I should have no peace. Let me have a little, tiny bit of your beautiful, beautiful brandy, instead.”

“You really think you should, darling?” Miss Noyes said. “You know—”

“My angel,” said Lily Wynton, “it’s the only thing for acidity.”

“Well,” Miss Noyes said. “But do remember you’ve got a performance tonight.” Again she hurled her voice at the archway. “Mary! Bring the brandy and a lot of soda and ice and things.”

“Oh, no, my saint,” Lily Wynton said. “No, no, sweet Hallie. Soda and ice are rank poison to me. Do you want to freeze my poor, weak stomach? Do you want to kill poor, poor Lily?”

“Mary!” roared Miss Noyes. “Just bring the brandy and a glass.” She turned to little Mrs. Murdock. “How’s for your tea, tiny one? Cream? Lemon?”

“Cream, if I may, please,” Mrs. Murdock said. “And two lumps of sugar, please, if I may.”

“Oh, youth, youth,” Lily Wynton said. “Youth and love.”

The maid returned with an octagonal tray supporting a decanter of brandy and a wide, squat, heavy glass. Her head twisted on her neck in a spasm of diffidence.

“Just pour it for me, will you, my dear?” said Lily Wynton. “Thank you. And leave the pretty, pretty decanter here, on this enchanting little table. Thank you. You’re so good to me.”

The maid vanished, fluttering. Lily Wynton lay back in her chair, holding in her gloved hand the wide, squat glass, colored brown to the brim. Little Mrs. Murdock lowered her eyes to her teacup, carefully carried it to her lips, sipped, and replaced it on its saucer. When she raised her eyes, Lily Wynton lay back in her chair, holding in her gloved hand the wide, squat, colorless glass.

“My life,” Lily Wynton said, slowly, “is a mess. A stinking mess. It always has been, and it always will be. Until I am a very, very old lady. Ah, little Clever-Face, you writers don’t know what struggle is.”

“But really I’m not—” said Mrs. Murdock.

“To write,” Lily Wynton said. “To write. To set one word beautifully beside another word. The privilege of it. The blessed, blessed peace of it. Oh, for quiet, for rest. But do you think those cheap bastards would close that play while it’s doing a nickel’s worth of business? Oh, no. Tired as I am, sick as I am, I must drag along. Oh, child, child, guard your precious gift. Give thanks for it. It is the greatest thing of all. It is the only thing. To write.”

“Darling, I told you tiny one doesn’t write,” said Miss Noyes. “How’s for making more sense? She’s a wife.”

“Ah, yes, she told me. She told me she had perfect, passionate love,” Lily Wynton said. “Young love. It is the greatest thing. It is the only thing.” She grasped the decanter; and again the squat glass was brown to the brim.

“What time did you start today, darling?” said Miss Noyes.

“Oh, don’t scold me, sweet love,” Lily Wynton said. “Lily hasn’t been naughty. Her wuzzunt naughty dirl ’t all. I didn’t get up until late, late, late. And though I parched, though I burned, I didn’t have a drink until after my breakfast. ‘It is for Hallie,’ I said.” She raised the glass to her mouth, tilted it, and brought it away, colorless.

“Good Lord, Lily,” Miss Noyes said. “Watch yourself. You’ve got to walk on that stage tonight, my girl.”

“All the world’s a stage,” said Lily Wynton. “And all the men and women merely players. They have their entrance and their exits, and each man in his time plays many parts, his act being seven ages. At first, the infant, mewling and puking—”

“How’s the play doing?” Miss Noyes said.

“Oh, lousily,” Lily Wynton said. “Lousily, lousily, lousily. But what isn’t? What isn’t, in this terrible, terrible world? Answer me that.” She reached for the decanter.

“Lily, listen,” said Miss Noyes. “Stop that. Do you hear?”

“Please, sweet Hallie,” Lily Wynton said. “Pretty please. Poor, poor Lily.”

“Do you want me to do what I had to do last time?” Miss Noyes said. “Do you want me to strike you, in front of tiny one, here?”

Lily Wynton drew herself high. “You do not realize,” she said, icily, “what acidity is.” She filled the glass and held it, regarding it as though through a lorgnon. Suddenly her manner changed, and she looked up and smiled at little Mrs. Murdock.

“You must let me read it,” she said. “You mustn’t be so modest.”

“Read—?” said little Mrs. Murdock.

“Your play,” Lily Wynton said. “Your beautiful, beautiful play. Don’t think I am too busy. I always have time. I have time for everything. Oh, my God, I have to go to the dentist tomorrow. Oh, the suffering I have gone through with my teeth. Look!” She set down her glass, inserted a gloved forefinger in the corner of her mouth, and dragged it to the side. “Oogh!” she insisted. “Oogh!”

Mrs. Murdock craned her neck shyly, and caught a glimpse of shining gold.

“Oh, I’m so sorry,” she said.

“As wah ee id a me ass ime,” Lily Wynton said. She took away her forefinger and let her mouth resume its shape. “That’s what he did to me last time,” she repeated. “The anguish of it. The agony. Do you suffer with your teeth, little Clever-Face?”

“Why, I’m afraid I’ve been awfully lucky,” Mrs. Murdock said. “I…”

“You don’t know,” Lily Wynton said. “Nobody knows what it is. You writers—you don’t know.” She took up her glass, sighed over it, and drained it.

“Well,” Miss Noyes said. “Go ahead and pass out, then, darling. You’ll have time for a sleep before the theater.”

“To sleep,” Lily Wynton said. “To sleep, perchance to dream. The privilege of it. Oh, Hallie, sweet, sweet Hallie, poor Lily feels so terrible. Rub my head for me, angel. Help me.”

“I’ll go get the Eau de Cologne,” Miss Noyes said. She left the room, lightly patting Mrs. Murdock’s knee as she passed her. Lily Wynton sat in her chair and closed her famous eyes.

“To sleep,” she said. “To sleep, perchance to dream.”

“I’m afraid,” little Mrs. Murdock began. “I’m afraid,” she said, “I really must be going home. I’m afraid I didn’t realize how awfully late it was.”

“Yes, go, child,” Lily Wynton said. She did not open her eyes. “Go to him. Go to him, live in him, love him. Stay with him always. But when he starts bringing them into the house—get out.”

“I’m afraid—I’m afraid I didn’t quite understand,” Mrs. Murdock said.

“When he starts bringing his fancy women into the house,” Lily Wynton said. “You must have pride, then. You must go. I always did. But it was always too late then. They’d got all my money. That’s all they want, marry them or not. They say it’s love, but it isn’t. Love is the only thing. Treasure your love, child. Go back to him. Go to bed with him. It’s the only thing. And your beautiful, beautiful play.”

“Oh, dear,” said little Mrs. Murdock. “I—I’m afraid it’s really terribly late.”

There was only the sound of rhythmic breathing from the chair where Lily Wynton lay. The purple voice rolled along the air no longer.

Little Mrs. Murdock stole to the chair upon which she had left her coat. Carefully she smoothed her white muslin frills, so that they would be

fresh beneath the jacket. She felt a tenderness for her frock; she wanted to protect it. Blue serge and little ruffles—they were her own.

When she reached the outer door of Miss Noyes's apartment, she stopped a moment and her manners conquered her. Bravely she called in the direction of Miss Noyes's bedroom.

"Good-by, Miss Noyes," she said. "I've simply got to run. I didn't realize it was so late. I had a lovely time—thank you ever so much."

"Oh, good-by, tiny one," Miss Noyes called. "Sorry Lily went by-by. Don't mind her—she's really a real person. I'll call you up, tiny one. I want to see you. Now where's that damned Cologne?"

"Thank you ever so much," Mrs. Murdock said. She let herself out of the apartment.

Little Mrs. Murdock walked homeward, through the clustering dark. Her mind was busy, but not with memories of Lily Wynton. She thought of Jim; Jim, who had left for his office before she had arisen that morning, Jim, whom she had not kissed good-by. Darling Jim. There were no others born like him. Funny Jim, stiff and cross and silent; but only because he knew so much. Only because he knew the silliness of seeking afar for the glamour and beauty and romance of living. When they were right at home all the time, she thought. Like the Blue Bird, thought little Mrs. Murdock.

Darling Jim. Mrs. Murdock turned in her course, and entered an enormous shop where the most delicate and esoteric of foods were sold for heavy sums. Jim liked red caviar. Mrs. Murdock bought a jar of the shiny, glutinous eggs. They would have cocktails that night, though they had no guests, and the red caviar would be served with them for a surprise, and it would be a little, secret party to celebrate her return to contentment with her Jim, a party to mark her happy renunciation of all the glory of the world. She bought, too, a large, foreign cheese. It would give a needed touch to dinner. Mrs. Murdock had not given much attention to ordering dinner, that morning. "Oh, anything you want, Signe," she had said to the maid. She did not want to think of that. She went on home with her packages.

Mr. Murdock was already there when she arrived. He was sitting with his newspaper opened to the financial page. Little Mrs. Murdock ran into him with her eyes a-light. It is too bad that the light in a person's eyes is only the light in a person's eyes, and you cannot tell at a look what causes it. You do not know if it is excitement about you, or about something

else. The evening before, Mrs. Murdock had run in to Mr. Murdock with her eyes a-light.

“Oh, hello,” he said to her. He looked back at this paper, and kept his eyes there. “What did you do? Did you drop up to Hank Noyes’s?”

Little Mrs. Murdock stopped right where she was.

“You know perfectly well, Jim,” she said, “that Hallie Noyes’s first name is Hallie.”

“It’s Hank to me,” he said. “Hank or Bill. Did what’s-her-name show up? I mean drop up. Pardon me.”

“To whom are you referring?” said Mrs. Murdock, perfectly.

“What’s-her-name,” Mr. Murdock said. “The movie star.”

“If you mean Lily Wynton,” Mrs. Murdock said, “she is not a movie star. She is an actress. She is a great actress.”

“Well, did she drop up?” he said.

Mrs. Murdock’s shoulders sagged. “Yes,” she said. “Yes, she was there, Jim.”

“I suppose you’re going on the stage now,” he said.

“Ah, Jim,” Mrs. Murdock said. “Ah, Jim, please. I’m not sorry at all I went to Hallie Noyes’s today. It was—it was a real experience to meet Lily Wynton. Something I’ll remember all my life.”

“What did she do?” Mr. Murdock said. “Hang by her feet?”

“She did no such thing!” Mrs. Murdock said. “She recited Shakespeare, if you want to know.”

“Oh, my God,” Mr. Murdock said. “That must have been great.”

“All right, Jim,” Mrs. Murdock said. “If that’s the way you want to be.”

Wearily she left the room and went down the hall. She stopped at the pantry door, pushed it open, and spoke to the pleasant little maid.

“Oh, Signe,” she said. “Oh, good evening, Signe. Put these things somewhere, will you? I got them on the way home. I thought we might have them some time.”

Wearily little Mrs. Murdock went on down the hall to her bedroom.

Публикуется по: Паркер Д. Маленький Кэртис и другие рассказы (на английском языке). М., 1963.

Слава при дневном свете

Дороти Паркер

Мистер Мардек принадлежал к числу тех людей, которые не питают любви ни к пьесам, ни к их исполнителям, что было весьма печально, ибо в жизни маленькой миссис Мардек и то и другое играло большую роль. Она вечно находилась в состоянии благоговейного восторга перед окруженными ореолом славы, независимыми, пылкими служителями муз. И всегда она с толпой почитателей совершала обряд поклонения у подножия больших публичных алтарей. Однажды, правда, когда она была еще совсем маленькой девочкой, любовь заставила ее написать письмо мисс Мод Адамс, начинавшееся так: «Дорогой Питер», — в ответ на которое она получила от мисс Мод Адамс миниатюрный наперсток с надписью: «С поцелуем от Питера Пена». (Какое это было событие!) А еще как-то раз, когда они с матерью делали праздничные покупки, рядом с ней открылась дверца лимузина и мимо нее, ну прямо рукой подать, проплыло настоящее чудо в соболях и аромате фиалок, с бронзовыми крутыми завитками, которые, казалось, звенели как бубенцы от ветра; и впоследствии она всегда готова была поклясться, что находилась на расстоянии не больше шага от самой мисс Билли Бэрк. Теперь миссис Мардек была уже три года замужем, но эти два случая остались пока ее единственными воспоминаниями о встречах с людьми, окруженными ореолом славы.

И вот обнаружилось, что мисс Нойс — новый член маленького клуба игроков в бридж, в котором состояла и миссис Мардек, — была знакома с актрисой. Да, она на самом деле была знакома с актрисой — так, как любой из нас знаком с собирательницами кулинарных рецептов, или членами клуба садоводов, или любительницами вышивок.

Актрису звали Лили Уинтон, — имя широко известно. Это была ослепительная женщина, высокого роста, с медленными, плавными движениями. Она часто выступала в ролях графинь, а также в роли какой-нибудь леди Пэм или в роли досточтимой Мойры. Критики постоянно называли ее «королевой нашей сцены». Из года в год миссис Мардек посещала дневные спектакли с участием Лили Уинтон, проходившие всегда с неизменным успехом. И мысль о том, что в один прекрасный день ей удастся близко познакомиться с Лили Уинтон,

никогда не приходила в голову миссис Мардек, так же как... ну, скажем, так же, как мысль о том, что она вдруг станет летать!

Но ее не удивляло, что мисс Нойс была на равной ноге с такими знаменитостями. Мисс Нойс была женщиной загадочной и таинственной и могла разговаривать, не вынимая сигареты изо рта. Она всегда занималась чем-нибудь трудным, как-то: придумывала фасоны для своих пижам, читала Пруста или лепила из пластилина торсы, а кроме того, великолепно играла в бридж. Она любила маленькую миссис Мардек и называла ее «крошкой».

— Приходите завтра выпить со мной чашку чаю, крошка. Лили Уинтон тоже, вероятно, заскочит, — сказала она миссис Мардек за бриджем в тот знаменательный вечер. — Вам, наверное, будет приятно с ней познакомиться.

Слова эти так легко слетели с ее уст, что она, видимо, и не ощутила их важности. Лили Уинтон придет на чашку чаю. Миссис Мардек, возможно, будет приятно с ней познакомиться. Маленькая миссис Мардек шла домой в ранних сумерках, и звезды пели в небе.

Когда она вошла, мистер Мардек был уже дома. Стоило только взглянуть на него, как сразу становилось ясно, что звезды в тот вечер в небе вовсе не пели. Он сидел с газетой в руках, развернутой на финансовой странице, и горечь разъедала его душу. Момент был неподходящий, чтобы радостно сообщить ему о проявлении гостеприимства со стороны мисс Нойс; отнюдь не подходящий, если вы рассчитывали, что ваше сообщение будет встречено благосклонно. Мистер Мардек недолюбливал мисс Нойс. Если у него допытывались о причине, он отвечал, что она ему просто-напросто не нравится. Иногда, в порыве откровенности, которая могла вызвать даже некоторое восхищение, он добавлял, что его просто тошнит от всех женщин с подобной внешностью. Обычно, когда миссис Мардек рассказывала ему эпизоды из повседневной деятельности клуба игроков в бридж, она старалась не упоминать имя мисс Нойс. Она заметила, что в таких случаях у мистера Мардека меньше портилось настроение. Но сейчас голова ее настолько закружилась от восторга, что, едва поцеловав мужа, она уже принялась рассказывать ему обо всем.

— Ах, Джим! — воскликнула она. — Что бы ты думал! Хэлли Нойс пригласила меня завтра на чашку чаю, чтобы познакомиться с Лили Уинтон!

— Кто такая Лили Уинтон? — осведомился мистер Мардек.

— Ах, Джим! Неужели ты не знаешь, Джим, кто такая Лили Уинтон? Может, ты спросишь, кто такая Грета Гарбо?

— Актриса или что-нибудь в этом роде?

Плечи миссис Мардек поникли.

— Да, Джим, — сказала она. — Да, Лили Уинтон актриса.

Миссис Мардек взяла свою сумочку и медленно направилась к двери. Но она не сделала и трех шагов, как восторг снова охватил ее и поднял над землей. Она повернулась к мужу, глаза ее засияли.

— Право,— сказала она, — это вышло удивительно смешно. Только мы закончили последний роббер, — о, забыла тебе сказать, я выиграла три доллара, для меня это неплохо, правда? — как вдруг Хэлли Нойс говорит мне: «Приходите завтра на чашку чаю. Лили Уинтон тоже собирается заскочить». Именно так и сказала. Словно речь шла о простой смертной.

— «Заскочить?»— спросил он. — Как это можно «заскочить»?..

— Честно говоря, я даже не помню, что я ей ответила, — сказала миссис Мардек. — Кажется, я ответила, что с большим удовольствием. Думаю, что так. Но я была просто... Ну, ты знаешь, как я всегда относилась к Лили Уинтон. Еще девчонкой, я собирала все ее фотографии. И я видела ее в... о, чуть ли не во всех ее ролях и читала решительно все, что о ней писали, — и все интервью, и все прочее. Право же, когда я думаю, что познакомлюсь с ней... о, я просто умереть готова. Ну что я могу ей сказать?

— Ты можешь спросить ее, не хочет ли она теперь для разнообразия «выскочить», — заметил мистер Мардек.

— Ну ладно, Джим, — сказала миссис Мардек, — хочешь издеваться — издевайся.

Усталой походкой она направилась к двери и на этот раз дошла до нее, и только тогда обернулась. Глаза ее больше не сияли.

— Это... это ужасно бессовестно, — сказала она, — испортить другому удовольствие. Я была так взволнована. Ты не представляешь, что для меня значит познакомиться с Лили Уинтон. Встретиться с кем-нибудь из таких людей, посмотреть, что они из себя представляют, послушать, о чем они говорят, и, может быть, постичь их душу. Такие люди кажутся мне... ну, кажутся мне какими-то особенными. Они не такие, как все. Не такие, как я. С кем доводилось мне встречаться? С кем разговаривать? Всю жизнь хотелось мне познакомиться

ся... я чуть не молилась, чтобы когда-нибудь встретить... Ну ладно, Джим, не будем об этом говорить.

Она вышла из комнаты и направилась в спальню.

Мистер Мардек остался наедине со своей газетой и со своим раздражением. Тем не менее он произнес вслух:

— «Заскочить»! Черт побери, «заскочить»!

За обедом царило если не гробовое молчание, то, во всяком случае, подчеркнутая тишина.

В неподвижной позе мистера Мардека было что-то напряженное; но маленькая миссис Мардек молчала просто потому, что мысли ее витали где-то далеко-далеко, в приятных мечтах. Резкие слова, которые она наговорила мужу, были позабыты, волнения и разочарования остались позади. Она с наивной непосредственностью упивалась видениями будущего, и ей казалось, что она слышит свой голос...

— На днях у Хэлли я видела Лили Уинтон, и она подробно рассказывала мне про свою новую роль; нет, мне ужасно жаль, но это секрет, я обещала ей никому не говорить название пьесы... Лили Уинтон заскочила вчера на чашку чаю, и мы с ней немного поболтали, и она рассказала мне интереснейшие случаи из своей жизни; она никак не думала, что будет кому-нибудь о них рассказывать... О, я бы с радостью пришла к вам, но я обещала пообедать с Лили Уинтон... Я получила от Лили Уинтон длинное-предлинное письмо... Сегодня утром мне позвонила Лили Уинтон... Когда у меня плохое настроение, стоит мне забежать к Лили Уинтон, поговорить с ней по душам — и все как рукой снимает. Лили Уинтон сказала мне... Лили Уинтон и я... Лили, сказала я ей...

На следующее утро, когда мистер Мардек ушел в свою контору, миссис Мардек еще лежала в постели. Такое случалось и прежде, но не часто. Сначала миссис Мардек испытывала некоторую неловкость, но потом решила, что, пожалуй, так лучше. Затем она стала обдумывать, какое выбрать платье для сегодняшнего чаепития. Она с глубокой горечью сознавала, что в ее скромном гардеробе нет наряда, подходящего для такого события, правда, такого события никогда раньше не случалось в ее жизни. Наконец, она остановила свой выбор на платье из темно-синей саржи, с гофрированными оборками из белого муслина у ворота и на рукавах. Это был ее стиль — вот все, что она могла сказать о платье, и все, что она могла сказать о себе. Синяя саржа и

белая гофрированная отделка — в этом она вся.

Даже то обстоятельство, что платье шло к ней, понизило ее настроение. И платье обыкновенное, и сама она обыкновенная. Вспоминая свои вчерашние мечты, безумные надежды на близкую дружбу с Лили Уинтон, она заливалась горячей краской стыда. Сердце у нее сжималось от робости, и ей хотелось позвонить мисс Нойс и сказать, что она сильно простужена и не сможет прийти.

Обдумывая, как ей вести себя за чаем, она немного успокоилась. Она постарается не принимать участия в разговоре. Лучше промолчать, чем сказать глупость. Она будет слушать, смотреть и восторгаться и вернется домой сильной, смелой, обновленной за тот час, о котором она потом с гордостью будет вспоминать всю жизнь.

Гостиная мисс Нойс была обставлена в стиле раннего модерна. В ней было много кривых линий и острых углов, зигзагообразных предметов из алюминия и опоясывающих комнату зеркал. Все было выдержано в светло-желтых и стальных тонах. Все столы были из алюминия, а сиденья возвышались над полом не больше, чем на четверть метра. Побываешь в такой гостиной один раз и не захочешь больше, — правда, это можно сказать и о других более достойных местах.

Маленькая миссис Мардек пришла первой. Это ее обрадовало. Нет, пожалуй, следовало прийти после Лили Уинтон; нет, пожалуй, так лучше. Горничная проводила ее в гостиную, и мисс Нойс приветствовала гостью холодным тоном и теплыми словами — сочетание, которое удавалось только ей. На мисс Нойс были черные вельветовые брюки, широкий красный пояс и белая шелковая блузка с открытым воротом. К нижней губе прилипла сигарета, а глаза перед очередной затяжкой по привычке сощурились.

— Входите, входите, крошка. Входите, малютка, — сказала она. — Снимайте свой жакетик. Господи, да в этом платье вам дашь лет одиннадцать, не больше. Присаживайтесь здесь со мною рядом. Чай сейчас подадут.

Миссис Мардек присела на обширный, опасно низкий диван; она не умела откидываться на подушки и сидела выпрямившись, словно аршин проглотив. Места между ней и хозяйкой хватило бы еще на шестерых таких, как она. Мисс Нойс, положив ступню одной

ноги на колено другой, развалилась на диване и смотрела на миссис Мардек.

— Я совсем разбита, — объявила мисс Нойс, — лепила до потери сознания всю ночь напролет как одержимая. Совершенно выдохлась.

— О, что же вы лепили? — воскликнула миссис Мардек.

— Да Еву, — оказала мисс Нойс. — Я всегда леплю Еву... А кого еще лепить? Вы должны как-нибудь попозировать мне, крошка. Вас будет приятно лепить. Да-а, вас будет очень приятно лепить, моя крошка.

— Но я... — сказала миссис Мардек и остановилась. — Во всяком случае, большое спасибо.

— Не пойму, где же Лили, — сказала мисс Нойс. — Она обещала прийти пораньше... Правда, она всегда обещает. Вы будете от нее в восторге, крошка. Это редкая женщина. Редкий человек. И чего только она не вынесла, через огонь и воду прошла. Боже, сколько ей пришлось пережить!

— Из-за чего? — спросила миссис Мардек.

— Из-за мужчин, — ответила мисс Нойс. — Мужчины; вечно ей попадались какие-то ничтожные. — Мисс Нойс мрачно уставилась на носок своей плоской лакированной туфли. — Куча паразитов! Все они паразиты. Бросали ее из-за первой попавшейся шлюхи.

— Но... — начала миссис Мардек. Нет, она, видимо, ослышалась. Как же так? Лили Уинтон великая актриса. Великая актриса — это всегда романтика. А романтика — это эрцгерцоги и кронпринцы, дипломаты с сединой на висках и стройные загорелые беспутные младшие сыновья пэров. Это жемчуга и изумруды, шеншеля и рубины, красные, как кровь, пролитая за них. Это — юноша мрачного вида, сидящий под заунывно жужжащим вентилятором среди полной ужасов индийской ночи и изливающий свою душу в письме к женщине, которую он видел лишь однажды. Изливающий свою истрадавшуюся душу прежде, чем приставить к сердцу револьвер, который лежит рядом на столе. Романтика — это златокудрый поэт, чье мертвое тело, лежащее ничком, носят морские волны, в то время как в кармане у него лежит последний великий сонет к женщине с каменным сердцем. Это — отважные, прекрасные мужчины, живущие ради женщины и умирающие за женщину, посвятившую себя искусству, в чьем сердце и взоре они не находят ничего, кроме сострадания.

Куча паразитов. Ползают за шлюхами; эти последние сразу, хотя и не очень отчетливо, представились миссис Мардек в виде муравьев.

— Но... — начала маленькая миссис Мардек.

— Она отдавала им все свои деньги, — заявила мисс Нойс. — Она так всегда делала. А если не отдавала, они сами у нее забирали. Забирали все до последнего цента, а потом плевали ей в лицо. Ну теперь я ее, кажется, немного научила уму-разуму. О, звонок... Это Лили. Нет, сидите, крошка. Ваше место здесь.

Мисс Нойс поднялась и направилась к арке, которая отделяла гостиную от холла. Проходя мимо миссис Мардек, она вдруг остановилась, взяла гостью за округлый подбородок и быстро поцеловала в губы.

— Не говорите Лили, — чуть слышно шепнула она.

Миссис Мардек была озадачена.

Чего не говорить Лили? Неужели Хэлли Нойс могла подумать, что она способна выболтать Лили Уинтон странные откровения о жизни актрисы? Или она имела в виду... Но у миссис Мардек больше не было времени раздумывать. Лили Уинтон стояла на пороге.

Она стояла, опираясь одной рукой о деревянную резьбу арки, изогнув тело, в такой точно позе, как перед выходом на сцену в третьем акте ее последней пьесы, и точно так же полминуты, как там.

«Ее везде узнаешь, — подумала миссис Мардек.— О да, везде. Или по крайней мере скажешь: «Эта женщина чем-то напоминает Лили Уинтон». Ибо при дневном свете Лили Уинтон выглядела несколько иначе. Фигура ее казалась более грузной, более массивной, а лицо... — лицо было таким мясистым, что излишки свисали с широких, энергично очерченных скул. А ее глаза, эти знаменитые темные, бездонные глаза. Да, они, конечно, были темные и бездонные и лежали в складках кожи, словно в гамаках, ни к чему не привешенных, потому что вращались совершенно свободно во все стороны. И белки глаз, хорошо видные, были все в тонких алых прожилках.

«Наверное, свет ramпы ужасно утомляет глаза»,— подумала маленькая миссис Мардек.

Лили Уинтон, как и полагалось, была в черном атласе и соболях; длинные белые перчатки морщились у нее на запястьях, но в складках перчаток залегли тонкие полоски грязи, а на блестящем шелке платья тут и там видны были небольшие различной величины тусклые пятна.

Кусочки пищи или капли питья, а может быть, и то и другое, упав откуда-то сверху, оставили следы своего временного пребывания на платье. А ее шляпа... О, ее шляпа. Это был целый романс, это была тайна, это была непонятная сладкая грусть; это была шляпа Лили Уинтон, единственная в мире, никто бы не осмелился надеть такую. Черная, с загнутыми полями, с большим мягким пером, ниспадающим на щеку и обвивающимся вокруг шеи. Волосы под шляпой переливали всеми оттенками давно не чищенной меди. Но ее шляпа, о!

— Дорогая! — вскрикнула мисс Нойс.

— Ангел! — отозвалась мисс Лили Уинтон. — Милочка!

Это был тот знаменитый голос. Грудной, нежный, полный страсти голос, «словно пурпурный бархат», — как писал кто-то. Сердце миссис Мардек затрепетало в груди.

Лили Уинтон упала на крутую грудь хозяйки и что-то пробормотала. Выглянув из-за плеча мисс Нойс, она заметила маленькую миссис Мардек.

— А это кто? — спросила она и высвободилась из объятий.

— Это моя крошка, — сказала мисс Нойс. — Миссис Мардек.

— Какая умная мордашка, — сказала Лили Уинтон. — Умная-преумная мордашка. Чем она занимается, дорогая Хэлли? Я уверена, что она что-нибудь пишет, правда? Да, я это чувствую. Она пишет прекрасные, очаровательные слова. Не так ли, дитя?

— О нет, по правде говоря, я... — сказала миссис Мардек.

— Вы должны написать для меня пьесу, — заявила Лили Уинтон. — Прекрасную, очаровательную пьесу. И я буду в ней играть и выступать по всему свету, пока совсем, совсем не состарюсь. И тогда я умру. Но меня никогда не забудут, потому что я играла в вашей прекрасной, очаровательной пьесе.

Она пересекла комнату. Шла она, слегка покачиваясь, как-то неуверенно, и, опускаясь в кресло, чуть было не села мимо, но вовремя успела сбалансировать и таким образом спасла положение.

— Написать, — сказала она, печально улыбаясь, миссис Мардек, — написать. Всего лишь маленькую вещицу, а для меня это будет такой большой подарок. О, какое счастье, но и какая мука. Какая боль.

— Но, видите ли, я... — начала маленькая миссис Мардек.

— Крошка не пишет, Лили, — сказала мисс Нойс. Она вновь возлежала на диване. — Она музейная редкость. Преданная жена своего мужа.

— Жена! — воскликнула Лили Уинтон. — Жена. Это ваше первое замужество, дитя?

— О да, — сказала миссис Мардек.

— Как трогательно. Как мило, мило, мило. Скажите мне, дитя, вы его очень, очень любите?

— Ну, я... — начала маленькая миссис Мардек и вся зарделась. — Я уже целый век замужем, — сказала она.

— Вы его любите, — сказала Лили Уинтон. — Вы его любите. И приятно с ним спать?

— О... — сказала миссис Мардек, мучительно краснея.

— Первое замужество, — сказала Лили Уинтон. — Молодость, молодость. Да, когда я была в вашем возрасте, я тоже имела обыкновение выходить замуж. О, лелейте свою любовь, дитя, берегите ее, упивайтесь ею. Смейтесь и танцуйте в лучах любви вашего мужа. Пока не обнаружите, что он на самом деле из себя представляет.

Казалось, неожиданное видение вдруг предстало перед Лили Уинтон. Плечи ее судорожно поднялись кверху, щеки надулись, глаза готовы были вылезти из орбит. С минуту она сидела в таком положении, потом постепенно все у нее вернулось в прежнее положение. Ока откинулась на спинку кресла и стала нежно поглаживать себя по груди. При этом она печально качала головой, и взгляд ее, устремленный на миссис Мардек, выражал грусть и недоумение.

— Газы, — проговорила Лили Уинтон своим прославленным голосом. — Газы. Никто не знает, как я страдаю от них.

— О, мне так жаль вас, — сказала миссис Мардек. — Может быть, я могу вам чем-нибудь...

— Ничем, — сказала Лили Уинтон. — Ничем вы мне не можете. Ничего нельзя сделать. Я испробовала все.

— Может быть, чашечку чаю? — спросила мисс Нойс. — Это помогает. — Она повернулась в сторону арки и крикнула: — Мэри! Где же, черт возьми, чай?

— Вы не представляете, — сказала Лили Уинтон, не отводя грустного взгляда от миссис Мардек, — вы не представляете себе, что значит желудочное заболевание. Никогда, никогда вам этого не по-

нять, если, конечно, вы сами не болели желудком. Я страдаю этим уже долгие годы. Годы, годы и годы.

— Это ужасно, — сказала миссис Мардек.

— Никто не в силах понять, что это за мука, — сказала Лили Уинтон. — Что за боль.

Вошла горничная с треугольным подносом в руках. На подносе стоял гигантской величины чайный сервиз из блестящего белого фаянса. Каждый предмет этого сервиза имел восьмиугольную форму. Горничная поставила поднос на стол так, чтобы мисс Нойс могла до него дотянуться и вышла из комнаты — робко, как вошла.

— Дорогая Хэлли, — сказала Лили Уинтон, — моя дорогая. Чай...я люблю чай. Я обожаю чай. Но болезнь превращает его в моем желудке в желчь и горькую полынь. Желчь и горькую полынь. Дайте мне лучше чуточку, совсем чуточку вашего чудесного-расчудесного брэнди.

— Так ли тебе это необходимо, дорогая? — спросила мисс Нойс. — Знаешь...

— Ангел мой, — сказала Лили Уинтон. — Это единственное средство от повышенной кислотности.

— Хорошо, — сказала мисс Нойс. — Но не забудь, что у тебя сегодня спектакль. — И она закричала, снова повернувшись к арке: — Мэри! Принесите брэнди и побольше содовой, льда и все прочее.

— О нет, невинная моя, нет, нет, дорогая Хэлли. Сода и лед для меня настоящий яд. Ты что, хочешь заморозить мой несчастный больной желудок? Ты хочешь убить бедную, несчастную Лили?

— Мэри! — заорала мисс Нойс. — Принесите только брэнди и один стакан! — Она повернулась к маленькой миссис Мардек: — А вам что к чаю, крошка? Сливки? Лимон?

— Если можно, пожалуйста, сливки, — сказала миссис Мардек. — И два кусочка сахара, если можно.

— О, молодость, молодость, — сказала Лили Уинтон. — Молодость и любовь.

Вернулась горничная с восьмиугольным подносом, на котором стоял графин с брэнди и большой низкий толстого стекла стакан. От застенчивости горничная отводила глаза в сторону.

— Налейте-ка мне, дорогая, — сказала Лили Уинтон. — Благодарю. И оставьте этот миленький-премиленький графинчик здесь на этом очаровательном столике. Благодарю. Вы так добры ко мне.

Горничная в смятении исчезла. Лили Уинтон откинулась в кресле, держа в руке, затянутой в перчатку, большой толстый стакан, наполненный до самых краев коричневой жидкостью. Маленькая миссис Мардек опустила глаза в чашку, осторожно поднесла ее к губам, отхлебнула глоток и поставила чашку обратно на блюдце. Когда она подняла глаза, Лили Уинтон по-прежнему полулежала, откинувшись на спинку кресла, держа в руке, затянутой в перчатку, большой толстый стакан, — теперь он был пуст и прозрачен.

— Моя жизнь, — медленно произнесла Лили Уинтон, — сплошная грязь. Вонючая грязь. Всегда была грязь и всегда будет. Пока я не стану совсем, совсем старой. О умная мордашка, вы, писатели, и не знаете, что значит борьба за жизнь.

— Но, право, я не... — начала миссис Мардек.

— Писать, — сказала Лили Уинтон, — писать, располагать красиво одно слово подле другого! Какое счастье! Какой благословенный покой! О покой, о мир! Но, думаете, эти негодяи снимут пьесу, пока она приносит им хоть грошовый доход? О нет. Усталая, больная, я все равно должна тянуть эту волюнку. О дитя, дитя, берегите свой драгоценный дар. Благодарите за него бога. Это величайшее счастье. Единственное счастье. Писать!

— Дорогая, я же объяснила тебе, что крошка ничего не пишет, — сказала мисс Нойс. — Неужели до тебя не доходит? Она жена своего мужа.

— Ах да, она ведь мне сказала. Она сказала, что пережила необыкновенную страстную любовь, — сказала Лили Уинтон. — Любовь в молодости. Это величайшее счастье. Единственное счастье. — Лили Уинтон схватила графин, и снова толстый низкий стакан стал коричневым до краев,

— Когда ты сегодня начала, дорогая? — спросила мисс Нойс.

— О, не брани меня, душечка. Лили была послушной, совсем послушной, хорошей девочкой. Я долго, долго-предолго не вставала. И, хотя меня томила жажда и внутри все горело, я выпила только после завтрака. «Это за Хэлли», — сказала я. — Она поднесла стакан ко рту, медленно опрокинула его и поставила пустой обратно.

— Ради бога, Лили, — сказала мисс Нойс. — Держи себя в руках. Ведь ты сегодня вечером играешь в театре, моя радость.

— «Весь мир—театр, — сказала Лили Уинтон, — в нем женщины, мужчины, все — актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каж-

дый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той. Сперва — младенец, блюющий с ревом на руках у мамки...»

— Как пьеса? Имеет успех? — спросила мисс Нойс.

— О, отвратительно, — сказала Лили Уинтон.— Отвратительно-преотвратительно. А что не отвратительно? Что не отвратительно в этом ужасном-преужасном мире? Ну скажи. — Она потянулась за графином.

— Послушай, Лили, — сказала мисс Нойс. — Прекрати это. Слышишь?

— Пожалуйста, прелесть моя Хэлли,— сказала Лили Уинтон.— Красавица, прошу тебя. Бедная, несчастная Лили.

— Ты хочешь, чтобы я поступила так же, как прошлый раз? — спросила мисс Нойс. — Ты хочешь, чтобы я ударила тебя здесь в присутствии крошки?

Лили Уинтон величественно выпрямилась.

— Вам не понять, — ледяным тоном сказала она, — что значит кислотность. — Она наполнила стакан и подержала его, рассматривая словно в лорнет. Поведение ее вдруг изменилось, она посмотрела на маленькую миссис Мардек и улыбнулась ей.

— Вы должны дать мне ее почитать, — сказала она. — Вы не должны так скромничать.

— Почитать?.. — сказала миссис Мардек.

— Вашу пьесу, — сказала Лили Уинтон. — Вашу прекрасную, очаровательную пьесу. Не думайте, что я так уж занята. У меня всегда найдется время. У меня хватает времени на все. О боже, мне ведь надо завтра к зубному врачу. О, какую муку я пережила из-за моих зубов. Взгляните!— Она поставила на стол стакан, засунула указательный палец в перчатке за щеку и растянула ее. — Во-от! — настаивала она. — Во-от!

Миссис Мардек робко вытянула шею и мельком увидела сверкающее золото.

— Как жаль, — сказала она.

— Вот, что он мне прошлый раз сделал, — сказала Лили Уинтон. Она вытащила указательный палец, и рот ее принял прежнюю форму. — Вот что он мне прошлый раз сделал, — повторила она. — Какая мука. Какая боль. Вы не страдаете от зубной боли, умная мордашка?

— Нет, мне, кажется, страшно повезло, — сказала миссис Мардек. — Я...

— Вы не знаете, — сказала Лили Уинтон. — Никто не знает, что это значит. Вы писатели... и вы не знаете. — Она схватила стакан, вздохнула и осушила его.

— Ну что ж, — сказала мисс Нойс. — Тогда уж напивайся до бесчувствия, дорогая. До театра успеешь поспать.

— «Уснуть... — сказала Лили Уинтон, — и видеть сны». Какое счастье. О Хэлли, дорогая, дорогая Хэлли, бедная Лили так ужасно себя чувствует. Потри мне лоб, ангел мой. Помогите мне.

— Я принесу одеколон. — Мисс Нойс вышла из комнаты; мимоходом она слегка погладила миссис Мардек по плечу. Лили Уинтон откинулась в кресле и закрыла свои прославленные глаза.

— «Уснуть... — бормотала она, — и видеть сны».

— Боюсь, — начала маленькая миссис Мардек, — боюсь, мне пора домой. Я и понятия не имела, что так поздно.

— Иди, дитя, — сказала Лили Уинтон, не открывая глаз. — Иди к нему. Иди к нему, посвети ему свою жизнь, люби его. Будь вечно с ним. Но, когда он начнет приводить их в дом, — уходи.

— Боюсь... боюсь, я не совсем вас понимаю.

— Когда он начнет приводить в дом своих шлюх, — сказала Лили Уинтон. — Тогда у вас должно хватить гордости. Вы должны уйти. Я всегда уходила. Но всегда делала это слишком поздно. Они забирали все мои деньги. Это единственное, что всем им нужно, — и мужьям и не мужьям. Они говорят, что это и есть любовь, но это не любовь. Любовь это главное. Храните свою любовь как сокровище, дитя. Идите к нему. Спите с ним. Это главное. И ваша прекрасная, очаровательная пьеса.

— Боже мой, — сказала маленькая миссис Мардек, — боюсь, что уже в самом деле ужасно поздно.

С кресла, где возлежала Лили Уинтон, донеслось в ответ мерное похрапывание. Царственный голос больше не сотрясал воздух.

Маленькая миссис Мардек подошла на цыпочках к стулу, где оставила свой жакет. Она заботливо расправила белые муслиновые оборочки на платье, чтобы они не помялись. Она испытывала нежность к своему платью. Ей хотелось его защитить. Синяя саржа и мелкое гофре — это ее собственное.

Подойдя к двери квартиры мисс Нойс, она на мгновение приостановилась, и хорошее воспитание взяло над ней верх. Набравшись смелости, она повернулась к спальне мисс Нойс и крикнула:

— До свиданья, мисс Нойс. Мне надо бежать. Я и не думала, что уже так поздно. Я очень приятно провела время и очень вам благодарна.

— А, до свиданья, крошка! — крикнула в ответ мисс Нойс. — Извините, что Лили легла бай-бай. Не обращайтесь на нее внимания... Право, она редкая женщина. Я вам позвоню, крошка. Я хочу повидать вас. Ну куда девался этот проклятый одеколон?

— Я очень вам благодарна, — сказала миссис Мардек и закрыла за собою дверь квартиры.

В сгущающихся сумерках маленькая миссис Мардек шла домой. Мысли ее были заняты, но она думала не о Лили Уинтон. Нет, она думала о Джиме; о Джиме, который ушел утром в свою контору, когда она еще лежала в постели, о Джиме, которого она даже не поцеловала на прощанье. Милый Джим. Таких на свете больше нет. Смешной Джим, упрямый, сердитый, молчаливый. Но это потому, что он так много знает. Потому, что он понимает, как глупо искать где-то далеко славу, красоту и романтику, когда все это здесь под рукой, дома. Как в «Синей птице», подумала маленькая миссис Мардек.

Милый Джим. Миссис Мардек остановилась и повернула к огромному магазину, где по баснословным ценам продавались самые экзотические продукты и деликатесы. Джим любит красную икру. Миссис Мардек купила банку особо приготовленных блестящих клейких яиц. Вечером они будут пить коктейли вдвоем, без гостей, и к коктейлям как сюрприз подадут красную икру; и на этой маленькой вечеринке вдвоем, без гостей, она отпразднует свое возвращение к Джиму, этой вечеринкой она отметит свой счастливый отказ от всей славы мира. Миссис Мардек купила также большую головку импортного сыра — необходимое дополнение к обеду. Заказывая в это утро обед, миссис Мардек не уделила ему должного внимания. «Ах, все, что хотите, Сигне», — сказала она служанке. Теперь ей было неприятно вспоминать об этом. С пакетами в руках она поспешила домой. Когда она вошла, мистер Мардек сидел уже с газетой, развернутой на финансовой странице. Маленькая миссис Мардек бросилась к нему, глаза ее сияли. Жаль, что когда глаза человека сияют — они только сияют и все, и никто не может угадать с одного взгляда — почему.

Как узнать — сияют они при виде вас или по другой причине? Накануне вечером, когда миссис Мардек бросилась к мистеру Мардеку, глаза ее тоже сияли.

— А, здравствуй, — сказал мистер Мардек. Он снова уставился в газету и уже не отрывал от нее глаз. — Что ты делала? «Заскочила» к Хэнк Нойс?

Маленькая миссис Мардек остановилась как вкопанная.

— Ты прекрасно знаешь, Джим, что Хэлли Нойс зовут Хэлли.

— А для меня она Хэнк, — сказал он. — Хэнк или Билл. А эта, как ее там, явилась? То есть, извини, «заскочила»?

— Кого ты имеешь в виду? — с изумительным самообладанием спросила миссис Мардек.

— Ну эту, как ее там... — сказал мистер Мардек, — эту кинозвезду?

— Если ты имеешь в виду Лили Уинтон, — сказала миссис Мардек, — то она не кинозвезда Она актриса. Она знаменитая актриса.

— Ну ладно. Так она «заскочила»? — опросил он.

Плечи миссис Мардек поникли.

— Да, — сказала она, — да, Джим, она была там.

— Я полагаю, ты теперь тоже поступишь на сцену? — спросил он.

— О Джим, — сказала миссис Мардек. — О, перестань, Джим. Я совсем не жалею о том, что побывала сегодня у Хэлли Нойс. Это было... это было действительно большое событие познакомиться с Лили Уинтон. Я запомню это на всю жизнь.

— Что же такое она вытворяла? — спросил мистер Мардек. — Ходила на руках?

— Ничего подобного! — возмутилась миссис Мардек. — Если хочешь знать, она декламировала Шекспира.

— О господи, — сказал мистер Мардек, — это, наверное, было грандиозно.

— Ладно, Джим, — сказала миссис Мардек. — Хочешь издеваться — издевайся.

Усталой походкой она вышла из комнаты в холл. Приоткрыв дверь кладовой, она сказала маленькой хорошенькой служанке:

— Сигне! Добрый вечер, Сигне. Положите все эти продукты куда-нибудь. Я купила их по дороге домой. Может, они когда-нибудь пригодятся.

И маленькая миссис Мардек устало побрела к себе в спальню.

Перевод Н. Ветошкиной.

Публикуется по: Паркер Д. Новеллы. М.: ГИХЛ, 1959.

Nora

Ring Lardner

"Mx. Hazlett, shake hands with Jerry Morris and Frank Moon. I guess you've heard of the both of them."

The speaker was Louie Brock, producer of musical shows, who had cleared over half a million dollars in two years through the popularity of "Jersey Jane," tunes by Morris and lyrics by Moon.

They were in Brock's inner office, the walls of which were adorned with autographed pictures of six or seven of the more celebrated musical comedy stars and a too-perfect likeness of Brock's wife, whom he had evidently married in a dense fog.

"Mr. Hazlett," continued Brock, "has got a book which he wrote as a straight play, but it struck me right off that it was great material for a musical, especially with you two fellas to do the numbers. It's a brand-new idea, entirely opposite from most of these here musical comedy books that's all the same thing and the public must be getting sick of them by this time. Don't you think so, Jerry?"

"I certainly do," the tunesmith replied. "Give us a good novelty story, and with what I and Frank can throw in there to jazz it up, we'll run till the theatre falls down."

"Well, Mr. Hazlett," said Brock, "suppose you read us the book and we'll see what the boys thinks of it."

Hazlett was quite nervous in spite of Brock's approval of his work and the fact that friends to whom he had shown it had given it high praise and congratulated him on his good fortune in getting a chance to collaborate with Morris and Moon-Morris, who had set a new style in melodies and rhythms and whose tunes made up sixty percent of all dance programs, and Moon, the ideal lyricist who could fit Jerry's fast triplets with such cute-sounding three-syllable rhymes that no one ever went to the considerable trouble of trying to find out what they meant.

"I've tried to stay away from the stereotyped Cinderella theme," said Hazlett. "In my story, the girl starts out just moderately well off and winds up poor. She sacrifices everything for love and the end finds her alone with her lover, impoverished but happy. She... "

"Let's hear the book," said the producer.

Hazlett, with trembling fingers, opened to the first page of his script.

"Well," he began, "the title is "Nora" and the first scene..."

"Excuse me a minute," Morris interrupted. "I promised a fella that I'd come over and look at a big second-hand Trinidad Twelve. Only eight grand and a bargain if there ever was one, hey, Frank?"

"I'll say it's a bargain," Moon agreed.

"The fella is going to hold it for me till half-past three and its nearly three o'clock now. So if you don't mind, Mr. Hazlett, I wish that instead of reading the book clear through, you'd kind of give us a kind of a synopsis and it will save time and we can tell just as good, hey, Frank?"

"Just as good," said Moon.

"All right, Mr. Hazlett," Brock put in. "Suppose you tell the story in your own way, with just the main idea and the situations."

"Well," said Hazlett, "of course, as a straight play, I wrote it in three acts, but when Mr. Brock suggested that I make a musical show out of it, I cut it to two. To start with, the old man, the girl's uncle, is an Irishman who came to this country when he was about twenty years old. He worked hard and he was thrifty and finally he got into the building business for himself. He's pretty well-to-do, but he's avaricious and not satisfied with the three or four hundred thousand he's saved up. He meets another Irish immigrant about his own age, a politician who has a lot to say about the letting of big city building contracts. This man, Collins, had a handsome young son, John, twenty-three or twenty-four.

"The old man, the girl's uncle-their name is Crowley – he tries his hardest to get in strong with old Collins so Collins will land him some of the city contracts, but Collins, though he's very friendly all the while, he doesn't do Crowley a bit of good in a business way.

"Well, Crowley gives a party at his house for a crowd of his Irish friends in New York, young people and people his own age, and during the party young John Collins sees a picture of Crowley's beautiful niece, Nora. She's still in Ireland and has never been to this country. Young Collins asks Crowley who it is and he tells him and young Collins says she is the only girl he will ever marry.

"Crowley then figures to himself that if he can connect up with the Collineses by having his niece marry young John, he can land just about all the good contracts there are. So he cables for Nora to come over and pay him a visit. She comes and things happen just as Crowley planned-John and Nora fall in love.

"Now there's a big dinner and dance in honor of the Mayor and one of the guests is Dick Percival, a transplanted Englishman who has made fifty million dollars in the sugar business. He also falls in love with Nora and confesses it to her uncle. Old Crowley has always hated Englishmen, but his avarice is so strong that he decides Nora must get rid of John and marry Dick. Nora refuses to do this, saying John is "her man" and that she will marry him or nobody.

"Crowley forbids her to see John, but she meets him whenever she can get out. The uncle and niece had a long, stubborn battle of wills, neither yielding an inch. Finally John's father, old Collins, is caught red-handed in a big bribery scandal and sent to the penitentiary. It is also found out that he has gambled away all his money and John is left without a dime.

"Crowley, of course, thinks this settles the argument, that Nora won't have anything more to do with a man whose father is a crook and broke besides, and he gets up a party to announce the engagement between her and Dick. Nora doesn't interfere at all, but insists that young John Collins be invited. When the announcement is made, Nora says her uncle has got the name of her fiancé wrong; she has been engaged to John Collins since the first day she came to the United States, and if he will still have her, she is his. Then she and John walk out alone into the world, leaving Dick disappointed and Crowley in a good old-fashioned Irish rage."

"Well, boys," said Brock, after a pause, "what do you think of it?"

The "boys" were silent.

"You see," said Brock, "for natural ensembles, you got the first party at What's-his-name's, the scene on the pier when the gal lands from Ireland, the Mayor's party at some hotel maybe, and another party at What's-his-name's, only this time it's outdoors at his country place. You can have the boy sing a love-song to the picture before he ever sees the gal; you can make that the melody you want to carry clear through. You can have love duets between she and the boy and she and the Englishman. You can write a song like "East; Side, West Side" for the Mayor's party.

"You can write a corking good number for the pier scene, where the people of all nationalities are meeting their relatives and friends. And you can run wild with all the good Irish tunes in the world."

"Where's your comic?" inquired Morris.

"Mr. Hazlett forgot to mention the comic," Brock said. "He's an old Irishman, a pal of What's-his-name's, a kind of a Jiggs."

"People don't want an Irish comic these days," said Morris.

"Can't you make him a Wop or a Ileeb? "

"I'd have to rewrite the part," said Hazlett.

"No you wouldn't," said Morris. "Give him the same lines with a different twist to them."

"It really would be better," Brock put in, "if you could change him to a Ileeb or even a Dutchman. I've got to have a spot for Joe Stein and he'd be a terrible flop as a Turkey."

"And listen," said Morris. "What are you going to do with Enriqueta?"

"Gosh! I'd forgot her entirely!" said Brock. "Of course we'll have to make room for her."

"Who is she?" Hazlett inquired.

"The best gal in Spain," said Brock. "I brought her over here and I'm paying her two thousand dollars every week, with nothing for her to do. You'll have to write in a part for her."

"Write in a part!" exclaimed Morris. "She'll play the lead or she won't play."

"But how is a Spanish girl going to play Nora Crowley?" asked Hazlett.

"Why does your dame have to be Nora Crowley?" Morris retorted. "Why does she have to be Irish at all?"

"Because her uncle is Irish."

"Make him a Spaniard, too."

"Yes, and listen," said Moon. "While you're making the gal and her uncle Spaniards, make your boy a wop. If you do that, I and Jerry have got a number that'll put your troupe over with a bang! Play it for them, Jerry."

Morris went to the piano and played some introductory chords.

"This is a great break of luck," said Moon, "to have a number already written that fits right into the picture. Of course, I'll polish the lyric up a little more and I want to explain that the boy sings part of the lines, the gal the rest. But here's about how it is. Let's go, Jerry!"

Morris repeated his introduction and Moon began to sing:

"Somewhere in the old world

You and I belong.

It will be a gold world,

Full of light and song.

Why not let's divide our time
Between your native land and mine?
Move from Italy to Spain,
Then back to Italy again?

"In sunny Italy,
My Spanish queen,
You'll fit so prettily
In that glorious scene.
Yet, will sing me "La Paloma";
I will sing you "Cara Roma";
We will build a little home,
a Bungalow serene.

Then in the Pyrenees,
Somewhere in Spain,
We'll rest our weary knees
Down in Lovers' Lane,
And when the breakers roll a
Cross the azure sea,
Espanola, Gorgonzola;
Spain and Italy."

"A wow!" cried Brock. "Congratulations, Jerry ! You, too, Frank !
What do you think of that one, Mr. Hazlett?"

"Very nice," said Hazlett. "The tune sounds like "Sole Mio" and "La Paloma"."

"It sounds like them both and it's better than either," said the composer.

"That one number makes our troupe, Jerry," said Brock.

"You don't need anything else."

"But we've got something else, hey, Frank?"

"You mean "Montgomery"?" said Moon.

"Yeh."

"Let's hear it," requested Brock.

"It'll take a dinge comic to sing it."

"Well, Joe Stein can do a dinge."

"I'll say he can! I like him best in blackface. And he's just the boy to put over a number like this."

Morris played another introduction, strains that Hazlett was sure he had heard a hundred times before, and Moon was off again:

"I want to go to Alabam'.
That's where my lovin' sweetheart am,
And won't she shout and dance for joy
To see once more her lovin' boy !
I've got enough saved up, I guess,
To buy her shoes and a bran'-new dress.
She's black as coal, and yet I think
When I walk in, she'll be tickled pink.

"Take me to Montgomery
Where it's always summery.
New York's just a mummery.
Give me life that's real.
New York fields are rotten fields.
Give me those forgotten fields;
I mean those there cotton fields,
Selma and Mobile.

I done been away so long;
Never thought I'd stay so long.
Train, you'd better race along
To my honey lamb.
Train, you make it snappy till
('Cause I won't be happy till)
I am in the capital,
Montgomery, Alabam'."

"Another knock-out!" said Brock enthusiastically. "Boys, either one of those numbers are better than anything in "Jersey Jane". Either one of them will put our troupe over. And the two of them together in one show! Well, it's M!"

Hazlett mustered all his courage.

"They're a couple of mighty good songs," he said. "But I don't exactly see how they'll fit."

"Mr. Hazlett," said Jerry Morris. "I understand this is your first experience with a musical comedy. I've had five successes in four years and could have had five more if I wanted to work that hard. I know the game backwards and I hope you won't take offense if I tell you a little something about it."

"I'm always glad to learn," said Hazlett.

"Well, then," said Morris, "you've got a great book there, with a good novelty idea, but it won't go without a few changes, changes that you can make in a half-hour and not detract anything from the novelty. In fact, they will add to it. While you were telling your story, I was thinking of it from the practical angle, the angle of show business, and I believe I can put my finger right on the spots that have got to be fixed.

"In the first place, as Louie has told you, he's got a contract with Enriqueta and she won't play any secondary parts. That means your heroine must be Spanish. Well, why not make her uncle her father and have him a Spaniard, running a Spanish restaurant somewhere down-town? It's a small restaurant and he just gets by. He has to use her as cashier and she sits in the window where the people going past can see her.

"One day the boy, who is really an Italian count – we'll call him Count Pizzola – he is riding alone in a taxi and he happens to look in the window and see the gal. He falls in love with her at first sight, orders the driver to stop and gets out and goes in the restaurant. He sits down and has his lunch, and while he is eating we can put in a novelty dance number with the boys and gals from the offices that are also lunching in this place.

"When the number is over, I'd have a comedy scene between Stein, who plays a dinge waiter, and, say, a German customer who isn't satisfied with the food or the check or something. Louie, who would you suggest for that part?"

"How about Charlie Williams?" said Brock.

"Great!" said Morris. "Well, they have this argument and the dinge throws the waiter out. The scrap amuses Pizzola and the gal, too, and they both laugh and that brings them together. He doesn't tell her he is a count, but she likes him pretty near as well as he likes her. They gab a while and then go into the Spanish number I just played for you.

"Now, in your story, you've got a boat scene where the gal is landing from Ireland. You'd better forget that scene. There was a boat scene in

"Sunny" and a boat scene in "Hit the Deck", and a lot of other troupes. We don't want anything that isn't our own. But Pizzola is anxious to take the gal out somewhere and let's see... Frank, where can he take her?"

"Why not a yacht?" suggested Moon.

"Great ! He invites her out on a yacht, but he's got to pretend it isn't his own yacht. He borrowed it from a friend. She refuses at first, saying she hasn't anything to wear. She's poor, see. So he tells her his sister has got some sport clothes that will fit her. He gets the clothes for her and then we have a scene in her room where she is putting them on with a bunch of girl friends helping her. We'll write a number for that.

"Now the clothes he gave her are really his sister's clothes and the sister has carelessly left a beautiful brooch pinned in them. We go to the yacht and the Spanish dame knocks everybody dead. They put on an amateur show. That will give Enriqueta a chance for a couple more numbers. She and Pizzola are getting more and more stuck on each other and they repeat the Spanish song on the yacht, in the moonlight.

"There's a Frenchman along on the party who is greatly attracted by Enriqueta's looks. The Frenchman hates Pizzola. He has found out in some way that Enriqueta is wearing Pizzola's sister's clothes and he notices the diamond brooch. He figures that if he can steal it off of her, why, suspicion will be cast on the gal herself on account of her being poor, and Pizzola, thinking her a thief, won't have anything more to do with her and he, the Frenchman, can have her. So, during a dance, he manages to steal the brooch and he puts it in his pocket.

"Of course Pizzola's sister is also on the yachting party. All of a sudden she misses her brooch. She recalls having left it in the clothes she lent to Enriqueta. She goes to Enriqueta and asks her for it and the poor Spanish dame can't find it. Then Pizzola's sister calls her a thief and Pizzola himself can't help thinking she is one.

"They demand that she be searched, but rather than submit to that indignity, she bribes a sailor to take her off the yacht in a small launch and the last we see of her she's climbing overboard to get into the launch while the rest of the party are all abusing her. That's your first act curtain.

"I'd open the second act with a paddock scene at the Saratoga race-track. We'll write a jockey number and have about eight boys and maybe twenty-four gals in jockey suits. Enriqueta's father has gone broke in the restaurant business and he's up here looking for a job as assistant trainer or something. He used to train horses for the bull-fights in Spain.

"The gal is along with him and they run into the Frenchman that stole the brooch. The Frenchman tries to make love to the gal, but she won't have anything to do with him. While they are talking, who should come up but Pizzola! He is willing to make up with Enriqueta even though he still thinks her a thief. She won't meet his advances.

"He asks the Frenchman for a light. The Frenchman has a patent lighter and in pulling it out of his pocket; he pulls the brooch out, too. Then Pizzola realizes what an injustice he has done the gal and he pretty near goes down on his knees to her, but she has been badly hurt and won't forgive him yet.

"Now we have a scene in the cafe in the club-house and Stein is one of the waiters there. He sings the Montgomery number with a chorus of waiters and lunchers and at the end of the number he and the Spanish gal are alone on the stage.

"She asks him if he is really going to Montgomery and he says yes, and she says she and her father will go with him. She is anxious to go some place where there is no danger of running into the Frenchman or Pizzola.

"The third scene in the second act ought to be a plantation in Alabama. Stein is working there and the negroes are having a celebration or revival of some kind. Louie, you can get a male quartet to sing us some spirituals.

"Enriqueta's father has landed a job as cook at the plantation and she is helping with the housework. Pizzola and his sister follow her to Montgomery and come out to see her at the plantation.

"They are about to go up on the porch and inquire for her when they hear her singing the Spanish number. This proves to Pizzola that she still loves him and he finally gets his sister to plead with her for forgiveness. She forgives him. He tells her who he really is and how much dough he's got. And that pretty near washes us up."

"But how about our Japanese number?" said Moon.

"That's right," Morris said. "We'll have to send them to Japan before we end it. I've got a cherry-blossom number that must have the right setting. But that's easy to fix. You make these few changes I've suggested, Mr. Hazlett, and I feel that we've got a hit.

"And I want to say that your book is a whole lot better than most of the books they hand us. About the fella falling in love with the gal's picture-that's a novelty idea."

Hazlett said good-bye to his producer and collaborators, went home by taxi and called up his bootlegger.

"Harry," he said, "what kind of whiskey have you got?"

"Well, Mr. Hazlett, I can sell you some good Scotch, but I ain't so sure of the rye. In fact, I'm kind of scared of it."

"How soon can you bring me a case?"

"Right off quick. It's the Scotch you want, ain't it?"

"No," said Hazlett. "I want the rye."

Публикуется по:

http://www.aoldbooks.com/en-uk-us/Old_Book_1924/book_p_375.asp

Нора

Ринг Ларднер

— Мистер Хэзлетт, познакомьтесь с Джерри Моррисом и Фрэнком Муном. Полагаю, вы слышаны о них обоих.

Слова эти произнес Луи Брок, антрепренер театра музыкальной комедии, который за два года нажил полмиллиона долларов чистога-ном на популярном обзрении «Джейн из Джерси», музыка Морриса на стихи Муна.

Они собрались в личном кабинете Брока, где на стенах красовались фотографии шести или семи знаменитейших звезд музыкальной комедии с их автографами и приукрашенное до неузнаваемости изображение его супруги, на которой он женился, надо полагать, в беспросветном тумане.

— Мистер Хэзлетт, — продолжал Брок, — написал вещицу, которую задумал как обычную пьесу, но мне сразу пришло в голову, что это великолепный материал для музыкальной комедии, особенно если вы вдвоем подготовите вставные номера. Замысел оригинальнейший, не чета этим музыкальным комедиям, где все повторяется и уже начинает надоедать публике. Вы согласны со мной, Джерри?

— Совершенно согласен, — отвечал творец музыки. — Дайте нам только хороший свежий сюжет, а уж мы с Фрэнком сообразим такую джазовую обработочку, что спектакль не сойдет со сцены, пока сам театр не развалится.

— Ну что ж, мистер Хэзлетт, — сказал Брок, — почитайте-ка нам текст, а потом послушаем мнение мальчиков.

Хэзлетт был очень взволнован, хотя Брок лестно отозвался об его сочинении, а друзья, которым он показывал пьесу, расточали похвалы и поздравления, поскольку ему выпало счастье работать с Моррисом и Муном — тем самым Моррисом, создателем нового стиля в области мелодии и ритма, чья музыка составляет добрых шестьдесят процентов репертуара всех танцевальных оркестров, и тем самым Муном, непревзойденным лирическим поэтом, создателем трехстопных стихов, достойных быстрых триолей Джерри и столь звучных, что никто особенно не стремился вникнуть в их смысл.

— Я сделал попытку отойти от шаблонного изображения судьбы бедной девушки, — сказал Хэзлетт. — У меня героиня вначале бо-

лее или менее обеспечена и постепенно беднеет. Она жертвует всем во имя любви и к финалу соединяется со своим возлюбленным, нищая, но счастливая. Она...

— Прочитайте же текст, — сказал антрепренер.

Хэзлетт дрожащей рукой открыл первую страницу рукописи.

— Так вот, — сказал он, — пьеса называется «Нора», и в первой сцене...

— Минуточку, — перебил его Моррис, — прошу прощения, но я обещал одному малому приехать и поглядеть подержанный автомобиль, «Тринидад» двенадцатого выпуска. Всего восемь тысяч долларов, выгодная сделка, дешевле нигде не купишь, ты как считаешь, Фрэнк?

— По-моему, сделка выгодная, — подтвердил Мун.

— Он будет ждать меня до половины четвертого, а скоро уже три. Поэтому, мистер Хэзлетт, я попросил бы вас, если можно, не читать все подряд, а изложить, так сказать, краткое содержание, чтобы не тратить времени зря, ведь мы с Фрэнком поймем, что к чему, ничуть не хуже, — ты как считаешь, Фрэнк?

— Ничуть не хуже, — подтвердил Мун.

— Что ж, мистер Хэзлетт, — вмешался Брок. — Пожалуй, расскажите, как сумеете, общий замысел пьесы и главные эпизоды.

— Так вот, — сказал Хэзлетт, — я написал обычную пьесу в трех действиях, но когда мистер Брок предложил мне сделать из нее музыкальную комедию, я сократил ее до двух. Начнем с того, что старик, дядя главной героини, ирландец, переселился сюда в возрасте двадцати лет. До тридцати он работал в поте лица и наконец открыл собственную строительную контору. Теперь он преуспевает, но одержим жадностью и не хочет удовлетвориться тем капиталом в три или четыре тысячи долларов, какой ему удалось сколотить. Он сводит знакомство с другим ирландским иммигрантом примерно того же возраста, ловким политиканом, от которого многое зависит при распределении строительных подрядов в крупных городах. У этого человека, по фамилии Коллинз, есть сын Джон, красивый юноша двадцати трех или двадцати четырех лет.

Старик, дядя героини — фамилия их Краули, — лезет из кожи вон, норовит втереться в доверие к старшему Коллинзу, чтобы тот помог ему прибрать к рукам часть городских подрядов, но Коллинз, при

всем своим дружелюбии, не оказывает ему никакой деловой поддержки.

Потом Краули устраивает вечеринку для своих друзей ирландцев, которых у него много в Нью-Йорке, приглашает молодежь и людей своего возраста, и на этой вечеринке юный Коллинз видит портрет прекрасной племянницы Краули, Норы. Сама она живет в Ирландии и никогда еще не бывала здесь. Юный Коллинз спрашивает у Краули, кто это, тот отвечает на вопрос, и юный Коллинз заявляет, что вот единственная девушка, которую он возьмет в жены.

Тут Краули соображает, что если он породнится с Коллинзами, выдав свою племянницу замуж за юного Джона, то приберет к рукам все выгодные подряды в городе. Он телеграфирует Норе и зовет ее к себе погостить. Она приезжает, и все складывается так, как задумал Краули, — Джон и Нора влюбляются друг в друга.

Потом он устраивает званый обед с танцами в честь мэра города, и среди гостей оказывается Дик Персиваль, родом из Англии, который нажил пятьдесят миллионов долларов на торговле сахаром. Он тоже влюбляется в Нору и поверяет свои чувства ее дяде. Старый Краули всю жизнь терпеть не мог англичан, но жадность его столь велика, что он решает разлучить Нору с Джоном и выдать ее за Дика. Нора отказывается, уверяя, что Джон «создан для нее» и она выйдет только за него или вообще не достанется никому.

Краули запрещает ей видиться с Джоном, но она при всяком удобном случае с ним встречается. Между дядей и племянницей завязывается долгая, упорная нравственная борьба, ни тот, ни другая не идут даже на малейшие уступки. Наконец отца Джона, старого Коллинза, уличают в крупном взяточничестве и с позором сажают за решетку. Помимо всего прочего выясняется, что он проиграл свое состояние и Джон остался без всяких средств.

Разумеется, Краули считает, что теперь все решено, у Норы не может быть ничего общего с человеком, чей отец оказался мошенником и к тому же банкротом, он созывает друзей, намереваясь огласить ее помолвку с Диком. Нора этому не противится, но настаивает, чтобы пригласили юного Джона Коллинза. Сразу же после оглашения Нора заявляет, что дядя по ошибке неверно назвал ее жениха: она стала невестой Джона Коллинза в первый же день, как приехала в Соединенные Штаты, и если он не передумал, она принадлежит ему. После этого они с Джоном начинают самостоятельную жизнь, оставив Дика

в горьком разочаровании, а Краули — в безудержной ярости, как и положено старомодному ирландцу.

— Ну, мальчики, — сказал Брок после короткого молчания, — что вы об этом думаете?

«Мальчики» не отвечали.

— Если угодно, — сказал Брок, — для полноты впечатления можно взять вечеринку у этого, как бишь его, старика, сцену на пристани, когда девушка приезжает из Ирландии, обед в честь мэра, предположим, в каком-нибудь отеле, и вторую вечеринку у этого, как бишь его, старика, только теперь уж в его загородной усадьбе, на свежем воздухе. Пускай юноша исполнит любовную песенку перед портретом девушки, которой он никогда не видел: это и будет ведущая мелодия для всей постановки. А девушка исполнит любовные дуэты с ним и с тем англичанином. Можете сочинить песенку вроде «Истсайд, Вестсайд», которая прозвучит на обеде в честь мэра.

Можно потрясающе обработать сцену на пристани, где люди всех национальностей встречают своих родных и друзей. И при этом как угодно широко использовать все лучшие ирландские мотивы, какие только есть на свете.

— А где же комическая роль? — осведомился Моррис.

— Мистер Хэзлетт забыл про нее упомянуть, — сказал Брок. — Там есть еще старик ирландец, друг этого, как бишь его, дядюшки.

— Нынешней, публике не нравятся ирландские комические персонажи, — сказал Моррис. — Нельзя ли сделать его итальяшкой или евреем?

— Но ведь тогда придется переписать всю роль, — сказал Хэзлетт.

— Нет, это ни к чему, — сказал Моррис. — Оставьте все по-прежнему, измените только форму.

— Право, будет лучше, — ввернул Брок, — если вы сделаете его евреем или даже голландцем. И еще мне нужна роль для Джо Стейна, но имейте в виду, турка он не сыграет, провалится с треском.

— Послушайте, — сказал Моррис. — А как же быть с Энрикетой?

— Черт возьми! Я совсем позабыл о ней! — воскликнул Брок. — Разумеется, надо и ей дать развернуться.

— А кто она такая? — спросил Хэзлетт.

— Самая очаровательная девушка во всей Испании, — ответил Брок, — Я привез ее сюда и плачу ей две тысячи долларов в неделю, а она совсем не выступает. Придется вам написать роль и для нее тоже.

— И для нее тоже! — воскликнул Моррис. — Да она согласится играть только главную героиню или вообще не станет играть.

— Но как же испанка сыграет Нору Краули? — спросил Хэзлетт.

— А на что вам сдалась эта Нора Краули? — возразил Моррис.
— На что вам вообще ирландка?

— Ведь дядя ее ирландец.

— Пускай он тоже будет испанцем.

— Правильно, и еще вот что, — сказал Мун. — Пускай девушка и ее дядя будут испанцами, а парень итальяшкой. Если вы согласитесь, у нас с Джерри есть номер, который принесет сенсационный успех! Сыграй-ка им, Джерри.

Моррис подошел к роялю и взял несколько вступительных аккордов.

— Ведь это неслыханная удача, — сказал Моррис, — вот вам готовый номер, который идеально подходит для соответствующей сцены. Конечно, потом я окончательно отшлифую стихи, и, кроме того, учтите, что часть куплетов поет юноша, а остальные девушка. Но пока послушайте, как это звучит. Начали, Джерри!

Моррис снова сыграл вступление, и Мун запел:

Наши края родные
Вдвоем посетим мы вновь,
Наши края золотые,
Где песни, свет и любовь.

Почему ж не жить, ей-ей,
Нам на родине твоей
И на родине моей?
То в Испанию поедем,
То в Италию,
И назад вернемся,
И так далее.

Там, под солнцем итальянским,
Суждено тебе блистать,

Ведь жемчужине испанской
Этот дивный край под стать,
Будешь петь ты «La Paloma»
Буду петь я «Cara Roma»
И себе гнездо сошьем мы,
Станем жить да поживать,

И опять в Испанию,
Ввысь, на Пиренеи,
Тяжки испытания,
Но любовь сильнее,
Покорю с тобой Эола
И морские дали я —
Эспаньола, горгонзола,
Испания, Италия.

— Блеск! — вскричал Брок. — Поздравляю тебя, Джерри! И тебя, Фрэнк! А как ваше мнение, мистер Хэзлетт?

— Очень мило, — сказал Хэзлетт. — Мелодия напоминает «Мое солнышко» и «Голубку».

— Она напоминает сразу и то и другое, но гораздо лучше обоих вместе, — сказал композитор.

— Одного этого довольно для спектакля, Джерри, — сказал Брок. — Больше ничего и не потребуется.

— Ноу нас есть еще кое-что, верно, Фрэнк?

— Это ты про «Монтгомери»? — спросил Мун.

— Ну да.

— Давайте послушаем, — предложил Брок.

— Но петь должен комик в роли негра.

— Вот Джо Стейн и сыграет негра.

— Это точно! Он мне больше всего нравится черномазым. И такой номер как раз по нему.

Моррис сыграл еще одно вступление, вроде тех, какие Хэзлетт слышал уже сотню раз, и Мун снова начал:

В Алабаму еду я,
Там красотка ждет моя,
Как дождется встречи нашей,
Так от радости запляшет.

Я сумел денегат скопить,
Чтоб наряды ей купить,
И на щечках смуглых тут
Словно розы расцветут.

В Монтгомери уедем мы,
И солнца свет увидим мы,
Нью-Йорк ведь ненавидим мы,
Так в путь же поскорей!
Нью-Йорк дрянная сторона,
Но есть, я знаю, сторона,
Совсем иная сторона
Средь хлопковых полей.

А я так долго жил вдали,
Совсем один бродил вдали,
От любви я был вдали,
Изнывал с тоски,
Лети же, поезд, мчи вперед
(Ведь я уж счастлив наперед),
Монтгомери, Алабама
Вот уже близки.

— Опять же сногшибательно! — воскликнул Брок с восторгом.
— Мальчики, любой из этих номеров даже сравнить нельзя с «Джейн из Джерси». Любой из них будет гвоздем всей нашей программы. А оба вместе! Да у меня слов нет!

Хэзлетт собрал все свое мужество,.

— Конечно, это великолепные песни, — сказал он, — но мне не совсем ясно, как их использовать.

— Мистер Хэзлетт, — сказал Моррис, — насколько я понимаю, вы в музыкальной комедии новичок. А я за четыре года пять раз имел настоящий успех и мог бы иметь еще пять раз, стоило мне только приналечь. Я это дело знаю до тонкости и надеюсь, вы не обидитесь, если я вам кое-что объясню.

— Я всегда рад выслушать полезные советы, — сказал Хэзлетт.

— Так вот, — сказал Моррис, — вы написали замечательную вещь с увлекательным, свежим замыслом, но необходимы кое-какие переделки, вы справитесь с этим всего за полчаса, и свежесть замысла

нисколько не пострадает. В сущности, вещь ваша только выиграет. Когда вы пересказывали содержание, я обдумывал вопрос с практической стороны, со стороны деловой, без чего немислимы никакие зрелищные предприятия, и думается мне, я могу сразу указать, куда именно нужно внести исправления.

Прежде всего, как уже говорил Луи, у него контракт с Энрикетой, а она не согласится выступать на вторых ролях. Значит, ваша героиня должна быть испанкой. Собственно говоря, чем плохо, если вместо дяди в пьесе будет выведен ее отец, испанец, хозяин испанского ресторанчика где-нибудь в центре города? Ресторанчик у него скромный, и он только-только сводит концы с концами. А она работает кассиршей и сидит возле окна, на виду у прохожих.

В один прекрасный день некий юноша, итальянский граф, — назовем его графом Пиццола, — в одиночестве проезжает мимо на такси, случайно заглядывает в окно и видит девушку. Он влюбляется в нее с первого взгляда, останавливает такси, выходит и спешит в ресторанчик. Там он садится, заказывает завтрак, а пока он ест, можно показать оригинальный номер, танец юношей и девушек, конторских служащих, которые тоже пришли сюда позавтракать.

После танца я ввел бы комическую сценку, которую разыгрывают Стейн в роли негра-официанта и какой-нибудь посетитель, скажем, немец, недовольный блюдами, или счетом, или еще чем-нибудь. Луи, кого вы можете предложить на эту роль?

— Что вы скажете о Чарли Уильямсе? — спросил Брок.

— Великолепно! — воскликнул Моррис. — Так вот, вспыхивает ссора, и негр вышвыривает его за дверь. Потасовка забавляет Пиццола и девушку, оба смеются, и это способствует их знакомству. Он скрывает от нее свой графский титул, но она расположена к нему ничуть не меньше, чем он к ней. Поболтав немного, они поют испанскую песенку, которую я вам сыграл.

Далее, у вас там есть сцена на борту корабля, когда девушка приплывает из Ирландии. Так вот, лучше забудьте про эту сцену. Такая сцена была в «Весельчаке» и в «На абордаж!», и повторялась еще множество раз. А нам нужна оригинальность. Но Пиццола хочет показать девушку, и надо подумать... Фрэнк, на чем бы им прокатиться?

— Почему бы не прокатиться на яхте? — предложил Мун.

— Великолепно! Он приглашает ее на яхту, но вынужден делать вид, будто яхта эта не его. Просто он взял ее у одного друга. Сначала

девушка отказывается и объясняет, что у нее нет подходящего костюма. Ведь она бедна, понимаете? Но он говорит, что у его сестры есть спортивный костюм, который придется ей как раз впору. Потом он приносит костюм, и дальше следует сцена у нее в комнате, где она примеряет этот костюм с помощью своих подружек. Мы сочиним подходящую песенку.

А костюм действительно принадлежит его сестре, и та по рассеянности забывает снять приколотую к нему драгоценную брошь. И вот перед нами яхта, где прекрасная испанка всех сводит с ума. Собравшиеся разыгрывают любительский спектакль. Это дает возможность Энрике исполнить еще несколько номеров. Она и Пиццола влюбляются друг в друга все сильнее и снова поют испанский дуэт на яхте, при свете луны.

Среди участников прогулки оказывается один француз, которому Энрикета приглянулась. Француз этот ненавидит Пиццола. Он каким-то образом пронюхал, что Энрикета надела костюм сестры Пиццолы, а теперь замечает бриллиантовую брошь. И вот он замышляет похитить брошь, ведь тогда подозрение падет на девушку, потому что она бедна, Пиццола сочтет ее воровкой, отвергнет навсегда, и она достанется ему, французу. Во время танцев он похищает брошь и прячет в карман.

Разумеется, сестра Пиццолы тут же, на яхте. Вдруг она спохватывается и начинает искать свою брошь. Вспоминает, что брошь приколата к костюму, который надела Энрикета. Она подходит к Энрике и спрашивает свою драгоценность, которую бедная испанка не может найти. Тогда сестра Пиццолы обзывает ее воровкой, и сам Пиццола поневоле вынужден этому поверить.

Они требуют обыскать ее, но она не может вынести такого позора, подкупает одного из матросов, который соглашается отвезти ее на берег в уютной лодочке, — и на прощанье мы видим, как она перелезает через борт, а все вокруг дружно ее срамят. Занавес, конец первого действия.

Второе действие я начал бы с волнующей сцены на ипподроме в Саратогге. Мы подготовим жокейский номер, в котором будут участвовать примерно восемь юношей и, скажем, двадцать четыре девушки в жокейских костюмах. Отец Энрикеты разорился, ресторанчик его пошел с молотка, и теперь он хочет устроиться здесь помощником

тренера или еще кем-нибудь в этом роде. Когда-то, в Испании, ему случилось готовить лошадей для боя быков.

Девушка приехала с ним вместе, и они случайно встречаются того француза, который похитил брошь. Француз пытается приударить за девушкой, но она знать его не желает. И во время их разговора появляется не кто иной, как сам Пиццола! Он хочет помириться с Энрикетой, хотя по-прежнему считает ее воровкой. Она отвергает его заигрывания.

Он просит у француза прикурить. Француз достает из кармана патентованную зажигалку и вместе с ней случайно вытаскивает брошь. Тут Пиццола понимает, как несправедливо он обвинил девушку, и готов упасть перед ней на колени, но она оскорблена в лучших чувствах и еще не может его простить.

Затем следует сцена в кафе клуба, где Стейн работает официантом. Он исполняет песню про Монтгомери в сопровождении хора официантов и посетителей, после чего они с юной испанкой остаются на сцене вдвоем.

Она спрашивает, действительно ли он собирается в Монтгомери, он подтверждает это, и она говорит, что последует за ним вместе со своим отцом. Ей не терпится уехать куда-нибудь, где ей не грозит опасность встретить француза или Пиццолу.

Третья сцена второго действия развертывается на плантации в Алабаме. Стейн устроился там работать, и в этот день у негров праздник или какой-то торжественный обряд. Луи, ты можешь подыскать мужской негритянский квартет, который исполнит их духовные гимны.

Отец Энрикеты работает на плантации поваром, а сама она становится домашней прислугой. Пиццола вместе с сестрой тоже приезжает в Монтгомери, они разыскивают девушку на плантации.

Они уже готовы подняться на веранду и справиться о ней, но вдруг слышат, как она поет испанскую песню. Теперь Пиццола убежден, что она по-прежнему его любит, и посылает сестру вымолить у нее прощение. Она его прощает. Тогда он открывает ей свой титул и рассказывает о своем богатстве. Ну вот на этом, пожалуй, можно и закруглиться.

— А как же японский номер? — спросил Мун.

— Ах да! — сказал Моррис. — Надо будет перед финалом отправить их в Японию. У меня есть песенка про вишни в цвету, она со-

здаст нужное настроение. Но это легче легкого. Мистер Хэзлетт, вы внесете маленькие поправки, которые я предложил, и думается мне, успех обеспечен.

А вообще должен сказать, что ваша пьеса несравненно лучше большинства пьес, которые нам предлагают. Юноша влюбляется в портрет девушки — поистине, это оригинальный замысел.

Хэзлетт распрощался с антрепренером и со своими соавторами, поехал домой на такси и позвонил знакомому который тайно снабжал его спиртными напитками.

— Гарри, — сказал он, — каким сортом виски ты располагаешь?

— Извольте, мистер Хэзлетт, я готов продать вам недурное шотландское виски, а вот насчет самогона не уверен. Признаться, я побаиваюсь.

— Когда ты можешь доставить мне целый ящик?

— Да хоть сейчас. Ведь вы желаете шотландского?

— Нет, — сказал Хэзлетт. — Я жажду самогона.

Перевод В. Хинкиса

Публикуется по: Ларднер Р. Новеллы. М., 1975

Юмор Франции

Le Standing. Le savoir-vivre selon Bérurier

San-Antonio (Frédéric Dard)

[...]

CHAPITRE PREMIER

DANS LEQUEL BÉRURIER DÉVOILE LES RAISONS AYANT MOTIVÉ SON INTÉRÊT POUR LES BELLES MANIÈRES

La première des politesses consistant à plaire à ses semblables, je m'efforce toujours de leur proposer une physionomie très soignée.

— Je vous laisse les pattes à cette hauteur? questionne mon merlan en me virgulant dans la glace un regard à la fois interrogateur, aimable et soucieux.

Je lui dis de les raccourcir d'un centimètre et je m'appête à poursuivre la fascinante lecture d'un Ici-Paris (style de la manchette : « Ça craque entre Tony et Margaret ») lorsqu'une voix familière éclate dans le salon où flottait jusqu'alors un ronron de bon ton.

— Y aurait pas une frangine pour me faire les paluches ?

Du coup, j'abandonne la pauvre chère Margaret à ses misères conjugales et je file un coup de périscope alentour.

Je ne tarde pas à découvrir Bérurier, affalé dans un fauteuil comme un cachalot frais pêché dans une barque. Sa trogne enluminée est mise en valeur par le peignoir bleu pervenche dont on a affublé le Gros.

— Monsieur désire une manucure ? finit par traduire son garçon coiffeur.

— Yes, mon pote, rétorque le Mastar. Je voudrais me payer les pognes à M'sieur le baron pour voir si elles m'iraient.

— Manucure ! glapit le pommadin qui possède une superbe voix d'eunuque-assis-sur-une-plaque-chauffante.

Une petite brunette délurée radine du sous-sol en coltinant son nécessaire.

— C'est pour Môssieur ! désigne le zig qui a touché le Gros, en réprimant une grimace hautement répulsive.

Pas bégueule, la gamine s'assied à la hauteur des genoux béruriers. Lors, le Monstrueux lui présente sa dextre avec une certaine noblesse de geste : Louis XIV congédiant un quémandeur !

— V'là l'objet, ma gosse ! déclare-t-il.

En matant le truc infâme qu'on lui propose, la pauvrete a un sursaut et son front s'emperle de sueur. Faut convenir que la pogne à Béro c'est pas de l'article courant. Imaginez une masse sombre, large comme une assiette, épaisse comme douze escalopes, velue et sillonnée de cicatrices. Les doigts en sont courts et larges : chaque jointure est fleurie d'une écorchure sanguinolente, consécutive à quelque récent passage à tabac, mais le bout de l'horreur ce sont les ongles. Durs comme silex, ils sont largement endeuillés et plus ébréchés qu'un cendrier de bistrot.

La petite manucure examine la main, puis son possesseur et file un regard-S.O.S. au coiffeur pour lui demander de l'aide. Mais le vilain surnois feint de l'ignorer. Non-assistance à personne en danger, ça pourrait lui coûter chérot !

— C'est-y que vous allez pouvoir vous arranger avec ça, mon petit cœur ? interroge Béro avec un rien d'anxiété dans l'inflexion.

La Française, elle est ce qu'elle est : un peu linotte, rapide du réchaud et tout, mais côté héroïsme elle craint personne, voyez Yvonne de Gallard, par exemple. Au lieu de s'évanouir ou de s'enfuir, Mamezelle Paluche cramponne l'entrecôte du Gros et la plonge dans un bol de flotte.

— Mais qu'est-ce que vous faites ? s'égosille l'Enorme dont les rapports avec l'eau sont très tendus.

Elle lui explique que c'est pour ramollir. Il est renfrogné, Béro. S'il avait su, il n'aurait pas cédé à cette fantaisie. L'eau du bol se teinte rapidement et devient fangeuse.

La manucure, qui a son franc-parler, proteste :

— Vous auriez peut-être pu vous laver les mains avant !

— Et puis quoi z'encore, mon petit chou ! rigole l'Enflure. Y faudrait aussi que je prisse un bain parce que vous allez me rogner les griffes ?

Courageuse, elle se met au turf. C'est pas à la lime, mais à la meule à métaux qu'il faudrait les passer, les ongles de Bérurier. De la corne, mes amis, de la corne d'auroch.

— Vous n'êtes pas décalcifié ! ahane la môme.

— Je me décalcifie à mes heures, plaisante Sa Majesté qui se plaît à cultiver l'humour sur l'appui de sa fenêtre.

Dure séance ! La lime geint comme une scie rouillée dans une bûche. Le pommadin s'est arrêté de lotionner les miettes à ressort de son client pour mater la séance en toute tranquillité. Ses collègues innocupés s'approchent à leur tour. Faut dire que c'est spectaculaire dans son genre. Ça ne manque pas de grandeur, cet élagage. Ce qui frappe, c'est la ma-

nucure toute menue, aux prises avec cette main puissante, faite pour broyer, pour arracher, pour enfoncer, pour écraser, pour déraciner, pour malaxer, pour tuméfier, pour décortiquer, pour assommer, pour détruire, pour édent-er, pour fendre, pour pourfendre, pour défendre et pour vaincre. Fragile, elle paraît, la limeuse. Les dents crispées, les narines pincées, les lèvres ouvertes sur un rictus d'athlète fournissant son effort suprême, elle râpe les extrémités de l'ongulé avec conscience, force et courage. Superbe, sublime, généreuse ! C'est l'énergie française dans toute sa grandeur ! Bravo Jehanne d'Arc ! Elle casse sa grosse lime numéro zéro, zéro, zéro, un (la même qu'employait Balzac pour s'arrondir les ongles des pinceaux). Qu'à cela ne tienne : on lui en passe une autre !

Ça pleut gris sur sa blouse mauve ! Y en a bientôt un tas haut comme ça de rognures, sur le dallage du salon. Mais faut voir la transformation paluchesque du Gravos ! Les uns après les autres, ses ongles nettoyés, ovalisés, laqués, polis, émergent de leur gangue sanieuse, fruits éclatants enfin épluchés, mis au jour pour la première fois ! Il en est troublé et confondu, Béru, inquiet aussi. Il considère cette main neuve qui lui est étrangère, doutant qu'elle lui appartienne, l'essayant comme on fait jouer un gant pour en assouplir la peau aux articulations.

Lorsque sa main droite est terminée, il l'oppose à la gauche et hoche la tête.

— Pas d'erreur, y a de la transformation à l'étalage, murmure-t-il.

Une pogne de ramoneur et une autre de notaire. Une main de vidangeur et une main de masseur. La droite d'un chirurgien et la gauche d'un mineur de fond ! L'assistance pousse des cris d'admiration. Quelqu'un applaudit ! La petite manucure profite de la pause pour boire une tasse de thé. Un garçon l'évente avec une serviette. Le patron de la boîte téléphone pour lui commander des violettes (y a longtemps qu'il voulait lui proposer la botte, justement).

— Pas trop fatiguée ? on demande à la pauvrete.

— Non, non, qu'elle répond en branlant la tête.

Telle la courageuse chèvre de Monsieur Seguin, la voilà qui repart au combat après s'être talqué les mains et avoir respiré des sels. Ah, la vaillante petite ! Le gars qui l'épousera aura une compagne valeureuse, je vous le dis. Quelle noblesse dans l'effort ! Quelle tranquillité dans le courage ! Une telle conscience professionnelle dans la tâche rebutante qui lui est imposée, un tel déterminisme dans le travail, c'est inouï, c'est beau, c'est

grand, ça dépasse, ça va loin, ça confond, ça bouleverse ! Faut avoir fait du yoga, ou être gaulliste inconditionnel pour faire montre de cette abnégation.

Un vieux beau qu'on déguise, à coups de teintures et de massages, en vieux daim en sanglote sous son masque astringent. Même que son magicien s'affole en bramant que si jamais une poche d'eau se déclare dans le masque, le monsieur aura des valoches à soufflet sous les lampions.

La seconde main naît plus lentement. La manucure-accoucheuse est freinée par l'épuisement physique. Malgré sa volonté et sa vaillance, elle subit le coup de pompe inévitable. Sa lime semble s'enliser. Elle est à deux doigts (si j'ose dire) de la défaillance. La syncope la guette. Le patron lui demande si elle souhaite une remplaçante, mais non, farouche, elle s'obstine. Elle achève l'auriculaire, le plus petit mais le plus pénible because ses fonctions cureuses dans les cages à miel du Gros. Puis elle passe à l'annulaire. Beau doigt, cet annulaire gauche, ennobli par son alliance. Le poil y est soyeux, les jointures moins écorchées que celles des autres salsifis ; visiblement c'est son doigt préféré, son choucou. C'est lui qui annonce aux populations que le Béro est marida et ça lui vaut un régime de faveur. Le Gros l'épargne. Ne se le colle ni dans les étiquettes, ni dans les fosses nasales, ni dans le nombril. Ne le trempe pas dans le potage pour voir s'il est chaud. Ne lui fait explorer aucun orifice étranger. Ne l'utilise pas pour traquer ses pellicules, presser ses bubons ou affoler ses lentilles de broussaille. Cet annulaire gauche, c'est son protégé. C'est l'ongle de ce valeureux doigt qu'il grignote dans les périodes d'énervement ; c'est sur lui qu'il fait ses multiplications au crayon-bille lors de ses déclarations d'impôts.

Le parer, l'achever, lui assurer l'éclat du neuf est une tâche relativement aisée. Ça permet à la gentille damoiselle de récupérer. S'étant quelque peu reprise, elle part à l'assaut du médium. Un défricheur, celui-là ! Un investigateur portant témoignage de ses investigations. On dirait qu'il a davantage servi que ses compagnons d'infortune. C'est le doigt béruréen type ! Le hardi ! Le meneur ! Toujours prêt à se recroqueviller pour faire le coup de poing ! Dur à la tâche ! Plein de taches ! Coupé, épluché, craquelé, engelluré. Un fier débris ! Il fut cassé et se ressouda en pas de vis ! Il résista à tous les panaris ! A tous les coups de marteau ! A toutes les flammes de briquet ! Un survivant perpétuel, quoi ! Y en a comme ça qui se font coincer dans des portières, ou prendre dans des courroies de transmission et qui demeurent malgré tout ! Belliqueux avec ça, et polisson, faut voir (Béro est ambidextre) !

La lime mord et mord encore dans un grand gémissement un peu sifflant. Elle rogne et grogne et taille et façonne ! L'ongle s'arrondit, se met — ô magie ! — à ressembler à un ongle. Quand Miss Patte-de-Velours l'a terminé, elle essuie la sueur qui ruisselle sur sa frimousse blêmissante.

— Allons, ma gosse, encourage le Mastar, plus qu'un et c'est classe !

— Mais non, il en reste encore deux, rectifie-t-elle d'une voix expirante.

— Pas le pouce, je le garde commak. Faut un témoin pour montrer ce que mes pognes ressemblaient avant.

Ravie de l'aubaine, la manucure se cogne l'index indésirable. Un index qu'on peut montrer du doigt !

L'opération défrichage se termine le mieux du monde (et de ses satellites immédiats). Je crois le moment opportun pour me manifester et, débarrassé de quelques millimètres de cheveux, je m'avance vers Sa Majesté.

— La prochaine fois que tu voudras te faire faire les ongles, va de préférence trouver un maréchal-ferrant, je conseille.

— San-A ! s'égosille mon compère, toi z'ici !

— C'est ta présence à toi qui paraît la plus insolite, affirmé-je ; d'où te vient ce brusque souci d'élégance ?

Il me cligne de l'œil.

— Je t'en cause dans un instant, attends qu'on me termine. Si tu troubles mon merlan, il va rater ma finition.

L'autre pédoque proteste qu'avec sa maestria proverbiale il lui en faut plus que ça pour lui faire loper un monsieur. Il serait capable de faire une taille-rasoir pendant un tremblement de terre, ce chéri.

Tout en protestant, il branche le séchoir sur la frime du Gravos qui s'affole.

— Il va me faire bouillir le cervellet avec son pistolet à air chaud, brame mon compagnon.

Il se trémousse, sacre, éternue, vitupère. Il dit que ce salon est une annexe de Sing-Sing ; un oubli de la Gestapo. Il s'empourpre. Il expectore. Enfin la séance s'achève et on le délivre de son fauteuil, de son peignoir, de son bavoir. Le voici libre et beau. Lotionné, talqué comme un derrière de nourrisson, parfumé, toiletté, rogné, superbe.

— Formidable ! bée-je en découvrant sa tenue dévoilée brusquement comme une statue inaugurée.

Il porte un complet bleu croisé, impec. Une chemise blanche, une cravate gris perlouze. Ses souliers noirs et neufs craquent comme s'il foulait des biscuits secs.

— Brummel ! dis-je abasourdi.

Il a l'élégance noble mais immodeste, le Gros. Il roule des mécaniques, fait ses jambes Louis XV et papillotte des paupières par-dessus son œil de plâtre.

Jamais, au grand jamais, je ne l'ai vu fringué avec autant de recherche et de discrétion. Jusqu'alors, ses tentatives vestimentaires demeurèrent très zavatesques, son vice étant les gros carreaux (vert et rouge de préférence). Plus ils étaient larges, plus il bichait, Béru. Il lui arriva même de porter des carreaux à carreaux !

— Tu es reçu à l'Elysée ? je demande, comme nous sortons du salon après une distribution de confortables pourboires.

— Mieux ! répond-il mystérieusement.

— Oh ! Oh ! La reine d'Angleterre ?

— Presque !

Le père laconique oblique tout naturellement vers un bistrot et se laisse choir sur la moleskine d'une banquette.

— Je donne ma langue au chat, déclaré-je en l'imitant.

Taquin de nature, il attend d'avoir éclusé son verre de Brouilly avant d'éclairer ma lanterne sourde.

— C'est toute une histoire, San-A. Imagine-toi que je fornique dans la noblesse à c't'heure.

J'en ai des picotements dans la moelle épinière.

— Toi !

— Moi !

Il tend sa main manucurée devant lui et fait miroiter ses ongles vernis dans le néon du troquet.

— Que je te dise primitivement que depuis quèques jours je suis seul à Paname.

— Ta Berthe t'a quitté ?

— Elle est allée faire une cure à Brides-les-Bains pour essayer de récupérer sa taille de guêpe.

— Mais c'est le grand bouleversement familial, alors ! m'exclamé-je, le ménage se fait recarrosser !

— C'était nécessaire, plaide Béru. Imagine-toi que Berthy était devenue si importante que pour lui présenter mes civilités j'étais obligé de

baliser le parcours ! L'autre matin, v'là qu'elle grimpe sur notre bascule et qu'elle se met à rouscailler comme quoi y avait plus d'aiguille ! Tu parles ! Cette pauvre aiguille avait été effarouchée par son poids et était allée se planquer de l'autre côté du cadran, la pauvrete. La bascule marque jusqu'à cent vingt, au-delà c'est le mystère ! Quand t'arrives à plus savoir combien tu pèses, San-A, faut décréter l'état d'urgence, non ? Ou alors tu perds le contact avec toi-même !

Sur ces fortes paroles, mon camarade-philosophe sollicite une seconde tournée de la haute bienveillance du garçon.

— Tout ça ne m'explique pas ta copulation avec l'aristocratie, Gros.

— J'y arrive. L'autre matin, je charge donc ma Berthe dans le train, et voilà que je prends un bahut. J'ouvre une portière du taxi au moment où ce qu'une personne ouvrait l'autre et voilà qu'en chœur nous crions : « Rue de la Pompe ! » On se regarde et on éclate de rire. Au premier coup de saveur j'avais repéré la dame du monde. Alors moi, tu me connais : galant comme pas un, au lieu de la virer comme j'eusse été en droit de le faire puisque j'étais un homme et qui plus z'est un policier, je lui dis, en faisant ma voix de velours à suspension pneumatique : « Chère mahame, puisqu'on va z'au même endroit, voyageons z'ensemble. » Elle hésite, puis, comprenant qu'elle a affaire à un gentelmant, elle finit par accepter.

« De la Gare de Lyon à la rue de la Pompe, c'est quasiment tout Pantruche qu'on traverse. Aux heures de pointe, ça va chercher sa plombe. J'ai eu mon temps pour lui caser ma séance charmeuse, fais-moi confiance. Ce que je lui ai bonni, j'en sais plus rien, toujours est-il qu'arrivés rue de la Pompe, la v'là qui m'invite à écluser un gorgeon dans sa crèche. Du coup j'en ai réglé la moitié de la course ! Son immeuble, faut voir ! De la pierre de taille, avec des fenêtres tellement hautes que si elles seraient au rez-de-chaussée on pourrait en faire des portes ! Tapis dans l'escadrin et ascenseur avec un banc de velours pour les ceux qui redoutent le vertige. Tu mords le topo ? »

Il boit son second verre et place une traînée rouge sur sa cravate grise.

— Nous voilà devant sa porte : une seule à l'étage, je te fais remarquer, avec paillasson grand luxe comportant les initiales de la dame. Au lieu de sortir ses clés, elle sonne. Et qu'est-ce qui nous ouvre ? Un larbin en gilet rayé.

« Bonjour, madame la comtesse », qu'il fait, l'esclave.

Moi je mate la dame, un peu siphonné sur les bords.

Elle me sourit.

« Comtesse Troussal du Trousseau », elle se présente. Et de me faire entrer dans un salon où ce que tous les meubles avaient l'air de descendre de cheval. On a beau être républicain de bas en haut, on est toujours impressionné par la noblesse et le style Louis XV, faut reconnaître. Le blaze à tiroir, ça produit son petit effet même à l'époque des missiles et des demi-sels. J'en oubliais d'allonger mon pedigree et ça la tracassait, la comtesse.

« A qui c'est que j'ai l'honneur de causer ? » qu'elle me susurre, à bout d'impatience.

Je manque de m'étrangler, d'autant qu'y avait aux murs toute une flopée de mironçons peints à l'huile (Lesieur vous l'offre) qui me détranchaient méchamment comme une concierge matant un toutou en train de se soulager sur son paillason des dimanches. Des gus pas frivoles du tout, avec des nazes et des yeux pointus. C'est ça qui caractérise la gentry, Gars : elle est pointue.

Empêtré, je me dis « T'as gaffé, Gros. Convoyer une comtesse jusqu'à sa niche sans s'être nommé, ça fait rotule. » C'est pourquoi je me casse en deux dans le sens de la longueur et je dégoise en prenant ma voix enchantresse numbre oane : « Alexandre-Benoît Bérurier, Mahame. » C'est dans ces cas-là, mon pote, que tu félicites papa de t'avoir cloqué un prénom composé. Ça compense un brin la sécheresse de ton blason. Un tiret c'est peu de chose, mais c'est déjà comme qui dirait un cousin issu de germain de la particule, t'admetts ?

J'admetts volontiers et je le laisse poursuivre, puisqu'il est en pleine verve.

« Bérurier, Bérurier, qu'elle gazouille, ne seriez-vous t'y point apparenté aux Montgoulot du Bérurier-Viandox de la branche cadette ? »

Tu parles si je saute sur l'occase à pieds joints.

« Exactement, ma comtesse, je m'empresse. Je serais comme qui dirait un petit-neveu en provenance du garde-chasse du château ». Tu comprends, San-A, je tenais à garder tout de même mes distances. Un peu de raisin bleu, je dis pas, ça fait fripon. Mais particulé à part entière j'ai pas osé. L'idée du garde-chasse elle m'est surgie d'un film english intitulé l'Amant de lady Chatte à lait. La comtesse, j'ai cru qu'elle piquait sa pâmoison fin de race sur le canapé.

« Seigneur, comme c'est romantique », qu'elle gloussait. « J'en ai le cœur qui bat ». Alors tu sais ce qu'elle a fait ? Elle m'a pris la pogne et s'en est fait un cataplasme, histoire de me prouver comment qu'il cognait, son

palpitant. J'ai profité pour palper l'emballage et m'assurer que ses pare-chocs à poumons sortaient pas de chez Dunlopillo. Mais mes craintes étaient pas fondées : du sincère, c'était. Avec de la tenue.

[...]

Публикуется по:

<http://www.rulit.me/books/le-standinge-le-savoir-vivre-selon-b-read-261920-1.html>

Стандинг или правила хорошего тона

Сан-Антонио (Фредерик Дар)

Правила хорошего тона в изложении главного инспектора полиции Александра-Бенуа Берюрье
(курс лекций)

[...]

Глава 1

В которой Берюрье раскрывает причины, пробудившие в нем интерес к правилам хорошего тона

Поскольку главное правило хорошего тона состоит в том, чтобы нравиться себе подобным, я всегда обращаю внимание на свой внешний вид.

— Вам на таком расстоянии оставить височки? — спрашивает любезным и вместе с тем озабоченным тоном мой брадобрей, вопрошающе глядя на меня в зеркало.

Я прошу его поднять их на сантиметр повыше и хочу продолжить увлекательное чтение программы радио на неделю «Говорит Париж» (меня заинтересовал заголовок «Все лопнуло между Тони и Маргарет»), как вдруг салон, который обдувался ветерком светского воркованья, наполнился раскатами хорошо знакомого голоса:

— Девочки, кто мне может привести в порядок рульки?! Тут я оставляю бедняжку Маргарет со своими семейными неурядицами и, как через перископ, в зеркало оглядываю салон.

В мое поле зрения попадает Берюрье, развалившийся в кресле, как пойманный кашалот в лодке. Из бледно-голубого с сиреневым оттенком пеньюара, в который обрядили Толстяка, торчит его красная физиономия.

— Месье нужна маникюрша? — переводит на нормальный язык его мастер.

— Иес, приятель, — поясняет Боров. " Я желаю, чтобы мне сделали мои лапы на манер баронов: хочу посмотреть, как я буду выглядеть.

— Маникюрша! — визгливо кричит брадобрей голосом евнуха, сидящего на раскаленной плите.

Откуда-то резво семенит брюнетка небольшого росточка.

— Обслужи этого асподина! — дотронувшись рукой до плеча Толстяка, говорит цирюльник, едва сдерживая высоко-непочтительную гримасу.

Без лишних вопросов малышка садится на стульчик на уровне колен Берюрье. Тогда Чудовище жестом, не лишенным некоторого благородства, протягивает ей свою десницу: вылитый Людовик XIV, отмахивающийся от попрошайки.

— Вот предмет, дочка! — заявляет он.

Взглянув на этот «предмет», бедняжка подскакивает на своем стульчике, а ее лоб покрывается бисеринками пота. Надо признать, что «лапку» Берюрье нельзя отнести к разряду предметов ширпотреба. Представьте себе темную массу размером с тарелку и толщиной с дюжину отбивных, обросшую волосами и изборожденную шрамами, с короткими толстыми пальцами, покрытыми ссадинами, оставшимися после последней драки. Но самое ужасное — ногти. Твердые как кремль, зазубренные и обломанные больше, чем ресторанные пепельницы, они наводят невыносимую тоску.

Маникюрша смотрит на руку, потом на ее обладателя и кидает взгляд SOS парикмахеру, взывая его о помощи. Но гнусный тип притворяется, что ничего не замечает. Бросить человека в беде! Это ему даром не пройдет!

— Значит, это... вы сможете привести это в порядок, душечка? — вопрошает Берюрье совершенно бесстрастным тоном.

Француженка — есть француженка: немного легкомысленная, воспламеняющаяся как спичка и все остальное прочее, но по части геройства ей нет равных, возьмите, например, Ивонну де Галлар. Другая бы упала в обморок, убежала, но мамзель Пятерня хватает антрекот Толстяка и окунает его в миску с водой.

— Что вы делаете? — с надрывом в голосе кричит Толстяк, который был ярым противником водных процедур.

Она объясняет, что это нужно для размягчения ногтей. Берюрье хмурится. Если бы он знал, что его ждет, то ни за что бы не согласился с этой затеей. Вода в миске быстро мутнеет и становится грязной.

Маникюрша, которая не привыкла выбирать выражения, возмущается:

— Что, нельзя было вымыть руки перед парикмахерской?

— А еще чего, милочка! — ржет Опухший. — Может, мне и ванну надо было принять по причине того, что вы будете мне стричь когти?

Набравшись мужества, она принимается за работу. Но для ногтей Берюрье нужна не пила, а напильник. Они как из рога, друзья мои, из рога зубра.

— Вы не избавились от кальция, — тяжело дыша, произносит девица.

— Я избавляюсь от него в строго определенное время, — шутит Его Величество, который выращивает свой юмор на подоконнике и только в первые солнечные весенние деньки.

Адская работа! Пилка стонет как ржавая пила в сердцевине бревна. Брадобрей прекращает мыть жиденькие кустики растительности на голове своего клиента, чтобы ничто не отвлекало его от этого уникального, в своем роде, зрелища. Подходят его коллеги, у которых сейчас нет работы. Надо заметить, что зрелище производит впечатление. Есть что-то величественное в этой операции по обрезанию деревьев. Поражает сама картина борьбы крошечной маникюрши с этой могучей дланью, созданной для того, чтобы крушить, отрывать, вышибать, плющить, вырывать с корнями, месить, ставить фингалы, обдирать кору, укладывая на месте с одного удара, уничтожать, выбивать зубы, рубить, перерубать пополам и побеждать. Крошка-маникюрша, сжав зубы и ноздри, раскрыв рот в оскале легкоатлета, поднимающего громадный вес, добросовестно, старательно и мужественно опиливает конечности этого копытообразного. Возвышенная, величественная, отважная! Сила Франции во всем ее величии! Браво, Жанна д'Арк! Она ломает свою пилку номер 0001 (такой пилкой Бальзак заострял гусиные перья). Это пустяки: ей дают другую!

По ее сиреневому халату бегут серые ручейки. Скоро на полу вырастает солидная кучка опилок. Но как преображается лапища Толстяка! Из сукровичной оболочки один за другим проклеваются его отчищенные, опиленные, отполированные, покрытые лаком ногти, как яркие плоды, с которых в первый раз в жизни сняли кожицу! Берю взволнован, смущен и вместе с тем обеспокоен. Он разглядывает эту новую руку. Это инородное тело. Он сомневается, что она принадлежит ему и примеряет ее как перчатку, то сжимая, то разжимая кулак, чтобы растянуть кожу на сгибах.

Когда с правой рукой все было закончено, он приставляет ее к левой руке и качает головой.

— Никакой ошибки, витрина изменилась, — шепчет он про себя.

Лапа трубочиста и рука нотариуса. Рука ассенизатора и массажиста. Правая — рука хирурга, левая — шахтера! Присутствующие выпускают крик восхищения. Кто-то даже аплодирует! Крошка-маникюрша пользуется передышкой и выпивает чашку чая. Парикмахер обмахивает ее полотенцем. Хозяин парикмахерской по телефону заказывает фиалки (он уже давно хотел предложить ей «развлечься»).

— Не очень устала? — спрашивают у бедняжки.

— Нет, нет, — отвечает она, тряхнув головой.

И, посыпав руки тальком, понюхав нашатыря, она, как храбрая коза господина Сегэна из сказки, снова идет на приступ. Ах! Бесстрашная малышка! Парень, который на ней женится, получит храбрую спутницу жизни, это я вам говорю! Сколько благородства в ее напряжении! Сколько невозмутимого спокойствия в ее героизме! Такая профессиональная добросовестность при выполнении отвратительной миссии, которую на нее возложили, такой детерминизм в работе! Это бесподобно, это прекрасно, это грандиозно. Это выходит за пределы и идет еще дальше, это смущает, это потрясает! Чтобы продемонстрировать такую самоотверженность, нужно быть йогой либо безоговорочным голлистом.

Сидящий в соседнем кресле какой-то старый сердцеед, которого при помощи кремов и массажа превращали в старого денди, не выдерживает напряжения и начинает рыдать под своей косметической маской, что приводит в панику косметолога, колдующего над его лицом, и тот голосит, что если под маской появится водяной пузырь, то у мосе останутся мешки под его гляделками.

Вторая рука рождается медленнее. Физические силы маникюрши-акушерки иссякают. Несмотря на всю ее волю и мужество, на нее неотвратимо наваливается внезапная усталость. Создается впечатление, что ее пилка пробуксовывает. Наша героиня в двух пальцах (я не боюсь этого слова) от поражения. Она вот-вот упадет в обморок. Патрон предлагает подменить ее: но не тут то было, она яростно продолжает работать. Она заканчивает мизинец, самый маленький, но в то же время самый трудный палец по причине его ушекovyрятельных функций. Затем переходит к безымянному. Он прекрасен, этот безы-

мянный палец левой руки, облагороженный обручальным кольцом. Шелковистые волосы, кожа на суставах содрана меньше, чем на других щупальцах; он явно отдает ему предпочтение, это его любимчик. Он извещает народ о том, что Берю окольцован, поэтому пользуется у него особым вниманием и заботой. Толстяк щадит его. Он не ковыряет им ни в слуховых раковинах, ни в носовых карманах, ни в пупке. Не обмакивает его в суп, чтобы убедиться, что он не горячий. Не сует его в прочие посторонние отверстия. Не пользуется им для удаления перхоти из головы, для выдавливания чирьев или вылавливания насекомых в своей растительности. Левый безымянный палец — его протеже. Не случайно в периоды стрессов он грызет ноготь только этого славного пальца и только на этом ногте делает шариковой ручкой расчеты при заполнении декларации о налогах.

Поэтому навести на него лоск, довести его до совершенства, придать ему блеск — задача относительно несложная. И девица получает возможность передохнуть. Восстановив силы, она идет на штурм среднего пальца. А этот настоящий покоритель целины! Исследователь, несущий на себе следы своих исследований. Такое впечатление, что ему пришлось гораздо больше потрудиться, чем своим товарищам по несчастью. Это типично берюрьеvский палец! Дерзкий! Идущий вперед! В постоянной готовности сжаться и врезать! Выносливый в труде и весь в руде! Изрезанный, с содранной кожей, обмороженный, но бравый! Его сломали, и он сросся по спирали! Он устоял против всевозможных ногтеедов! Выдержал какие только можно удары! Вынес пламя всех существующих зажигалок! Одним словом, вечно живой! Из породы тех, кого прищемляет дверью или затягивают в ремни трансмиссии, и которые несмотря ни на что остаются в живых! Воин и шалопай — все вместе. Это надо видеть (Берю одинаково владеет обеими руками).

Пилка грызет и грызет, заходясь в хриплом вое. Она визжит брюзжит, срезает и закругляет! Ноготь приобретает овальную форму и становится — о, чудо! — похожим на... ноготь. Мисс Бархатные Лапки заканчивает этот палец и вытирает пот, струящийся по ее побледневшей мордашке.

— Ну, давай, дочка, — подбадривает Мастоодонт, — еще один и все будет как в картотеке!

— Нет, нет, осталось еще два пальца, — поправляет она умирающим голосом.

— Большой не трогать, я его оставлю как есть. В качестве свидетеля, чтобы показать, какими были мои держалки раньше.

Обрадовавшись такому подарку, маникюрша принимается за нежеланный указательный палец. За тот указательный, на который можно указывать пальцем!

Операция по раскорчевке заканчивается как нельзя лучше в лучшем из миров (и на его ближайших спутниках). Я считаю, что наступил именно тот момент, когда можно обнаружить свое присутствие и, избавившись от нескольких миллиметров волос на голове, направляюсь к Его Высочеству.

— В следующий раз, когда тебе вздумается сделать маникюр, иди сразу в кузницу, советую я ему.

— Сан-А! — орет мой приятель. — Ты, и здесь?

— Уж кого-кого я не ожидал увидеть здесь, так это тебя. Что это ты вдруг решил расфуфыриться?

Он заговорщицки подмигивает.

— Мы через пару минут обо всем потолкуем, подожди, пока мастер наведет марафет, а то он засмущается и все испортит в самом конце, Бладобрей с возмущением заверяет, что такого мастера, как он, запороть прическу клиенту может заставить лишь что-то из ряда вон выходящее и что даже при землетрясении он запросто делает прическу бритвой.

Продолжая возмущаться, он заталкивает тыкву Толстяка под колпак сушилки. Берю возмущается.

— Ты что, хочешь мне мозги сварить этим сушильным пистолетом? — вопит мой товарищ по безоружию.

Он ерзает, проклинает, чихает и порицает. Он говорит, что этот салон филиал Синг-Синг, — подземная тюрьма гестапо. Он багровеет, он весь в поту и выделяет мокроту. Наконец сеанс закончен, его извлекают из кресла, избавляют от пеньюара и нагрудного слюнявчика. Он свободен и бесподобен. Помыт, наталькован как попка младенца, наодеколонен, подрезан, принаряжен. В общем, красавец да и только.

— Потрясно! — раскрываю я от изумления рот, глядя на него как на статую, с которой только что спало покрывало.

Он одет в безупречно сидящий на нем голубой двубортный костюм. На нем белая сорочка, серый галстук, купленный в дешевой галантерейной лавке. Его черные и новые туфли скрипят так, будто он давит ими сухари.

— Как от Брюммеля! — говорю я, обалдев от его вида.

В элегантности Толстяка есть что-то благородное и вместе с тем вызывающее: ходит вразвалку, расставляет ноги колесом и часто-часто моргает своими наштукатуренными веками.

Никогда, никогда в жизни я не видел его одетым так простенько, но со вкусом. До сего дня он был атавистом по гардеробной части и при этом помешан на материи в крупную клетку (преимущественно зеленого и красного цвета). И чем больше была клетка, тем больше радости это доставляло Берю. У него даже были туалеты в клетку в квадрате.

— Ты приглашен на прием к президенту Франции? — спрашиваю я его, когда мы, раздав щедрые чаевые, выходим из салона.

— Бери выше — загадочно отвечает он.

— О, хо-хо! К королеве Великобритании?

— Почти!

Не проронив больше ни слова, мой дружок, вполне естественно, заворачивает в первый же ресторанчик и плюхается на молескиновую банкетку.

— Отказываюсь понимать, — заявляю я, следуя его примеру. Плут от природы, он ждет, когда ему принесут стакан его любимого пойла, и лишь опорожнив его, открывает мне секрет.

— Это целая история, Сан-А. Представь себе, я нахожусь в блюде с одной аристократкой.

От этого известия у меня по спинному мозгу пробегают мурашки.

— Ты?!

— Я!

Он вытягивает перед собой наманикюренную руку и откровенно любит переливами лакированных ногтей в свете неоновых ламп забегаловки.

— А главное, что я хочу тебе сказать — вот уже несколько дней я живу один.

— Тебя бросила Берта?

— Она уехала на курорт в Брид-ле-Бэн, хочет снова вернуть себе осиную талию.

— Да это же разрушение семьи! — восклицаю я. — Придется все начинать сначала!

— Так было нужно, — оправдывается Берю. — Подумай только: Берти стала такой крупной, что мне, чтобы оказывать ей знаки внимания, приходилось обозначать путь вежами!

Как-то утром она взбирается на наши весы и начинает голосить, что вроде бы у весов нет стрелки! А ты говоришь! А эта несчастная стрелка, в страхе от ее массы, просто прилипла к другой стороне шкалы, зашкалила, бедняжка. Наши весы показывают до 120 кило, а дальше — неизвестность! Когда ты не можешь узнать, сколько ты вешишь, Сан-А, надо объявлять чрезвычайное положение, разве нет? Либо ты теряешь контакт с самим собой!

После этой значительной тирады мой товарищ-философ подзывает официанта и просит его повторить.

— Все это не объясняет причин твоей копуляции с аристократией, малыш.

— Сейчас объясню. Так вот, несколько дней назад я загружаю свою Берту в вагон и собираюсь взять машину. Я открываю дверь такси, и в это время какая-то особа открывает дверь с другой стороны, и вот мы хором кричим: «Рю де ля Помп!» Мы смотрим друг на друга и хохочем. Взглядом знатока я сразу же вычислил светскую даму. Ну, тогда я, ты же меня знаешь: я сама галантность, вместо того, чтобы выкинуть ее из машины, как я был вправе это сделать, потому как мужчина, а тем более как полицейский, я ей говорю своим бархатным голосом на пневматической подвеске: «Дорогая мадам, поскольку нам ехать в одно место, давайте путешествовать вместе». Она колеблется, потом поняв, что имеет дело с настоящим джентльменом, соглашается.

От Лионского вокзала до Рю де ля Помп надо ехать почти через весь Париж. А в час пик движение достигает своего пика, поэтому у меня было навалом времени, чтобы навешать ей лапши на уши, ты меня знаешь. Что я ей там плел, я сейчас не помню, короче, мы добираемся до Рю де ля Помп, и тут она приглашает меня к себе пропустить глоток-другой. Я сразу же оплатил половину проезда! А ее дом, это надо видеть! Из тесаного камня, с такими высокими окнами, что если бы они были на первом этаже, то из них можно было сделать двери! Ковер на лестнице, а в лифте стоит скамейка из бархата для тех, кто боится головокружений. Ты представляешь? Он осушает второй стакан и ставит красное пятно на свой серый галстук.

— Мы поднимаемся и подходим к двери: одна единственная на весь фасад, заметь, и с шикарным половиком с инициалами этой дамы. Вместо того, чтобы достать ключи, она звонит. И кто же нам отворяет? Лакей в полосатом жилете.

«Добрый день, госпожа графиня», — произносит раб.

Я тарашусь на дамочку как малахольный. Она улыбается мне и представляется: «Графиня Труссаль де Труссо» и приглашает в гостиную, где вся мебель как будто сошла с старинной картины. Ты можешь быть республиканцем с головы до пят, но дворянство и стиль Людовика XV всегда потрясают, надо это признать. Закрученная фамилия оказывает свое действие даже в эпоху ракет и штиблет. Я так растерялся, что забыл выложить ей свою генеалогию, и от этого она была явно не в себе, моя графиня.

«С кем имею честь беседовать?» — в нетерпении она шепчет мне.

Я чуть было не поперхнулся, тем более, что на стенах висела тьма каких-то субъектов, нарисованных маслом (это видно невооруженным глазом), которые смотрели на меня с такой злобой, как консервированная ержка, уставившаяся на дворняжку, которая облегчается на парадный коврик в подъезде. И не какие-то там простые мужики, а благородные — с острыми шнобелями и глазами. Для джентри, парень, то бишь для английского дворянства, характерна именно заостренность.

Я совсем растерялся и говорю себе: «Ты дал маху, дорогой. Отконвоировать графиню в ее камеру и не назваться — это все равно, что быть разночинцем». Поэтому я складываюсь вдвое в смысле длины и выпаливаю, перейдя на охмуряющую тональность нумбер ван: «Александр-Бенуа Берюрье, мэдам». Только в таких случаях, старик, ты начинаешь поминать добрым словом своего папашу за то, что он наградил тебя составным именем. Это чуть-чуть компенсирует сухость твоей фамилии. Дефис — это ерунда, но это уже двоюродный брат дворянской частицы, согласись!

Я охотно соглашаюсь и даю ему высказаться, так как он в полном ударе.

«Берюрье, Берюрье, — щебечет она, — а не приходите ли вы родственником Монгорло дю Берюрье-Ваньдокса по младшей ветви?»

Ну, я, конечно, схватился за этот случай двумя руками. «Совершенно справедливо, моя графиня», — услужливо поддакиваю я.

«Я вроде бы младший племянник, происходящий от сторожа охотничьих угодий замка...». Ты понимаешь, Сан-А, я старался сохранить дистанцию. Не скрою, что я насвистел насчет голубых кровей. Но я же не наглед и не прилепил себе всю дворянскую частицу. А идея со сторожем возникла у меня после аглицкого кино под названием «Любовник леди Шателэ» (она принимала его в своем фамильном замке). От этих слов графиня чуть было не лишилась своих тонких аристократических чувств прямо на диване.

«О боже, как это романтично, — прокудахтала она. — У меня так бьется сердце». И ты знаешь, что она делала? Она схватила мою ладонь и прилепила ее к своей груди как пластырь, чтобы подтвердить, как он стучит, ее мотор. Я воспользовался моментом и оцупал упаковку, чтобы удостовериться, что ее шары сделаны не на фабрике «Данлоп» которая производит теннисные мячики. Мои опасения были напрасны. Они были настоящими и с хорошей посадкой.

[...]

Публикуется по:

<http://www.rulit.me/books/stending-ili-pravila-prilichiya-po-beryuere-read-123371-1.html>

Les étrangers sont nuls

Pierre Desproges

Ces textes ont été écrits par Pierre Desproges pour l'hebdomadaire *Charlie-Hebdo* en 1981.

• Les anglais

Alors que le porc et le français sont omnivores, l'anglais mange du gigot à la menthe, du thé à la menthe, voire de la menthe à la menthe.

Les deux caractéristiques essentielles de l'anglais sont l'humour et le gazon. Sans humour et sans gazon, l'anglais s'étirole et se fane, et devient creux. Il tond son gazon très court, ce qui permet à son humour de voler au ras des pâquerettes.

Comment reconnaître l'humour anglais de l'humour français ? L'humour anglais souligne avec amertume et désespoir l'absurdité du monde. L'humour français se rit de ma belle-mère.

Exemple de flegme britannique :

1. Quand une bombe de cent mégatonnes tombe dans sa tasse de thé, l'anglais reste plongé dans son journal et dit : Hum, ça se couvre.

2. Quand il se met à bander, l'anglais reste dans sa femme et dit: Hum, ça se lève.

L'anglais est-il un créature de dieu ?

Nous sommes tous des créatures de dieu. Même le hyène et le chacal chafouin.

• Les irlandais

Jusqu'à la fin du VIII^e siècle, l'Irlande était bourrée d'hérétique bourrés et de brutes vulgaires dont le cuir velu et la démarche de nageuse est-allemande répandaient la terreur sur la lande ingrate où soufflait l'âpre vent du nord.

Mi-homme, mi-socialiste, l'irlandais moyen de ces temps honnis se distinguait du loup-garou par son ample barbe rousse, sa culotte de velours et ses yeux quelconques... D'une rusticité invraisemblable, il chassait le bébé phoque à la scie sauteuse, vivisectionnait les brontosaures à des fins mercantiles et se livrait sur les aigles royaux à de manipulations

copulatoires et autres attouchements fébriles que la morale réprouve.

Aujourd'hui, il y a deux sortes d'irlandais. Les irlandais du sud, qui sont à l'ouest de l'Angleterre, et les irlandais du nord, qui sont en dessous de tout. Les irlandais du nord se divisent en deux : les catholiques et les protestants. Comme ils croient que ce n'est pas pareil, ils s'entre-tuent avec vigueur pendant les heures de bureau.

Alors [certains irlandais] vont au cinéma et s'en vont au milieu du film. C'est la grève de la fin. C'est très dur. On peut mourir.

• **Les islandais**

L'Islande est un grand pays de 103 000 kilomètres carrés uniquement composé de glaciers et de volcans. Autant dire que quand on ne se les gèle pas, on se les brûle, ce qui explique en partie l'extrême lenteur du développement du tourisme islandais. En dehors des militaires américains de la base de Reklavik, qui font briller leurs bombes thermonucléaires avec un chiffon de soie en espérant sans trop y croire le déclenchement de la Troisième, seuls quelques mordus de la pêche à la morue se risquent à passer leurs vacances en Islande.

En résumé, on peut dire que les islandais gagnent à être connus. Alors que Julio Iglesias, non.

• **Les grecs**

Les grecs s'appellent aussi hélènes : c'est dire à quel point ils sont pédés. Quelquefois, ils enculent même leurs chevaux et roulent des pelles aux poneyses.

Les grecs modernes, comme Theodorakis ou Moustaki, ne portent pas de soutien-gorge, alors que les grecs anciens, comme Démosthène ou Mélina Mercouri, ne portent pas de seins.

Dans les années soixante, les grecs ont commencé à trop manger. Il a fallu mettre les colonels au régime. Car les colonels sont de grands enfants. D'ailleurs, dans Pinochet, il y a hochet .

• **Les espagnols**

Les espagnols sont un peuple fier et ombrageux, avec un tout petit cul pour éviter les coups de cornes.

À l'instar de la vache, l'espagnol va au taureau dès les premiers beaux jours. C'est la corrida.

La corrida est une festivité espagnole gorgée de poussière frémissante et de somptuosité virile, au cours de laquelle on transperce un taureau fou avec des barres de fer pour faire sortir le sang en disant Olé ! . Quand le taureau tombe à genoux, les présidentes de cercle ont un

orgasme fugace.

Comme beaucoup d'étrangers, les espagnols éprouvent quelques difficultés à communiquer entre eux, car ils ne parlent pas français. C'est pourquoi ils sont obligés de parler espagnol. Contrairement à la langue allemande qui est rude et gutturale, la langue espagnole est rose et poitue, mais j'arrête ça m'exite.

Sur un point purement scientifique, n'oublions pas que c'est à Isabelle la Catholique que nous devons l'invention de l'espagnolette, sans laquelle nul ne pourrait baiser la fenêtre ouverte.

• **Les italiens**

Les italiens sont appelés ainsi parce qu'ils gesticulent en mangeant des nouilles.

Plus encore qu'à Rome, c'est à Venise que le visiteur étranger s'esbaudit devant tant de splendeur offerte aux regards. Je ne parle pas seulement des filles, qui ont des gros nichons, mais des innombrables palais somptueux qui bordent la lagune vénitienne où la ville s'enfoncé désespérément de jour en jour au rythme lent de sa propre décadence.

Je viens de découvrir cette éblouissante cité agonisante et mon coeur se serre à cette évocation. En la quittant, je me suis dit : Jean, c'est à Venise que tu viendras mourrir. (Depuis le 11 mai [81], quand je suis tout seul, je m'appelle Jean, en hommage à Jean Jaurès.)

• **Les belges**

Les belges sont appelés ainsi parce qu'il prêtent à rire. Il y a deux sortes de belges : les wallons, qui sont assez proches de l'Homme, et les flamands, qui sont assez proches de la Hollande.

L'hitoire de la Belgique est aussi insipide qu'une pensée de Bernard Hinault. Notons simplement que la France l'a annexée en 1795, et qu'en l'unifiant administrativement pour donner une impulsion décisive à son économie, Napoléon a plus fait pour l'éclat de la Belgique qu'Ajax ammoniaqué pour l'éclat de mes chiottes.

Une-Fois 1r, le roi des belges, est totalement dépourvu d'intérêt.

• **Les allemands**

Il y a deux sortes d'allemands : les allemands de l'ouest, qui s'entendent très bien avec les juifs, et les allemands des est, qui s'entendent très bien avec les russes. De toute façon, la loi protège très bien le juifs à l'ouest, et très très très bien les russes à l'est.

Sexuellement parlant, les allemands de l'ouest, qu'on peut subdiviser en deux catégories, les hommes et les femmes, se reproduisent

comme l'Homme.

En revanche, chez les allemands de l'est, c'est plus compliqué. Il y a trois catégories : les hommes, les femmes, et les nageuses olympiques.

Les nageuses olympiques est-allemandes ne peuvent pas se reproduire, bien qu'elles puissent éprouver une certaine jouissance, notamment en plongeant dans des piscines pleines.

Les allemands sont très travailleurs. Contrairement au français, qui prendra sur ses heures de sommeil pour se reproduire, l'allemand prendra sur ses heures de baise pour bosser.

Alors que l'anglais est flegmatique, l'allemand est cyclothymique, c'est-à-dire qu'il peut niquer sans tomber de vélo.

• Les suisses

Les suisses sont appelés ainsi parce qu'ils sont vraiment très propres sur eux. Même les poux des clochards suisses se reconnaissent à la fraîcheur éclatante de leur teint scandinave.

Il existe quatre sortes de suisses : les suisses allemands, qui parlent allemand, les suisses français, qui parlent français, les suisses italiens, qui parlent avec les mains, et les suisses romanches, qui feraient mieux de se taire. Je ne suis pas raciste, surtout depuis que je vis avec un Nègre.

Les suisses s'appellent aussi les helvètes ? c'est un grand mystère. Normalement, un seul nom suffit. Est-ce que ma belle-soeur Fabienne s'appelle Claudine ? Est-ce que mon crayon Bic s'appelle Reviens ? Ah oui.

En résumé, on peut dire qu'il y a encore plus de trous dans le gruyère que dans les suisses. Mais enfin bon, on n'est pas là pour enculer les meules. Alors, s'il vous plaît, je vous en pris.

• Les israéliens

Les israéliens sont appelés ainsi parce qu'ils sont juifs.

Les musulmans ne mangent pas de sanglier à cause des risques de maladies paritaire, je pense notamment au ténia de Rivoire et Carret : c'est un produit Solitaire, donc un produit sûr, mais c'est plus épuisant qu'une branlette quand on a pas vraiment envie.

Israël est un pays assez laid et mortellement ennuyeux. Dedans, il n'y a rien, et autour, c'est plein d'arabes. La seule distraction des Israélien, c'est The Lamentation Wall, une boîte en plein air où on peut twister contre un mur en lisant un truc genre Coran dont le nom m'échappe à l'heure où, j'écris ces lignes, si tant est qu'on puisse appeler cela écrire. Ça ressemble au Coran, mais ce n'est pas le Coran, ni du Canada Dry .

• Les canadiens

Il y a deux sortes de canadiens : les anglophones, qui parlent dans les angles, et les francophones, qui parlent normalement.

Anglophones et francophones se vouent une haine tenace qui les incite à s'entre-déchirer sans répis alors que la tempête fait rage et que les paquets de neige blafarde étouffent les cris moribonds du trappeur égaré dans l'immensité insondable du Grand Nord d'où s'élève lugubre et âpre le meuglement désolé du canadary, appelé aussi castor-tampax à cause de sa tête rouge et de sa petite queue blanche.

Comment reconnaître un anglophone d'un francophone, quand on est sourd ?

Portons un canadien à ébullition. S'il devient rouge, c'est un francophone. S'il ne devient pas rouge, c'est qu'il était rouge avant. C'est donc un anglophone.

D'accord, direz-vous, mais comment reconnaître un anglophone d'un francophone, quand on est sourd et daltonien ?

Je vous répondrai que si vous êtes sourd et daltonien, nous n'avons rien à nous dire. Pour avoir stagné une heure à un feu rouge derrière un sourd daltonien, je n'adresse plus jamais la parole à ces gens-là.

Pourquoi les canadiens habitent-ils le Canada, alors qu'il fait un temps magnifique à Miami ?

Tout simplement parce que les canadiens sont à la médiocrité ce que les têtes de cons sont à l'Île de Pâques : des monuments.

[...] on sent d'emblée que l'homme est veule, mou, lâche, stupide et mesquin, voire socialiste.

• Les eskimos

Les eskimos sont appelés ainsi pour que nous ne les confondions pas avec les phoques, qui s'appellent les phoques.

Il existe des eskimos qui attaquent les ours blancs torse nu, au canif. C'est héroïque. Et l'héroïsme, c'est le seul moyen de devenir célèbre quand on n'a pas de talent. Dixit Bernard Shaw. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie.

• Les qatareux

Le pays où vivent les qatareux s'appelle le qatar.

Mais on peut aussi écrire Katar, en hommage à l'impératrice Katarina qui préférerait cacher son q plutôt que de se faire pilonner dans les dunes katareuses où les amantes imprudentes risquent à tout moment de contracter l'intolérable vaginite râpeuse des sables durs, dites aussi la violette du

bédouin, par allusion à l'aspect purpurin que présentait la verge de Lawrence d'Arabie quand il sortait de sa chamelle râpée.

Chez la femme, la vaginite râpeuse des sables durs provoque des douleurs intolérables, même pendant les vêpres, où l'activité sexuelle est pourtant réduite. Au plus fort de la crise, la malheureuse est prise de convulsions et ne peut retenir ses cris atroces. Le seul remède efficace est l'ablation des cordes vocales.

• **Les turcs**

Observons une carte de la Turquie. Que voyons-nous ? Nous voyons qu'en dehors de sa partie européenne, qui représente moins du trentième de la superficie totale, la Turquie est un pays de hautes terres. La chaîne Pontique, au nord, le Taurus, au sud, enserrant le plateau anatolien, mais si je continue à recopier le Larousse, ça va finir par se sentir.

Les turcs sont moins sauvages que la plupart des bougnoules. Certains même sont fonctionnaires, d'autre ont des gourmets. N'oublions pas que ce sont les turcs qui ont inventé les chiottes, qui distinguent l'homme de la bête. C'est en effet en 612 après Jésus-Christ que le grand Archie Merde s'écria Eurêkaka ! en sortant de ses latrines. Il avait eu l'idée de baisser son pantalon avant de chier.

• **Le monégasques**

La principauté de Monaco est administrée par un tyranneau bouffi dont la femme se faisait sucer la langue par Cary Grant dans les films d'Hitchcock avant que son père, parvenu dans les cimenteries américaines, ne l'oblige à épouser le magestueux, rondouillard susnommé.

Les monégasques ont-ils âmes ?

Pour le savoir, ouvrons un monégasque, grâce à la vivisection dont nous déconseillons vivement la pratique sur les chiens car c'est fort douloureux. Que voyons-nous ? Entre la médaille de la Sainte Vierge et les poils du pubis, le monégasque ouvert sent la merde chaude : c'est l'intestin. Mais d'âme, point.

• **Les autrichiens**

Les autrichiens sont appelés ainsi pour faire croire qu'ils ne sont pas allemands. C'est grotesque, car les autrichiens ne rêvent que d'être envahis par l'Allemagne dès la prochaine guerre mondiale qui ne devrait plus tarder maintenant si tout va bien et si le temps le permet.

En revanche, les autrichiennes ne rêvent d'être envahies que par Paul Newman, alors que, si ça se trouve, Newman, c'est même pas son vrai nom.

La capitale de l'Autriche s'appelle Vienne. Le charme de Vienne est

décadent, un peu comme les nichons de Jeanne Moreau. Des mémères emperlouées suintantes de lipides viennent y bâbrer d'autres graisses grasses au fond des salons de thé précieux où elles posent en soufflant leur cul catastrophique qui s'aplatit en clapotant obscéniquement sur le cuir boursouflé des banquettes impériales.

Parmi les autrichiens célèbres, on peut citer Richard Strauss, inventeur du tournis, Romy Scheider, inventeur du Zizi impératif, et Sigmund Freud, inventeur du Paranoïaque. Sans Sigmund Freud, l'Homme ne saurait pas qu'il a envie de baiser sa mère. Ce serait la fin du monde.

• Les chinois

Les chinois sont extrêmement nombreux. On peut évaluer leur nombre à beaucoup.

Penchons-nous sur un chinois moyen. C'est facile. Le chinois moyen est tout petit. Qu'observons-nous ? Le chinois moyen est exactement comme un japonais. On ne peut absolument pas distinguer un japonais d'un chinois. C'est vraiment pareil.

Les deux sortes de chinois sont : les chinois communistes, qui mangent les enfants, et les chinois nationalistes, qui mangent des conserves Saupiquet, si ça se trouve.

Comment reconnaître un chinois nationaliste d'un chinois communiste ?

C'est impossible. On dirait des japonais.

• Les japonais

Les japonais sont appelés ainsi pour que nous ne les confondions pas avec les carcassonnais. Il existe d'ailleurs un moyen mnémotechnique fort simple permettant d'éviter cette confusion. On s'aperçoit, en effet, lors d'une relecture plus minutieuse, que si le suffixe onais est commun aux uns et aux autres, les japonais, en revanche, n'ont pas de carcasse, ce qui leur confère une souplesse exceptionnelle dans la pratique des arts martiaux et lors des accolements fornicatoires dont ils restent très friands, malgré la sévère politique de dénatalité en vigueur au Japon.

• Les polonais

Ami entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ... Je ne sais pas pourquoi, cette chanson me fait penser à Varsovie.

Pourtant, dieu m'est témoin que je ne suis point exagérément polakophile. Quand j'organise un week-end international à la maison, je mets les russes dans la chambre d'amis et les polonais dans la chambre d'ennemis. C'est vous dire.

À part ça, il ne faut pas dramatiser. Si j'en crois la dépêche AFP qu'on m'apporte à l'instant, les conversations russo-polonaises devraient incessamment déboucher sur un accord. Nos entretiens se sont déroulés sur un pied d'égalité totale, a notamment déclaré M. Gromyko, ministre des Affaires étrangères de l'Union Soviétique, à l'issue de son entretien avec son homologue polonais, M. Petit-Myko.

• **Les maltais**

Le maltais moyen est petit.

Le maltais petit est minuscule.

Il n'y a pas de grand maltais. Il n'y a que toi, Hélène. (Message personnel.)

Désuète et volontiers monogame, la maltaise a généralement la peau brune et pulpeuse, et ses hanches de guitare en font un instrument accorte, au lit comme à la place. Mais attention. Quand je dis instrument, qu'on ne se méprenne pas. Je ne suis pas pour la femme-objet, au contraire : j'aime bien quand c'est moi qui bouge pas.

• **Les yougoslaves**

Après la Seconde Guerre Mondiale, qui lui coûta un million six cent mille morts, en comptant les femmes, la Yougoslavie était exsangue.

Bien vite, le maréchal Tito réunifia son pays, obligeant les serbes à dire bonjour aux croates, et redonnait un nouveau souffle à l'extraction de la plus grande richesse naturelle du pays, le lignite. En 1979, la Yougoslavie conservait encore son rang de cinquième producteur mondial de lignite, avec 41.7 millions de tonnes extraites à la sueur du front des croates et des dessous de gras des serbes qui slavent moins.

Le 3 mai 1980, Julio Iglesias donnait un récital hispano-gluant au grand théâtre populaire de Belgrade. Le lendemain matin, Tito mourait, sans avoir repris connaissance après l'entrecte. Cela dit, ce n'est pas non plus parce que Julio Iglesias a survécu à Brassens qu'il faut soudain à douter de l'existence de dieu.

• **Les swazilandais**

Les Swaziland est un pays riche par son agriculture (record mondial d'excédent agricole par rapport au PNB), par les réserves de son sous-sol (20% du PNB) et le nombre de ses Nègres (100% du cheptel).

La principale culture du pays est le maïs, dont les swazilandais sont très friands. Alors que les eskimos sont très friands de phoque. N'est-ce point là la preuve tangible de l'infinie bonté de dieu ? Car enfin, corneucul, si dieu était méchant, il aurait fait les eskimos friands de maïs et le

swazilandais friands de phoque, et la face du monde en eût été changée. Tandis que là, non, tout va bien.

• **Les luxembourgeois**

Le Luxembourg est un pays tout à fait insignifiant. S'il disparaissait du jour au lendemain dans quelque cataclysme local, personne au monde ne s'en apercevrait. C'est comme les petits enfants du monde qui meurent par milliers sans pleurer, le ventre tordu et les boyaux collés entre eux par le vide. Dans le journal de 20 heures du dimanche, le tiercé et Saint-Étienne-Sochaux prennent beaucoup de place, on ne peut pas aborder tous les problèmes.

Le luxembourb compte 335 000 habitants, femmes comprises. Les luxembourgeois parles trois langues. C'est grotesque. C'est langues sont : le français, l'allemand et un dialecte atroce dont un breton ne voudrait pas.

• **Les sudafricains**

Les sudafricains sont appelés ainsi pour que nous ne les confondions pas avec les norafricains qui ont non seulement le tyep norafricain, mais la gonzesse aussi.

En sudafricanie, tous les européens pratiquent la ségrégation, à tart Ted.

La télévision sudafricaine est l'une des meilleures du monde. Non seulement il n'y a jamais d'émissions avec Giscard, mais il n'y en a pas non plus avec Mitterrand.

Les villes les plus connues de la sudafricanie sont Johannesburg, Le Cap, Pretoria et Durban. Les villes les moins connues sont Potchefstroom, Vereniging, Witbank et Thabazimbi.

• **Les cubains**

Quand ils sont ronds, les cubains sont cubiques. C'est pourquoi on les appelle les cubains.

Cuba est une île assez difficile à dessiner, par rapport à la Corse. Malgré un climat tropical tout à fait exquis et la douce luxuriance d'une flore admirable, c'est plein de communistes.

Très sémillants dans leurs costumes kaki, les soldats cubains aiment intervenir dans les pays africain où ils font des trous dans les enfants qui passent, pour faire avancer la démocratie.

À l'instar de ma soeur qui vivote grâce au soutien de Paulo Gomina, Cuba survit grâce au soutien de l'Union Soviétique qui lui rachète à pris d'or tout son sucre pourri, en échange de quoi Castro vote coco à l'ONU dès qu'il a cinq minutes. Conséquence première de cette politique castro-

sucrière de l'URSS, cinquante millions de citoyens soviétiques souffrent de diabète, et sont envoyés au goulag où ils sont privés de dessert mais pas méchamment juste pour les guérir.

• Les chiliens

Contrairement à ma soeur dont les rotondités boulottes exacerbent les sens des employés du gaz, le Chili est maigrichon et tout en longueur. Selon une récente statistique de la SOFRES , sur cent personnes qui se masturbent devant une une carte du Chili, une seule parvient à l'orgasme.

Le Chili est le premier pays producteur de papier journal d'Amérique du Sud. C'est un très beau papier, très fin, souple à la caresse, et d'un magnifique blanc laiteux. Quand on écrit dessus Pinochet est un con , il redevient tout blanc avant même d'arriver au kiosque. C'est un miracle.

Cela dit, c'est grâce à Pinochet que l'inflation a diminué de 380% à 33% en quatre ans, et tant que la misère effroyable et les tortures abominable ne touchent pas les riches, qui s'en plaindrait ?

• Les singapouris

La majorité de la population de Singapour est anglophone, c'est-à-dire qu'elle parle dans les coins, qui sont fort nombreux dans l'île où la densité de la population dépasse 4 000 habitants au kilomètre carré malgré les protestations des golfeurs. La minorité non anglophone ne peut évidemment pas parler dans les coins, mais elle écoute dans les angles. Ça compense.

• Les coréens

La Corée est appelée ainsi pour que nous ne la confondions pas avec les couilles, qui sont deux elles aussi, mais qui vivent plutôt en bonne harmonie malgré la légère différence de latitude. Je le précise à l'intention des éventuels lecteurs imbéciles ou socialistes, la situation d'un communiste évincé est intolérable dans la mesure où elle le met brusquement en état de manque. Privé de son parti, le communiste s'étiole, se racornit, tremble des pieds à la tête et grimpe aux rideaux en poussant des cris stridents tels que : Georges, oh, Georges, reprends-moi ! sans préciser s'il s'agit de Marchais ou de Wolinski.

• Les albanais

L'Albanie est appelée ainsi en hommage à Albanus 1r, qui réunifia le pays au XIIe siècle, en même temps qu'il pacifia les provinces de Centre. Souverain juste et bon, il mit fin aux guerres de religion en pratiquant l'extermination systématique des croyants, qui fit environ deux millions de morts, en comptant les gaullistes et les Krishna.

Au centre de la place de la Glorieuse Marche Victorieuse du Peuple de la Masse Prolétarienne (ancienne place La Bite au temps de l'ancien régime dont les moeurs dissolues en dehors des liens sacrés du mariage activèrent la chute de l'empire), se dresse la statue en faux marbre du Réunificateur, récemment rebaptisée statue d'Albanus Artificiel après la récente visite du pape à Tirana, la capitale.

Les albanais restent inconsolables depuis la mort de Staline en 1953. Moi-même, j'avoue que je refoule mal un sanglot furtif en évoquant cette grande figure dont la disparition m'a laissé sans ressort ; de même que celle d'Adolf Hitler qui me toucha d'encore plus près, dans la mesure où j'ai, dans ma propre famille, un cousin peintre syphilitique très occidental.

• **Les français**

Les français sont nuls. Pas tous. Pas mon crémier, qui veut voir la finale Le Pen - Marchais arbitrée par Polac à la salle Wagram, mais les français coincés chafouins qui s'indignent parce qu'on a dit prout-prout-salope dans leur télé. Changez de chaîne, connards, c'est fait pour ça, les boutons. Quand vous voyez trois loubards tabasser une vieille à Strasbourg-Saint-Denis, vous regardez ailleurs. Eh bien, faites pareil quand il se passe quelque chose dans votre téléviseur.

Ça va mal. Les russes arrivent et je n'ai rien à me mettre, et Cavanna pointe à l'ANPE. C'est la fin du monde.

Публикуется по:

<http://www.celeri.net/desproges/etranger.html>

L'Histoire D'Un Mec

Coluche

C'est l'histoire d'un mec... Vous la connaissez?

Non? ...Oui? ...Non, parce que si... Non... parce que des fois y a des mecs... bon... ah oui... Parce que y a des mecs... Vous la connaissez ?

Non, dites-le parce que quand les gens y la connaissent après on a l'air d'un con.

Alors là le mec... Ah oui! parce que y a des mecs des fois...

Non, c'est un exemple...

Oui, y a des mecs... Alors, euh... ça dépend des mecs, parce que y'a des mecs... Alors, bon, des fois, c'est l'histoire avec des bagnoles, tout ça. Et puis le mec oui, euh...

Mais là, non! Ah oui! Non là, c'est l'histoire d'un mec, mais un mecnormal... Un blanc quoi... Ah oui, parce que dans les histoires, y'a deux genres de mecs....

Alors t'as le genre de mec, oui, moi, euh, euh, oui... le mec, oui...

Et puis t'as le genre de mec non, non... Alors on leur dit: oui mais des fois on est obligé... Non, le mec non...

Et là ce serait plutôt un mec non, le mec, mais normal je veux dire...

Pas... un Juif... Ah oui parce que y'a des histoires...

Y a deux genres d'histoires, ah oui. Y'a des histoires, c'est plus rigolo quand c'est un Juif. Si on est pas Juif. Ben oui, faut un minimum.

Et puis y a les histoires, c'est plus rigolo quand c'est un Belge. Oui...

Si on est Suisse. Ou le contraire. Un Suisse si on est Belge.

Parce que les Belges et les Suisses c'est les deux seules races qui se rendent pas compte qu'en fait c'est pareil, mais il se gourent.

En fait, j'exagère, c'est à cause de la distance qui les sépare.

Mettons qu'on rencontre un vrai con en Suisse: C'est un Belge.

Mais dans l'ensemble ça valait pas le coup de faire deux pays rien que pour ça, hein ils aurait pu se débrouiller...

Enfin un Suisse, Moi je m'en moque. Je veux pas m'engueuler avec les gens, moi... Hein !!!

Non, y a quand même moins d'étrangers que de racistes en France.

Non, je veux dire si j'ai le choix je préfère m'engueuler avec les moins nombreux.

Enfin un Suisse... Moi je m'en fous, hein, je suis ni Belge, ni Suisse, ni Juif...

Je suis normal quoi.

Mais en tout cas, c'est pas un noir !!!

D'abord parce que y'a aucune raison pour que ce soit toujours les mêmes qui déroutent, et puis, si c'est un noir, c'est facile: pffft: un noir.

En plus, ils le font pas méchamment la plupart.

Oui parce que nous on regarde les mains... Tout ça, bon... Moins dedans...

Mais si... Euh... Ah oui... Bon... Et... Tout petits déjà !! Et des fois, même leurs parents. Ah oui, pas tous, mais la plupart !!

Enfin, un Suisse, alors le mec... Ah oui parce que non, il y a quand même une histoire... Ah oui, non, c'est l'histoire d'un mec: Bon d'accord, si on veut.

Mais c'est l'histoire d'un mec qui est sur le pont de l'Alma ! Et qui regarde dans l'eau le mec ! Pas con le mec !!!

Ah oui, parce que c'est vrai j'y suis allé moi, et c'est vrai...

T'as des mecs, ils passent tous les jours sur le pont de l'alma... et y regardent pas dans l'eau, les mecs... T'as des mecs, ils passent sur le pont de l'Alma. Eh bien, y'aurait pas d'eau dessous. Ils passeraient quand même. Et c'est con parce que nous on passe sur les ponts à cause qu'y a de l'eau dessous. Sans ça tu parles on irait pas faire un détour.

Alors les gens y disent: "Ah ben, on sait pas où passe notre pognon..." normal, y regardent pas. Alors là le mec, y regarde tout ça et puis ça l'intéresse tout ça bon... au bout d'une demi-heure. Oui, parce que normalement ça dure une demi-heure, mais là j'abrège. Parce que j'vais pas vous la conter une demi-heure. Au bout d'une demi-heure y a un autre mec qui arrive et qu'est-ce qui voit le mec.

Y voit un mec qui est là et qui regarde dans l'eau.

Alors le mec parce que le mec, bon et puis l'autre, parce que, bon, et puis...

Parce que maintenant y a deux mecs. Ah non, prenez des notes parce que je vais pas répéter. Alors le mec y s'approche et y dit "Hé ! dites donc, qu'est ce que vous faites à regarder dans l'eau ??? " qui dit le mec... Au Suisse... Alors l'autre y lui dit "Ho ben, je suis emmerdé parce que j'ai laissé tomber mes lunettes dans la Loire". Parce que le pont de l'Alma c'est sur la Seine. Ah, ça, si on sait pas, on comprend que dalle hein !!

Ouais ouais, à cet endroit-là, c'est la Seine. Oui, alors parce que le mec y lui dit "je suis emmerdé parce que j'ai laissé tomber mes lunettes dans la Loire". Faut quand même pas prendre les Suisses que pour des cons !

Non, y a des Belges dans le tas. Alors l'autre y lui dit "Ho... hé... c'est pas la Loire, c'est la Seine".

Elle est rigolote hein !! Non mais elle est pas finie là...
Alors l'autre y lui dit: "C'est pas la Loire, c'est la Seine".

Alors l'autre y lui dit "Ho, ben vous savez, moi, sans mes lunettes"...
Elle "est rigolote, hein?"

Публикуется по:

<http://www.parolesbox.fr/paroles-c-est-l-histoire-d-un-mec/coluche>

«Это история про одного парня...»

Колош

«Это история про одного парня...» Знаете её? Нет? Да?

Нет, потому что, иначе... потому что, иногда есть парни... ну... ну да... есть парни... Знаете её? Нет, вы скажите, потому что люди, которые её уже слышали, потом выглядят глупо. «Значит так, парень...» Ах да, есть и такие парни... нет, просто для примера... Да, есть и такие парни, что... Ну, значит... Разные парни бывают, есть-то и такие, что... Значит так, есть истории про машины и всё такое... И там парень, значит... Не, это не то! А, всё! Это история про одного парня, но обычного парня... Про белого парня... Да, ведь в историях бывает два типа парней... Ага... Значит, есть такие парни: «Ну да, гм... Я, гм... Да, да ...», парень, значит, говорит: «Да...» А есть такие, что говорят: «Нет, нет...»

Ну вот, им говорят иногда, приходится...

Нет, парень, что всё время «нет» твердит...

Тут скорее всего про такого парня...

Но обычный, я что хочу сказать... Не еврей...

Просто есть истории... Два типа историй, ну да...

Есть истории, которые смешнее, если про еврея идёт речь... А если не еврей... Ну, тогда хотя бы...

А ещё есть истории, которые смешнее, есть речь про бельгийца... Ну да... А если то же самое про швейцарца... То, наоборот... Про швейцарца, если ты сам бельгиец...

Потому что бельгийцы и швейцарцы – единственные два народа, которые не понимают, что, на самом деле, между ними нет разницы, их путают иногда...

Если честно, я преувеличиваю, всё из-за расстояния между их странами, оно не такое уж большое...

Ну да... Допустим, если в Швейцарии встретишь полного придурка... Это будет бельгиец...

Но, в целом, не стоило из-за этого образовывать две разные страны, можно было и без этого обойтись...

Словом, эта история про швейцарца... Я на них плевать хотел... Не хочу ругаться с людьми...

Нет, хотя всё равно во Франции больше расистов, чем иностранцев...

Нет, я что хочу сказать, если б у меня был выбор, я бы ругался с теми, кого всех меньше...

Словом, это парень швейцарцем был... Мне-то плевать, я ни бельгиец, ни швейцарец, ни еврей... Обычный я...

Вот только точно речь идёт не о чёрном... Прежде всего, потому что зачем всё про одних и тех же болтать...

Кроме того, если про чёрного, это легко, чёрный-то... Предположим, что... Да... Ведь чёрные-то...

Мы их так называем между собой, да, чаще всего они на это не злятся...

Потому что мы, если посмотреть на наши руки... Ну, и всё такое... Внутри-то не такие чёрные... Но если... Ну... Да...

И уже с детства... Иногда даже их родители... Нет, не все, конечно, но большинство...

Словом, швейцарец...

«Итак, парень...»

Да, а то ведь есть ещё другая история, нет, та история про другого парня, который... Ну, если хотите, конечно, но...

«История про парня, стоит он на мосту Альма и смотрит в воду...»

Он не дурак!

Я к тому, что сам туда ходил, и это правда...

Полно парней, которые проходят каждый день по мосту Альма и не смотрят в воду, есть такие...

А есть которые проходят по мосту Альма и... Если бы внизу не было воды, всё равно бы прошли по нему...

А это глупо, потому что по мосту для того и идут, потому что под ним вода... А иначе, понимаешь, никто бы не стал делать по нему крюк...

А люди говорят: «Непонятно, на что наши деньги тратятся». И не смотрят вниз...

Вот, парень смотрит туда, ему интересно, значит, ага...

«Через полчаса...»

Потому что обычно на это уходит полчаса, ну, я сокращу всё-таки...

Потому что нам не хочется полчаса тратить на...

«Через полчаса приходит туда ещё один парень. Что он видит? Видит парня, который уже там стоит и смотрит в воду...Итак, парень...»

Потому что парень этот, ну и другой тоже, они ведь... Теперь их уже двое...

Это, вы записывайте, я повторять не буду потом...

«Итак, другой парень подходит и спрашивает: «Э, скажите, зачем вы смотрите в воду?» так парень говорит швейцарцу... А тот ему отвечает: «Вот дерьмо-то приключилось – я очки уронил в Луару...»».

Дело-то в чём, мост Альма – через Сену... Так что, если кто не знает... ни хрена шутку не поймёт... Да, в этом месте течёт Сена, ага, потому что...

«Парень ему отвечает: «Вот дерьмо-то приключилось – я очки уронил в Луару».

Да, не стоит, конечно, всех швейцарцев за придурков держать. Есть бельгийцы такие, что...

«Второй ему отвечает: «Эй, да это не Луара, а Сена!», ага.

Смешно, да? Но это ещё не всё...

«Так, второй отвечает... Значит, второй отвечает...«Эй, да это не Луара, а Сена!»

Сейчас продолжу, подождите немного...

«А первый ему говорит: «Да вы-то понятно, знаете, а я же без очков, откуда мне...»

Вот смешная история, правда?

Публикуется по:

<http://nikkur.ru/kolyush-istoriya-pro-odnogo-parnya-perevod/>

Юмор Чехии

Osirelé dítě a tajemná jeho matka

Jaroslav Hašek

KAPITOLA I

OSIŘELÉ DÍTĚ S MODRÝMA OČIMA

Jmenovala se Tonička a postrádala tepla lásky mateřské a lásky otcovské. Pak se dostala k jednomu obchodníkovi. Tam chodila nakupovat služka jednoho redaktora jistého měšťáckého listu.

Nato dostavila se okurková sezóna. Nebylo o čem psát.

Ta Tonička měla modré oči...

Pro pláč vypadlo mně péro z ruky...

KAPITOLA II

LISTONOŠ S PENĚZI

Svižným krokem vstoupil listonoš s penězi Jan Hromada (45 let, zachovalý, katolík, ženatý, příslušný do Libice, hejtmanství Kolín nad Labem. Zvláštní znamení: Mateřské znamínko pod pupečním důlkem) do krámu, kde sloužilo osirelé dítě. „Jest Tonička přítomna?“ tázal se hlasem chvějícím se, neboť četl, co stálo na poukázce.

„Ano,“ odpověděl chvějícím se hlasem obchodník, když listonoš třesoucím se hlasem dodal: „Nesu jí sto korun.“

Na poukázce stálo: „Milé dítě! Odpusť, nemohu si pomoci, déle se nemohu již zapírat. Jsem tvá matka a už jsem s tebou mluvila. Srdce mně puká. Bud pilná a důvěřuj v Pána Boha. Bůh tě neopustí. Prozatím máš sto korun. Tvá matka!“

Když to četli Toničce, upustila tato třílitrovou nádobu s lihem, který se rozlil po krámu. Mohla to dělat, měla sto korun.

KAPITOLA III

STATEČNÝ ČIN PENSISTY PAVLÍKA

V následujícím okamžiku vstoupil do krámu pětadesátiletý pensista Josef Theodor Pavlík. V ruce držel zapálený doutník. Vida, že je v

krámu rozlit denaturovaný líh, statečně odhodil hořící doutník otevřeným oknem na hlavu jednomu kolemjdoucímu chodci. Čin ten zasluhuje plného obdivu jako důkaz neobyčejné chladnokrevnosti a odvahy. Jinak byl by možná líh se vzňal, a poněvadž v krámě nacházel se právě velký 243gnora s benzinem, nebylo by možno 243gno pokračovat v pohnutlivé historii. Zuhelnatěním mrtvol, nacházejícím se ve vyhořelém krámu, skončila by tato pohnutlivá historie. Kromě toho čin onoho pensisty je tím záslušnější, poněvadž bystrým nápadem zachránil státu listonoše s penězi.

Ministerstvo obchodu volá tímto statečnému muži: „Zaplat' pánbůh!“

Když pensista Pavlík vyšel z krámu, nenalezl svůj odhozený doutník. Ten vykouřil kolemjdoucí chodec, kterému padl na hlavu.

KAPITOLA IV

OBCHODNÍ ČIN OBCHODNÍKA

Za čtvrt hodiny po přijetí do K pro Toničku vyšel obchodník z krámu. Koupil si malý lístek na elektrickou tramvaj a jel do redakce listu, jež redaktorem byl pán, zaměstnávající u sebe služku, která chodila nakupovat do krámu obchodníka, který právě šel na návštěvu k onomu redaktorovi. Jak vidět, pěkně se to všechno vyvíjí.

Hovořil přes hodinu s panem redaktorem. Redaktor zářil. Taková pohnutlivá historie právě v době, kdy je okurková sezóna v plném proudu.

„Zítřka to bude v listě,“ rozloučil se s obchodníkem, „243gno tam ovšem 243gno plné jméno.“

Nato šel obchodník do insertního oddělení, kde si objednal na zítřek inserát na dobrém místě. Toho dne tržil jako obyčejně.

KAPITOLA V

NÁSLEDKY ČLÁNKU „TAJEMNÁ MATKA“

Redaktor držel slovo. Druhého dne objevil se v listu článek: „Tajemná matka“. Byl přes celé tři sloupce. Plačtivý úvod byl stlučen z Marlitové, Karlénové, Svarcové a jiných rozbrečených spisovatelek rodinných. Pak následovalo jméno nynějšího ochránce Toničky. Obchodník Václav Zeman v ulici Kamínského číslo 18.

Vzadu pak v insertní části byl inserát: „Václav Zeman, obchod koloniálním zbožím v Kamínského ulici číslo 18, doporučuje ctěnému obecenstvu svůj hojně zásobený krám zbožím kupeckým. Sýry, salámy,

masité i rybí konzervy. Výtečné 244 gno, červené i 244 gno, i litr i K. Výtečná směs kávová za 2 K 20 h, cukr levnější. Litr rumu od 80h výše. Vždy čerstvé čajové máslo.”

Toho dne chtěly vinohradské ženy a dívky vidět Toničku a zaplakat si s ní v krámu.

Plakalo se tam od rána do večera. Tonička už nemohla plakat, tak si musela vzadu číchat k cibuli a slzet nanovo.

Také ji několik starých pánů štípalo do tváře. Není to nic zlého, poněvadž jí bylo teprve patnáct let. Ze všeobecného 244gnor ozývaly se výkřiky: „Mně dejte kilo kávy!” „Mně pět kilogramů cukru!” „Litr rumu!” „Láhev vína!”

Václav Zeman nestačil obsluhovat kupující. Musel si vzít na výpomoc. Jeho žena se 244gno potila. Vinohradské ženy a dívky nakupovaly na celý týden.

Večer před desátou hodinou, když zavírali, přišla ještě jedna uplakaná paní. Až odněkud z Modřan. Už jí neměli co prodat, tak jí prodali 244gnor mosazné závaží.

Listu s článkem „Tajemná matka” prodalo se o deset tisíc exemplářů víc.

KAPITOLA VI

HLUCHONĚMÁ SLUŽKA

Aby se toto všechno ještě lépe vyvinulo, vypátralo se, že žena, která porodila v porodnici Toničku, porodila ji na knížku jedné hluchoněmé služky, která se posuňky zapřísahala, že není matkou Toničky. Že jest hluchoněmá, těžce nesl onen 244gnoranc, poněvadž se s ní nemohl, jak přirozeno, živou mocí dohovorit. Chystal totiž do 244gnor rubriky listu: „Tajemná matka a osiřelé dítě” sloupec s názvem: „Hovor s domnělou, nepravou matkou”.

Několik vinohradských paní a dívek poslalo hluchoněmé služce pohlednice.

Státní zastupitelství vneslo na hluchoněmou služku žalobu pro klamání úřadů, poněvadž neporadila, když porodit měla, na svou knížku v porodnici.

Místo aby si vzala obhájce, vypravila se hluchoněmá služka na Svatoj Horu, zanechavši doma lístek, který všeobecně překvapil a byl ihned donesen do redakce.

Lístek zněl: „Jedu se vyzpovídat!“

Na základě toho vyslalo policejní ředitelství za hluchoněmou služkou dva detektivy, převlečené za kněze.

KAPITOLA VII

NOVÁ PSANÍ, NOVÁ ODHALENÍ A NOVÉ OBCHODY

Tonička dostávala den co den nové psaní od „tajemné matky“. Pan Václav Zeman donášel je svědomitě do redakce, která je otiskovala s případnými vzdechy.

Pět vyrabitelů pohlednic číhalo 245gnor s fotografickými aparáty.

ženatí mužové dívali se s podezřením na své ženy a vyptávali se jich, dali jim přísahat, že před nimi 245gnora žádnou jinou lásku.

Jeden muž nemohl se dopočítat v pokladně sta korun, a maje svou ženu v podezření, že je poslala Toničku, vzal břitvu, oholil se a šel na úřad žádat o rozvod.

Zatím došlo na Toničku na čtyři sta korun všeho všudy dohromady a domovnice počala Toničku říkat: „Ruku líbám, slečinko!“

Tonička chtěla nosit dlouhou sukni a plakala, když ji nedostala.

Hned nato dostala nové psaní od tajemné své matky: „Milá Toničko, vím, že 245gnora, a nemohu si pomoci. Důvěřuj v Pána Boha a buď hodná, posílám Ti 30 K. Tvá nešťastná matka.“

Dopis ten byl 245gno uveřejněn. Závistiví lidé říkali: „Za 400 korun dělal bych 245gno osiřelé dítě.“

Jeden bývalý lesník prohlásil se za důvěrníka Toničky a současně dal do novin inserát: „Jelen není stížen tuberkulosou, poněvadž vyhledává si v lesích bylinu, která je hlavní součástí .Lesního čaje a koření’, které vyrábí bývalý lesník Suminský v Kamínského ul. č. 26. Mnoho poděkování z Ameriky, z Austrálie, Nového Zélandu, z ostrova Korsiky, Michle, Londýna, Paříže a Poděbrad“.

KAPITOLA VIII

RADY A ÚVAHY

Do redakce listu se stálou rubrikou: „Osiřelé dítě a tajemná jeho matka“ přicházela spousta dopisů. Za čtrnáct dní jich došlo 1256. Obsahovaly dílem rady, dílem úvahy, upozornění, napomínání, varování.

Psalo se, aby Tonička dala si pozor, by ji nevyhlákali někam ven. Jiný psal, že je přesvědčen, že Toničku chtějí zbláznit. Jaký by to mělo účel, nepověděl.

Konečně otiskl list vážnou radu. Prosbu k tajemné matce, aby se objevila. Proba ta byla dojemná. Vypracována byla pomocí smutných románů a tklivých historek. Opsány byly celé věty.

Na ulicích bylo vidět davy uplakaného lidu. šest osob se zbláznilo z lítosti a od 246gnor.

Třicet vinohradských paní a dívek osleple. Po celých Čechách plakaly ženy. Matky tiskly svá pacholátka, své dcerušky, k srdci. Udušeno v objetí mateřském pět pacholat a šest holčiček.

Jeden nadaný básník odrhovaček vydal nový hloupý duševní 246gnoran. Odrhovačku o osiřelém dítěti. Zpívala se jako: „Modré oči”.

Vinohradské paní a dívky chtěly, aby odrhovačku tu hrál 246gnorance ve Vinohradském divadle.

O tajemné matce zpívalo se celý den. Zpívajícími ženami napolo utlučen nějaký člověk, který slyše ji neslzel.

Konečně přišel do redakce důvěrník Toničky, vynálezce lesního koření pro jeleny i lidi.

List vydal pak výzvu k tajemné matce: „Nechť se tato dostaví do bytu vynálezce lesního čaje. O úplnou diskretnost a mlčelivost postaráno. Čestným slovem zavazuje se bývalý lesník zachovat mlčení. Tajemná matka není nucena koupit si jeho lesní koření.”

A za pár dní vyšlo zvláštní vydání jiného listu, zabývajícího se podobně senačními událostmi.

KAPITOLA IX

TAJEMNÁ MATKA OBJEVENA A DISKRÉTNOST ZACHOVÁNA

Zvláštní vydání večerního listu. Tajemná matka přišla dle rady vynálezce lesního čaje do jeho bytu. Úplná diskretnost zachována. Stálo v listu: „Váží nás čestné slovo, a proto zachováváme úplnou diskretnost. Jen tolik můžeme říci, že ona dáma, která je matkou Toničky, je vdovou a má několik dětí. Zamlčujeme zde její jméno, poněvadž jsme slíbili jednati diskretně. Proto můžeme ještě tolik dodat, že objevená matka jest majitelkou domu, v 246gno blízkosti Toniččině. Váží nás čestné slovo, že zachováme o ní úplné tajemství, proto nemůžeme říci nic 246gno, než že jest 35 let stará a že chtěla se znovu vdávat. Jak nám sdělila, je otec Toničky živ,

úředník, ženat a má též několik dětí. Více říci nám nedovoluje náš slib zachovati v té záležitosti úplně mlčení. Jen tolik můžeme říci, že je onen pán úplně podoben Toničce, jejíž podobiznu přineseme zítra v našem ilustrovaném listu zároveň s obrázkem tklivého shledání matky s dcerou.” Diskrétnost byla úplně zachována a večerního listu prodáno 60 000 exemplářů.

KAPITOLA X

OTEC VELMI PODOBEN TONIČCE

Uveřejnění podobizny Toničky v ilustrovaném listu mělo za následek, že holiči počali hned dopoledne dělat dobré obchody.

Ženatí úředníci s několika dětmi přicházeli, dávali si shazovat vousy, 247gnor zohyzďovat kníry.

Dvě stě ženatých úředníků s několika dětmi pečlivě ukrývalo před manželkami list s podobiznou Toničky.

Tři sta manželek žádalo o rozvod, dokazující nevěru mužovu frapantní podobou k Toničce.

Devadesát manželů se přiznalo k otcovství.

„Copak vám je hej, vy 247gno ženu venku, ale já jsem podoben Toničce!”

Pak přicházely do redakce výhružné dopisy.

Prodáno přes sto tisíc exemplářů.

Každá manželka úředníka v Čechách koupila si jeden 247gnoranc.

Bůh ví, jak to dopadne... Nikdo neví jak, jen jeden sazeč mně říká, že mají přichystány nápisy do novin pod názvem: „Otec Toničky si zoufal”. „Tajemná matka spáchala sebevraždu”.

„A zase na tom vyděláme,” pravil s úsměvem sazeč.

Публикуется по: <http://www.kakanien.info/text/category/loupezny-vrah-pred-soudem-jaroslav-hasek/loupezny-vrah-pred-soudem-jaroslav-hasek-osirele-dite-a-tajemna-jeho-matka>

Осиротевшее дитя и его таинственная мать

(Трогательная история, заимствованная из буржуазной прессы)

Ярослав Гашек

Глава I

ОСИРОТЕВШЕЕ ДИТЯ С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ

Ее звали Тонечкой; она не знала тепла материнской и отцовской любви. И поступила в один магазин. А туда ходила делать покупки служанка редактора одной газеты.

Вскоре начался мертвый сезон. Не о чем стало писать.

У этой Тонечки были голубые глаза...

У меня от слез перо валится из рук...

Глава II

ПОЧТАЛЬОН С ДЕНЬГАМИ

Почтальон Ян Громада (сорока пяти лет, хорошо сохранившийся, женатый, католик, уроженец Либице, Колинского уезда на Лабее; особые приметы: родинка под пупком) упругим шагом вошел в магазин, где служило осиротевшее дитя.

— Тонечка здесь?—спросил он дрожащим голосом, так как уже прочел, что стояло в переводе.

— Здесь, — дрожащим голосом ответил владелец магазина, после того как почтальон срывающимся голосом прибавил:

— Я принес ей сто крон.

А на бланке перевода было написано:

«Милое дитя мое! Прости меня, я больше не в силах, не могу молчать. Я — твоя мать и уже разговаривала с тобой. У меня сердце разрывается на части. Служи усердно и надейся на бога. Он тебя не покинет. А пока вот тебе сто крон. Твоя мать».

Когда Тонечке прочли это, она уронила трехлитровую бутылку со спиртом, и спирт разлился по всему помещению.

Она могла себе это позволить: у нее было сто крон.

Глава III

МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОСТУПОК ПЕНСИОНЕРА ПАВЛИКА

В следующее мгновение в магазин вошел шестидесятипятилетний пенсионер Йозеф Теодор Павлик. В руке у него была дымящаяся сигара. Увидев, что в магазине пролили денатурат, он мужественно выкинул горящую сигару в открытое окно — одному прохожему на голову.

Поступок этот достоин величайшего восхищения, как доказательство необычайного хладнокровия и отваги. Ведь спирт мог вспыхнуть, и, поскольку в помещении находился галлон бензина, наша трогательная история не могла бы иметь продолжения. Она закончилась бы обугливанием трупов в выгоревшем магазине.

Кроме того, поступок этот заслуживает одобрения еще и потому, что благодаря своей быстроте и находчивости пенсионер Павлик сохранил государству почтальона и деньги.

Министерство торговли восклицает моими устами: «Да возрадуют господь бог этому доблестному мужу!»

По выходе из магазина пенсионер Павлик не нашел брошенной им сигары.

Ее докурил тот самый прохожий, которому она свалилась на голову.

Глава IV

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСТУПОК КОММЕРСАНТА

Через четверть часа после получения ста крон для Тонечки владелец магазина вышел на улицу. Купил трамвайный билет и поехал в редакцию газеты, которую редактировал тот самый господин, чья служанка ходила делать покупки в магазин того владельца, который отправился теперь к этому редактору.

Вы видите — все идет как по маслу.

Беседа с редактором длилась больше часа. Редактор ликовал. Такая трогательная история — и как раз в самую глухую пору мертвого сезона!

— Пойдет в завтрашнем же номере, — объявил редактор, прощаясь с владельцем магазина. — И я, конечно, дам полностью вашу фамилию.

После этого владелец магазина отправился в отдел объявлений и заказал там объявление в завтрашнем номере на видном месте.

В тот день его выручка была обычной.

Глава V

ПОСЛЕДСТВИЯ СТАТЬИ «ТАИНСТВЕННАЯ МАТЬ»

Редактор сдержал слово.

На другой день в газете появилась статья «Таинственная мать». Три с лишним колонки. Жалостное вступление было состряпано из Марлит, а также Карлен, Шварц и других слезливых писательниц-авторш семейных романов.

Далее следовали фамилия и адрес теперешнего покровителя Тонечки: торговец Вацлав Земан, ул. Каминского, д. № 18.

А на последней полосе, среди объявлений, было такое: «Вацлав Земан, торговец колониальными товарами, рекомендует вниманию почтеннейшей публики свой магазин по улице Каминского, дом № 18. Большой выбор: сыр, колбаса, мясные и рыбные консервы. Вино высших марок — красное и белое! 1 крона литр. Превосходная смесь кофе — 2 кроны 20 геллеров. Дешевый сахар. Литр рома — от 80 геллеров и выше. Всегда свежее сливочное масло».

В тот день все Виноградские женщины и девушки пожелали видеть Тонечку, чтобы плакать с ней.

Плач стоял в магазине с утра до вечера.

У Тонечки в конце концов глаза пересохли, так что ей приходилось бегать в чулан нюхать лук, чтобы плакать дальше.

Приходили и старички, щипали ее за щечку. Тут нет ничего плохого: ведь ей было всего пятнадцать лет.

Среди всеобщих рыданий слышались выкрики:

— Мне кило кофе!

— Мне пять килограммов сахара!

— Литр рома!

— Бутылку вина!

Вацлав Земан не успевал обслуживать покупателей. Пришлось взять подмогу. Жена тоже трудилась в поте лица. Виноградские женщины и девушки накупали продуктов на целую неделю.

Часов в десять, только стали запираать магазин, пришла еще одна заплаканная дама. Издалека, откуда-то с Модржан. Товару больше никакого не было, так что ей продали старую медную гирию.

Номер газеты со статьей «Таинственная мать» разошелся тиражом на десять тысяч экземпляров больше обычного.

Глава VI

ГЛУХОНЕМАЯ СЛУЖАНКА

К довершению эффекта обнаружилось, что женщина, родившая Тонечку в родильном доме, воспользовалась рабочей книжкой одной глухонемой служанки, которая при помощи жестов поклялась, что не является матерью Тонечки. Физический недостаток ее очень огорчал редактора, так как, вполне естественно, лишал его возможности непосредственно с ней договориться.

Дело в том, что для постоянного раздела «Осиротевшее дитя и таинственная мать» в своей газете он уже приготовил колонку под заголовком: «Разговор с мнимой, ненастоящей матерью».

Несколько Виноградских дам и барышень прислали глухонемой служанке открытки.

Прокурор потребовал привлечь глухонемую служанку к ответственности за обман властей, поскольку она не родила, между тем как, согласно рабочей книжке, должна была родить.

Глухонемая служанка, вместо того чтоб нанять адвоката, отправилась на Святую Гору, оставив дома записку, которая всех озадачила и была тотчас доставлена в редакцию.

Там было написано:

«Еду исповедоваться!»

В связи с этим полицейское управление отправило по следам глухонемой служанки двух сыщиков, переодетых священниками.

Глава VII

НОВЫЕ ПИСЬМА, НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ И НОВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Тонечка каждый день получала от «таинственной матери» новые письма. Вацлав Земан добросовестно относил их в редакцию, которая печатала их с приличествующими случаю вздохами.

Пять фотографов, выпускающих художественные открытки, охотились за Тонечкой с фотографическими аппаратами.

Мужья стали подозревать своих жен и допрашивать их, заставляя клясться, что у них до свадьбы не было любовника.

Один муж, недосчитавшись у себя в кассе ста крон и заподозрив, что жена послала их Тонечке, взял бритву, побрился и пошел требовать развода.

Между тем у Тонечки скопилось в общей сложности четыреста крон, и привратница стала говорить ей: «Целую ручку, барышня».

Тонечке захотелось иметь длинное платье, и она расплакалась, когда ей не позволили.

Вскоре после этого она получила новое письмо от таинственной матери:

«Милая Тонечка!

Я знаю, что ты плачешь, но не могу тебе помочь. Надейся на бога и будь умницей. Посылаю тебе тридцать крон.

Твоя несчастная мать».

Это письмо тоже было опубликовано.

Завистники толковали:

— За четыреста крон и я согласен изображать осиротевшее дитя.

Один бывший лесник, выдавая себя за поверенного Тонечки, поместил в газетах объявление:

«Олень не знает туберкулеза, так как находит в лесу траву, составляющую главный ингредиент «Лесного чая и настоя», изготовляемого бывшим лесником Шуминским, — ул. Каминского, д. № 26. Много благодарственных писем из Америки, Австралии, Новой Зеландии, с острова Корсики, из Михле, Лондона, Парижа и Подебрад».

Глава VIII

СОВЕТЫ И СООБРАЖЕНИЯ

В редакцию газеты с постоянным разделом «Осиротевшее дитя и его таинственная мать» приходило множество писем. За две недели их набралось тысяча двести пятьдесят шесть. Одни с советами, другие с соображениями, напоминаниями, предостережениями.

Писали о том, что Тонечка должна быть осторожна, не выходила бы одна на улицу.

Один утверждал, что Тонечку хотят свести с ума. С какой целью, он не объяснял.

Наконец газета опубликовала очень серьезный материал: просьбу к таинственной матери назвать себя. Просьба была проникновен-

ная. Ее составили, используя печальные романы и чувствительные рассказы. Были позаимствованы целые фразы.

На улицах толпился плачущий народ. Шесть человек помешались от жалости и рыданий.

Тридцать Виноградских дам и девушек ослепло. Женщины плакали по всей Чехии. Матери прижимали своих сыночков и доченек к сердцу. Пять парнишек и шесть девчуток задохлось в материнских объятиях.

Один вдохновенный поэт-песенник пустил в ход новый дурацкий продукт своей духовной деятельности: песенку об осиротевшем ребенке. Ее стали петь на мотив: «Голубые глазки».

Виноградские дамы и девушки пожелали, чтобы эту песенку исполнял оркестр в Виноградском театре.

О таинственной матери распевали весь день. Поющие женщины избили до полусмерти человека, который слышал пение и не проследился.

Наконец в редакцию явился поверенный Тонечки, открыватель лесного корня для оленей и людей. После этого газета опубликовала новое обращение к таинственной матери: «Просьба явиться на квартиру к изобретателю «лесного чая». Гарантируем полную тайну и молчание! Бывший лесник дает честное слово никому ничего не говорить. Таинственная мать не обязана покупать его лесной корень».

А через несколько дней появилось новое сенсационное сообщение.

Глава IX

ТАИНСТVENНАЯ МАТЬ ОБНАРУЖЕНА, И ТАЙНА СОБЛЮДЕНА

Специальный выпуск «Вечерней газеты».

Таинственная мать откликнулась на приглашение изобретателя «лесного чая» и пришла к нему на квартиру.

Полная тайна соблюдена.

В газете стояло следующее:

«Мы связаны честным словом, поэтому соблюдаем полную тайну. Можем сообщить только, что дама, являющаяся матерью Тонечки, — многолетняя вдова. Не публикуем ее фамилию, так как обещали молчать. Поэтому можем только прибавить, что она имеет собственный дом в непосредственной близости от местожительства Тонечки. Мы дали честное слово соблюдать полную тайну и можем сообщить

лишь то, что ей тридцать пять лет и она намеревается снова вступить в брак. По ее словам, отец Тонечки жив; он чиновник и тоже имеет несколько детей. Вдаваться в дальнейшие подробности нам не позволяет данное нами дважды обещание молчать об этом деле. Можем еще добавить, что господин этот как две капли воды похож на Тонечку, портрет которой мы даем в завтрашнем номере нашего иллюстрированного приложения вместе со снимком, запечатлевшим сцену трогательного свидания матери с дочерью».

Тайна была полностью соблюдена, а номер «Вечерней газеты» разошелся в количестве шестидесяти тысяч экземпляров.

Глава X

ОТЕЦ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОХОЖ НА ТОНЕЧКУ

Опубликование портрета Тонечки в «Иллюстрированном приложении» имело тот результат, что уже с утра бойко заработали парикмахерские.

Женатые и многодетные чиновники приходили сбрить бороду или обкорнать усы.

Двести женатых и многодетных чиновников тщательно прятали от жен номер с портретом Тонечки.

Триста жен потребовали развода, ссылаясь на бросающееся в глаза сходство своих мужей с Тонечкой.

Девяносто мужей признались в отцовстве:

«Вам-то хорошо, у вас жена на даче. А я похож на Тонечку!»

Редакция стала получать угрожающие письма.

Газета разошлась в количестве ста с лишним тысяч экземпляров.

Жена каждого чешского чиновника купила экземпляр.

Бог весть, чем все это кончится. Никто не знает. Но один наборщик сказал мне, что у него заготовлены газетные заголовки такого рода:

«Отец Тонечки — в отчаянии».

«Таинственная мать покончила жизнь самоубийством».

— На этом опять заработаем, — с улыбкой добавил наборщик.

Перевод Д. Горбова

Публикуется по: Чешская сатира и юмор. М., 1962.

O lyrickém zloději

Karel Čapek

„Ono to někdy vypadá jinak,“ ozval se po náležitém mlčení pan Zach, redaktor. „Kolikrát člověk opravdu neví, je-li to špatné svědomí nebo spíš taková chlubitivost a okázalost; hlavně tihle zločinci z povolání by snad praskli, kdyby se nemohli sem tam holedbat tím, co provedli. Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala; takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu; dělají to pro peníze nebo z lehkomyšlnosti nebo vlivem špatných přátel, ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikášství – to máte stejné jako u těch politikářů a vůbec veřejně činných osob.

Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinový týdeník, Posla Východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. Ona to je taková mírná pahorkatina, jako by ji vymaloval, se švestkovými alejemi a tichými potůčky; ale já jsem týdně burcoval „náš drsný horácký lid, tvrdě zápasící o skývu chleba s nehostinnou přírodou a nepřízní vlády“, – páni, to se vám tak krásně a od srdce psalo; jenom dvě léta jsem tam působil, ale za ta dvě léta jsem vštípil tamnímu lidu přesvědčení, že jsou drsní horalové, že jejich kraj je chudobný sice, ale melancholicky krásný a hornatý – já myslím, víc novinář nemůže udělat než vykouzlit na Čáslavsku jakýsi druh Norska. Z toho je tak vidět, jakých velikých úkolů jsou noviny schopny.

To víte, takový krajinový redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá: „Tak, dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím; a co byste tomu řekl, pane redaktore, ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň; to přece je drzost, no ne?“

„Ukažte mně tu báseň,“ řekl jsem honem, „to bude něco pro Posla; uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytíme. Mimoto, pane, jen si povazte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý kraj!“

Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu Východu. Já vám ji povím, pokud, pokud si ji ještě pamatuju; bylo to nějak takhle:

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest,

sedum, vosum, devět, deset,
jedenáct a dvanáct bije,
to je hodina pro zloděje.
Když jsem ty dveře páčil,
někdo po ulici kráčel,
to bych nebyl zloděj, kdybych se bál,
ty kroky šly pořád dál a dál,
když člověk v takový tmě poslouchá,
slyší, jak mu srdce bouchá,
to srdce je sirotek jako já,
maminka by nade mnou plakala,
někdo má na světě neštěstí,
já jsem tu tak sám, to jen myš šelestí,
myš a já, zloději voba,
proto jsem jí nadrobil kus chleba,
vona se nechce ukázat, kde je,
zloděj se musí bát i zloděje.

A tak to šlo ještě dál, až na konec bylo:
Moh bych toho napsat ještě 256gno,
ale vona mně už dohořívá svíce.

Teda tu báseň jsem otiskl s obširným rozbořem dušezpytným a kra-
sovědným; vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné
struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace; tisk jiných stran
a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh; 256gnor
odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný
překlad z angličtiny a kdesi cosi. Ale když jsem byl v nejlepší polemice za
našeho krajinského zloděje-básníka, přišel ke mně ten policejní komisař a
povídá: „Tak, pane redaktore, už by s tím mohl být konec, s tím vaším
zatraceným zlodějem; považte si, tohohle týdne už zase vykradl dva byty a
jeden krám, a pokaždé nechal na místě činu dlouhou báseň!“

„To jsem rád,“ jářku, „otiskneme to!“

„To by tak hrálo,“ bručel komisař. „Pane, to je nadřžování
zločincům! Vždyť ten chlap teď krade jen z takové probuzené literární
ctižádsti! Nyčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně
nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete; já myslím,
že ten holomek pak přestane krást.“

„Hm,“ povídám, „tohle my napsat nemůžeme, když už jsme ho jednou chválili; ale víte co, nebudeme mu víc ty básně otiskovat, a je to.“

Dobrá; za dalších čtrnáct dní se událo pět nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale Posel Východu o nich mlčel jako zařezaný. Jenom jsem měl 257gnora, aby se náš zloděj z uražené autorské ješitnosti neodstěhoval na Turnovsko nebo Tábořsko a nestal se materiálem tamního krajinického tisku; považte si, jak by se tam ti paprikové vypínali! – Tím mlčením byl náš zloděj jaksi zmaten; asi po tři 257gnora byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly vysílány poštou 257gnor do redakce Posla Východu. Ale Posel Východu se zatvrdil; jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší; autor se začal opakovat a vymýšlet si takové romantické hejble a ciráty; zkrátka počal se chovat jako skutečný spisovatel.

Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a rozškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji.

„Nerozsvěcet,“ řekl temný hlas, „to jsem já.“

„Aha,“ řekl jsem, „a co byste chtěl?“

„Já se vás jdu zeptat,“ řekl temný hlas, „co je s těmi básněmi.“

„Človíčku,“ povídám – to jsem ještě pořád nevěděl, oč jde – „ted' přece nejsou redakční hodiny. Přijďte si zítra v jedenáct.“

„A vy mě 257 gno sebrat,“ řekl hlas trpce. „To nejde. Proč už netisknete mé básně?“

Ted' teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. „To by byla dlouhá kapitola,“ řekl jsem mu. „Sedněte si, mládenče. A když to chcete vědět, já ty 257gno básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak.“

„Já myslel,“ řekl hlas bolestně, „že ... že nejsou horší nežli ta první.“

„Ta první ušla,“ pravil jsem přísně. „Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko; ale ty další, člověče, byly pro kočku.“

„Ale dyť,“ zaúpěl hlas, „dyť já je psal stejně jako tu první!“

„To je právě to,“ řekl jsem tvrdě. „Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky...“

„Dyť já je slyšel,“ bránil se hlas. „Pane redaktore, když jeden krade, tak musí špicovat uši, kdo to venku šlape!“

„A zase v nich bylo o té myši,“ pokračoval jsem.

„Vo tej myši,“ pravil hlas malomyslně. „Když tam ta myš dycky je! Ale já 257gnor psal jenom ve třech...“

„Zkrátka,“ přerušil jsem ho, „z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Přítelíčku, to nejde. Básník se nesmí opakovat.“

Hlas chvilku mlčel. „Pane redaktore,“ řekl po chvíli, „když vono to je pořád stejný! Zkuste to krás, vona je jedna krádež jako druhá. To je těžká věc.“

„Je,“ řekl jsem. „Měl byste začít z jiného soudku.“

„Snad abych vykradl kostel,“ navrhol hlas. „Nebo krchov.“

Potrásl jsem energicky hlavou. „To nikam nevede,“ povídám. „Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mně chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv. Například svědomí.“

Hlas chvilku přemýšlel. „To jako myslíte výčitky svědomí?“ řekl váhavě. „Myslíte, že ty básně pak budou lepší?“

„To se rozumí,“ zvolal jsem. „Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zjitřenost!“

„Já to zkusím,“ pravil hlas zamýšleně. „Já jenom nevím, esli s tím budu moct krásť. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, tak ho spíš čapnou.“

„A kdyby!“ křikl jsem. „Člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytli! Copak si nedovedete představit, jaké básně byste psal in carcere et catenis? Já bych vám ukázal jednu báseň z vězení, to byste mrkal!“

„A byla v novinách? ptal se hlas dychtivě.“

„Holenku,“ povídám, to je jedna z nejslavnějších 258gnor na světě. Rozsvěťte, já vám ji 258gnora.“

Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, 258gnora uhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildeovy Balady ze žaláře v Readingu. Víte, tehdy to bylo v 258gno.

Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem jako tehdy tu baladu, víte, ty 258gnor: Tak každý zabíjí, jak dovede – Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka; a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tvář a vzlykal.

Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle: Otevřel jsem okno a řekl jsem: „Nejkratší cestu 258gno tamhle přes plot. Dobrou noc.“ – A zhasil jsem lampu.

„Dobrou noc,“ děl rozechvělý hlas potmě, „tak já to tak nějak zkusím. Děkuju uctivě.“ – Potom zmizel tiše jako netopýr; byl to přece jenom šikovný zloděj.

Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tužky. Na tom papíře bylo jen napsáno:

Každěj krade, jak dovede – a dál nic; nejspíš to měla být 259gnoranc na Baladu ze žaláře v Readingu.

Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mně od něho doručili sešit 259gnor. Bylo to strašné: samá vlhká podzemní kobka, kasematy, mříže, řinčící okovy na nohou, ztuchlý chléb, cesta k šibenici a kdesi cosi; já jsem se až hrozil, jaké děsné poměry musí panovat v dotyčném kriminále. Prosím vás, takový novinář vleze všude; tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní 259gnoranc; a toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku.

„Tak co,“ povídám mu, „kdepak 259gno ty řinčící okovy, co jste o nich psal?“

Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. „Pane redaktore,“ koktal „dyť vo tom, co tu je, se nedají psát žádný básně! To je těžká věc, že jo.“

„A jste spokojen?“ ptám se ho.

„Jináč bych byl,“ bručel rozpačitě. „Ale není tu vo čem psát.“

Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice Ze soudní 259gno, ani v poezii.“

Публикуется по: http://www.v-art.cz/taxus_bohemica/revue-chk/r06c01/bloky/literarnespolecensky-zi-vot/karel-capek.htm

Взломщик-поэт

Карел Чапек

— Случается иной раз и по-другому, — прервав молчание, сказал редактор Зах, — Иногда просто не знаешь, что движет человеком — угрызения совести или хвастливость и фанфаронство. Особенно профессиональные преступники — эти просто лопнули бы с досады, если бы не могли всюду трезвонить о своих похождениях. Мне думается, что многие из них зачахли бы с тоски, если бы общество не проявляло к ним интереса. Эдакие специалисты прямо-таки греются в лучах общественного внимания. Я не утверждаю, конечно, что люди крадут и грабят только ради славы. Делают они это из-за денег, по легкомыслию или под влиянием дурных товарищей. Но, вкусив однажды *aura popularis* [преходящая славы (лат)], преступники впадают в этакую манию величия, так же как, впрочем, политиканы и разные там общественные деятели.

Несколько лет назад я редактировал отличную провинциальную еженедельную газету «Восточный курьер». Сам-то я, правда, уроженец западной Чехии, но вы бы не поверили, с каким пылом я отстаивал местные интересы восточных районов! Край там тихий, холмистый, так и просится на картинку, журчат ручейки, растут сливовые деревья... Но я еженедельно призывал «наш кряжистый горный народ» упорно бороться за кусок хлеба с суровой природой и неприязненно настроенным правительством! И писал я все это, доложу вам, с жаром, от всего сердца. Два года я проторчал в «Восточном курьере» и за это время вдолбил тамошним жителям, что они «кряжистые горцы», что их жизнь «тяжела, но героична», а их холмистый край «хоть и беден, но поражает своей меланхолической красотой». Словом, превратил Чаславский район почти в Норвегию. Из этого видно, на какие великие дела способны журналисты!

Работая в провинциальной газете, надо, разумеется, прежде всего не упускать из виду местных событий. Вот однажды зашел ко мне полицейский комиссар и говорит:

— Сегодня ночью какая-то бестия обчистила магазин Вашаты, знаете, — «Торговля бакалейными товарами». И как вам понравится, господин редактор, — этот негодяй сочинил там стихи и оставил их на прилавке! Ну, не наглость ли это, а?

— Покажите стихи, — сказал я быстро. — Это подойдет для «Курьера». Вот увидите, наша газета поможет вам обнаружить преступника. Но и сам по себе этот случай — сенсация для города и всего края!

Словом, после долгих уговоров я получил стихи и напечатал их в «Восточном курьере». Я прочту вам из них, что помню. Начинались они как-то так:

Вот час двенадцатый пробил,
Громила, час твой наступил.
Все хорошенько взвесь и смерть,
Когда ты взламываешь дверь.
Чу! Слышны на дворе шаги.
Я здесь один, мне все — враги.
Но я не трушу. Тишина.
Лишь сердце дрогнет, как струна.
Шаги затихли. Пронесло!
Эх, воровское ремесло!
Дверь заскрипела, подалась,
Теперь не трусь и в лавку влазь.
Сиротка я. Судьба мне — камень.
Вот слёз бы было бедной маме...
Пропала жизнь. Мне не везет.
Вот слышу, где-то мышь грызет.
Она да я — мы оба воры,
Нам жить в ладу, не зная ссоры.
Я поделиться с ней решил,
Ей малость хлебца крошил.
Нейдет. Отважится не скоро.
Видать, и вор боится вора.

Потом там было еще что-то, а кончалось так:

Писал бы — муза не смолкает,
— Да жалко, свечка догорает.

Я опубликовал эти стихи, подвергнув их обстоятельному психологическому и литературному анализу. Я выявил в них элементы баллады, благожелательно указал на тонкие струны в душе преступника. Все это произвело своего рода сенсацию. Газеты других партий Часлава и разных других городов нашего края утверждали, что это

грубая и нелепая фальсификация, иные недоброжелатели восточной Чехии заявляли, что это плагиат, скверный перевод с английского и так далее. Как раз в самый разгар полемики с оппонентами, когда я защищал нашего местного взломщика-поэта, ко мне снова заглянул полицейский комиссар и сказал;

— Господин редактор, не пора ли покончить с этим проклятым жуликом? Посудите сами: за одну неделю он обокрал две квартиры и еще лавку и всюду оставил длинные стихи.

— Хорошо, — сказал я. — Гиснем их в газете.

— Еще чего! — проворчал комиссар. — Да ведь это значит по-такать вору! К воровству его теперь побуждает главным образом литературное тщеславие. Нет, вы должны дать ему по рукам. Напишите в газете, что стихи дрянь, что в них нет никакой формы или мало настроения, — словом, придумайте что-нибудь. Тогда, мне кажется, воруга перестанет красть.

— Гм; — говорю я, — этого написать нельзя, поскольку мы только что его расхвалили. Но знаете что? Не будем печатать его стихов, и баста!

Прекрасно. В ближайшие две недели было зарегистрировано пять краж со взломом и стихами, но «Восточный курьер» молчал о них, словно воды в рот набрал. Я, правда, опасался, как бы наш вор, побуждаемый уязвленным авторским самолюбием, не перебрался куда-нибудь в Турнов или Табор и не стал там сенсацией для тамошней пишущей братии. Представляете себе, как бы они обрадовались?

Взломщик был так сбит с толку нашим молчанием, что недели три о нем не было ни слуху ни духу, а потом кражи начались снова, с той разницей, что стихи он теперь посылал по почте прямо в редакцию «Восточного курьера». Но «Курьер» был неумолим. Во-первых, я не хотел вызывать недовольства местных властей, а во-вторых, стихи с каждым разом становились все хуже. Автор начал повторяться, изобретал какие-то романтические выкрутасы — словом, стал вести себя как настоящий писатель.

Однажды ночью прихожу я, посвистывая, как скворец, к себе домой и чиркаю спичку, чтобы зажечь лампу. Вдруг у меня за спиной кто-то дунул и погасил спичку.

— Не зажигать света! — сказал глухой голос. — Это я.

— Ага! — отозвался я. — А что вы хотите?

— Пришел спросить, как там с моими стихами, — ответил глухой голос.

— Приятель, — говорю я, не сообразив сразу, о каких стихах идет речь. — Сейчас неприемные часы. Приходите завтра в редакцию в одиннадцать.

— Чтобы меня там сцапали? — мрачно спросил голос. — Нет, это не пойдет. Почему вы не печатаете больше моих стихов?

Тут только я догадался, что это наш вор.

— Это долго объяснять, — сказал я ему. — Садитесь, молодой человек. Хотите знать, почему я не печатаю ваших стихов? Пожалуйста. Потому что они никуда не годятся. Вот.

— А я думал... — печально сказал голос, — что... что они не хуже тех первых.

— Да, первые были неплохи, — сказал я строго. — В них была непосредственность, понимаете? Искреннее чувство, свежесть, острота восприятия, настроение — словом, все. А остальные стихи, милый человек, ни к черту не годятся.

— Да я будто... — жалобно произнес голос, — будто я написал их так же, как и те первые.

— Вот именно, — сказал я неумолимо. — Вы лишь повторялись. Опять в них были шаги на улице...

— Так я же их слышал, — защищался голос. — Господин редактор, когда воруешь, надо держать ушки на макушке, слушать, кто там под окном шлепает.

— И опять в них была мышь... — продолжал я.

— Мышь! — нерешительно возразил голос. — Так в лавках всегда бывают мыши. Я об них писал только в трех...

— Короче говоря, — перебил я, — ваши стихи превратились в пустой литературный шаблон. Без оригинальности, без вдохновения, без новых образов и эмоций. Это не годится, друг мой. Поэт не смеет повторяться. Мой гость с минуту помолчал.

— Господин редактор, — сказал он, — да ведь оно завсегда одно и то же. Попробуйте воровать — что одна кража, что другая... Нелегкое это дело.

— Да, — сказал я. — Надо бы вам взяться за другое ремесло

— Обчистить церковь, что ли? — предложил голос — Или часовню на кладбище?

Я сделал энергичный отрицательный жест.

— Нет, — говорю, — это не поможет. Дело не в материале, молодой человек, дело в его творческой интерпретации. В ваших стихах нет никакого конфликта, в них каждый раз дается только внешнее описание заурядной кражи. Вам надо найти какую-нибудь свою внутреннюю тему. Например, раскаяние.

— Раскаяние? — с сомнением сказал голос. — И вы думаете, стихи тогда станут лучше?

— Разумеется! — воскликнул я. — Друг мой, это придаст им психологическую глубину и эмоциональность.

— Попробую, — задумчиво отозвался голос — Не знаю только, пойдут ли у меня кражи на лад. Понимаете, потеряешь тогда уверенность в себе. А без нее сразу засыплешься.

— А хоть бы и так! — воскликнул я. — Дорогой мой, что за беда, если вы попадетесь? Представляете себе, какие стихи вы напишете in carcere et catenis [в темнице и оковах (лат)]. Погодите, я вам покажу одну поэму, написанную в тюрьме. На это вам не мешает взглянуть.

— И она была в газетах? — спросил замирающий от волнения голос.

— Голубчик, это одна из самых прославленных поэм в мире Зажгите лампу, я вам ее прочту.

Мой гость чиркнул спичку и зажег лампу. Он оказался бледным, прищеватым юношей — таким может быть и жулик и поэт.

— Погодите, — говорю, — я сейчас найду ее.

И взял с полки перевод «Баллады Рэдингской тюрьмы» Оскара Уайльда. Тогда она была в моде.

В жизни я не декламировал с таким чувством, как в ту ночь, читая ему вслух знаменитую балладу, особенно строку «каждый убивает как может». Гость не спускал с меня глаз. А когда мы дошли до того места, где герой поднимается на эшафот, он закрыл лицо руками и всхлипнул.

Я дочитал, и мы замолчали. Мне не хотелось нарушать величия этой минуты. Открыв окно, я сказал

— Кратчайший путь вон там, через забор. Покойной ночи.

И погасил лампу.

— Покойной ночи, — произнес в темноте взволнованный голос. — Так я попробую. Большое спасибо

И он исчез бесшумно, как летучая мышь. Все-таки это был ловкий вор

Через два дня его поймали в одном магазине. Он сидел с листком бумаги у прилавка и грыз карандаш. На бумаге была только одна строчка: «Каждый ворует как может» — явное подражание «Балладе Рэдингской тюрьмы».

Суд дал ему полтора года, как рецидивисту-взломщику.

Через какой-нибудь месяц мне принесли от него целую тетрадку стихов. Вор описывал страшные вещи — сырые тюремные подземелья, казематы, решетки, звенящие оковы на ногах, заплесневелый хлеб, дорогу на эшафот и невесть что еще. Я прямо ужаснулся чудовищным условиям в этой тюрьме.

Журналист, знаете ли, проникает всюду, вот я и устроил так, что начальник той тюрьмы пригласил меня осмотреть ее. Это оказалось вполне гуманное и благоустроенное заведение. Своего вора я застал как раз в тот момент, когда он доедал чечевичную похлебку из жестяной миски.

— Ну что, — говорю я ему, — где же эти звенящие оковы, о которых вы писали?

Вор смутился и растерянно покосился на начальника тюрьмы.

— Господин редактор, — забормотал он, — ведь про то, что тут есть, не напишешь стихов Что поделаешь!

— Так у вас нет никаких жалоб? — спрашиваю я.

— Никаких, — говорит он смущенно — Только вот стихи писать не об чем.

Больше я с ним не встречался. Ни в рубрике «Из зала суда», ни в поэзии.

Перевод Ю. Молочковского

Публикуется по: Чешская сатира и юмор. М., 1962.

Pymon

Jiří Haussmann

Tak dlouho jsem přemýšlel, tak dlouho kombinoval nejrozmanitější slabiky i písmena, až jsem objevil zázračné ono slovo: Pymon. — Ano, to byl výraz, jehož se mi právě nedostávalo. Zaznamenal jsem jej okamžitě do notesu.

*

»Co soudíte, pánové, o včerejší Pymonově řeči na janovské konferenci?« otázal jsem se následujícího jitra kolegů v úřadě.

»Hm . . . totiž, Pymonově? Ano . . . Vlastně, přiznávám se, že jsem dnes ještě ani pořádně nečetl noviny . . . spěchal jsem jaksi . . .« vymlouval se dosti neobratně kolega Novotný a rychle se zabořil do práce.

»Ovšem, že jsi nemohl čísti, «opáčil posměšně jeho soused Novák, »známo, že přelouskáváš vždy nejprve nabídnutí k sňatku, pak »různé zprávy« nebo »ze soudní síně«, kdežto k vážným věcem se dostaneš teprve, zbude-li ti náhodou čas. — Ale co se té Pymonovy řeči týče: Myslím, že přinese rozhodný obrat, neboť u státníka, jakým je Pymon, každé slovo...»»

Vstoupil šéf, i umklí jsme.

*

Když mi přítel prof. Vomáčka, známý národohospodářský pracovník a 266 gnoranc příslušné ruoriky kteréhosi předního denníku důkladně vysvětlil svoji peněžní theorii, která sice zdánlivě vycházela z Knappa a ve svých výsledcích se na oko shodovala s Liefmannem, ve skutečnosti však dle tvrzení přítelova byla zaručeně 266gno a vzácně originelní, odvětil jsem:

»Dovol, abych byl upřímný: Ač tvůj názor obsahuje nesporně mnoho bystrých postřehů, nelze mu přece bohužel přiznati původnosti, neboť jistě tobě dobře známá theorie Pymonova ... «

»Py—monova? «

»Nu, ano, Pymonova, nebudeš mi přec namlouvat, že neznáš Pymonovy theorie, ty, takový národohospodář! «

»Ovšem, že znám ... ba studoval jsem ji, možno říci, velmi důkladně . . . ale přes to . . . ostatně odpusť, právě přijíždí moje elektrika — na shledanou!«

Téhož večera spálil prý přítel Vomáčka pět let připravovaný habilitační spis.

*

»Jak se člověk tak často přistihne při horentní nevědomosti!« stěžoval si mi kamarád ze studií Procházka, »včera se mne na příklad kluk ptal, proč jsou vlastně v zimě dny krátké a v létě dlouhé — a věř, nedovedl jsem mu to vysvětlit!«

»Ale to je přece velmi jednoduché,« usmál jsem se, »což se nepamatuješ na t. zv. Pymonův zákon?«

»Ach, bože, ovšem! Vidíš, jak člověk hloupne! Samozřejmě, přeci Pynomův — totiž Pymonův zákon — co se nás toho ve škole nadřeli! Stárneme, milý brachu, stárneme ...«

»A našich duševních sil ubývá!« dodal jsem zamyšleně.

*

»Oh, Romaines! Arcos! Duhamel! Jammes! Vildrac! Ta něha, la pokora, ta naivnost, ten soucit ... « vzdychala na five-o-clocku moje sousedka, slečna Votrubová, »lze si představiti něco jitmavějšího, než takový »Život mučedníků?«

»Máte pravdu: obdivuhodné! Jediný snad Pymon mohl by se vyrovnat ...«

»Oh, Pymon! Čarovný Pymon! Jeho písně jsou vlastně ještě něžnější Duhamelových ...«

»Ještě pokornější!«

»Ještě naivnější!!!«

»Ještě soucitnější!!!«

Slečna Votrubová vrhla na mne bolestný, ale zřejmě obdivuplný, ne-li zamílovaný pohled.

*

»Co je to za květinu, drahoušku?«

»Pymonka přeci, ranná Pymonka, můj poklade! Což ji nepoznáváš?«

»Ah, zajisté, poznávám! Binomka ... Pitomka ... tak časně vykvetla ...«

Propadli jsme sentimentalitě.

*

»Čéče, nepymonuj slušný lidi!«

»Co — co? Pymonovat? Co je to?«

»Ty nevíš? Nejnovější podskalské úsloví! ‚Pardál‘ už vyšel z módy — opravdu‘ s to ještě nikde neslyšel?«

»Právě, že mi to bylo už tak často řečeno . . . Jenže dosud nevím, co to vlastně znamená . . .«

»Co to znamená? Hra, těžko vykládat . . . to je tak něco jako . . . inu, prostě, pymonovat . . . nepřeložitelné . . .«

»Aha, už chápu. Ano: pymonovat!«

*

Debata se sousedním stolem v Bradanovičově vinárně nabývala 268gnor větší živosti.

»Milý pane, 268gno to marné: Předpokladů pro nějakou sociální revoluci u nás nikdy nebylo a nebude — naše poměry jsou celkem konsolidovány, jsme země odkázaná na vývoz . . . ostatně si laskavě přečtěte, jak na tento 268gnoran pohlíží sám Pymon!«

» ?? «

»Nu, ano, velectěný pane, Pymon! Či vám snad toto iméno není známo? — Hle, zas jeden výtečník, který se ohání komunismem a nečetl, možná, ani Pymona! Víte, vůbec, mladíku, že existuje jakýsi Lenin?«

»Bez osobních urážek, prosím! — Pymona jsem studoval ještě důkladněji, než vy! Nevím jen, na který z jeho spisů narážíte: Na «Diktaturu 268 gnorance 268 t«, nebo na «Vědecké předpoklady 268 gnor akce mass?«

«Míním, pane, jeho «Sociál 268 gnora« — dílo nebylo dosud přeloženo a znalost angličtiny u vás ovšem předpokládati nemohu!«

Ani šest čtvrtek »Opolu« nenavrátilo rozdrcenému soupeři duševní rovnováhy, a naopak, docela ho připravilo o tělesnou.

*

«Tak, pane vrchní, třeba jeden ten přírodní řízek, ale s pymonskou omáčkou, ano? «

»To snad, prosím . . .«

«Nemáte? Hm; bylo mi řečeno, že váš hotel náleží k prvotřídním — že 268gno francouzskou kuchyni . . .«

»O, prosím, prosím. Rozuměl jsem jen špatně: Jeden přírodní řízek s pymonskou omáčkou rácte si přát; prosím, okamžitě . . . «

Omáčku přinesl hovězí.

*

Elektrika byla nabita.

«Človče, už jste mi po třetí 268gno na nohu — vy Pymone jeden!«

»Co? Co?? Pane, jste-li 269gnorance269t, legitimujte se mi! Podám na vás žalobu pro urážku na cti!«

*

Den 269gnor, co jsem uveřejnil obsáhlý, tklivý a starožitnickým citem oplývající článek »Zapomenutá památka«, požádal mne »Klub za Starou Prahu«, abych převzal vedení vycházky, která měla býti podniknuta k t. zv. Pymonově lípě, památnému to stromu, o němž právě moje stat' pojednávala.

Společnost sešla se četná, mnohý Zastarouprahuklubista neváhal přivést ani ženu a dítky, aby byly přítomny slavnostnímu aktu. Dovedl jsem výletníky k jakémusi osamělému stromisku (byla-li to zrovna lípa, nevím) za Strahovské Lomy a tam měl půlhodinnou přednášku o úctě, kterou jest každý, nejen český, nýbrž i vůbec kulturní člověk povinován k rostlině, v jejímž stínu staříček Pymon rád si 269gnor a naslouchal šveholení ptáčků její korunu obývajících.

Muži nebyli dojetím schopni slova. Ženy vzlykaly. Dítky hrály opodál se scíplým potkanem football. Jen jeden hoch, který mi byl již od počátku svou nezřízenou zvědavostí protivný, 269gnor dychtivě má slova a když jsem za bouřlivého potlesku skončil, otázel se dotěrně:

»A kdo to vlastně byl ten Pymon ?«

»Mladíku, to byste měl vědět!« opáčil jsem mravokárně, «ostatně se tomu přiučíte záhy ve škole.»

Nesympaticky výrostek však vedl 269gnor svou:

»Al já bych rád věděl už teď, kdo ten Pymon byl!«

Chtěl jsem ho prostě ignorovat, když se k mému zděšení přidal kterýsi úctyhodný, letitý pán k nevychovanému výrostkovi pokorně pronesenou otázkou:

»Skutečně se přiznávám, velectěný pane ... nemějte mi, prosím, za zlé ... jsem člověk starý, nevzdělaný ... vyšinul jsem se vlastní tvrdou prací ... ale odpusťte, 269gno bych byl velice povděčen za poučení, kdo onen Pymon...«

Povzbuzeno jeho příkladem, doznalo rázem všech 18 shromážděných klubtů a 12 klubistek svou totální 269gnorance a žádalo bouřlivě data o osobnosti, životě a díle velikého Pymona ...

*

Zabýváme se neradi podrobně nepřijemnými vzpomínkami, a proto ani já nebudu líčiti, co následovalo. Podotknu jen, že zpráva o této ostudě

rozšířila se rázem v kruhu mých přátel a známých, tak že do týdne stal jsem se společensky nemožným. V úřadě mne jinak nezdravili, než »Tě Py-mon!«, přítel národohospodář Vomačka vymáhá na mně cestou sporu náhradu za zničený habilitační spis, z domu nevěstina mne prostě vyhodili, na jídelních lístcích pražských restaurací nevyskytuje se již »sauce á la Py-mon« a gentleman, který mne pohnal před soud pro urážku na cti, rozšířil svoji žalobu o přešupek § 308 (šíření falešných znepokojivých pověstí nebo předpovědí).

*

Zvolil jsem jediné možné východisko: Zpeněživ skrovné svoje jmění a zpronevěřiv neskrovný obnos v úřadě, vystěhoval jsem se do východní Bolívie a založil tam malou farmu, kde dalek ruchu světského, neznám a zapomenut kochám se krásami panenské přírody. Farma utěšeně vzkvétá a bude-li mi osud přízniv, vzroste záhy v pěknou usedlost.

Letní chatu, v níž přebývám, nazval jsem »Pymonii«.

Публикуется по: <https://archive.org/details/divokpovdky00hausuoft>

Пэмон

Иржи Гауссман

Я долго ломал себе голову, комбинируя различные слоги и буквы, пока не сложилось волшебное слово: ПЭМОН. Да, это именно то, что нужно. Я тотчас записал его в блокнот.

— Какого вы мнения, господа, о вчерашней речи Пэмона на Генуэзской конференции?—спросил я на следующее утро своих коллег по службе.

— Гм... то есть... Пэмона? Ах, да... Собственно, я сегодня еще не успел как следует прочитать газету... торопился, знаете ли... — довольно неуклюже вывернулся мой сослуживец Новотный и поспешил с головою уйти в дела.

— Конечно, где тебе, — насмешливо бросил его сосед, Новак. — Известно, что первым долгом ты просматриваешь брачные предложения, потом «всякую всячину» или «из зала суда», а уж до серьезных статей добираешься, если случайно останется время. Что же касается речи Пэмона, то я думаю — она вызовет целый переворот, потому что у такого государственного деятеля, как Пэмон, каждое слово...

Вошел начальник, и мы замолчали.

*

Когда мой друг профессор Вомачка, известный специалист по политэкономии и редактор соответственного раздела одной из солидных газет, подробно изложил мне свою теорию денег — она на первый взгляд исходила из посылок Кнаппа, а по выводам совпадала с Лифманном, но в действительности, как утверждал мой друг, была совершенно новой и вполне оригинальной, — я ему ответил:

— Позволь мне быть искренним: хотя в твоей теории, несомненно, много точных наблюдений, ее все же, к сожалению, нельзя признать оригинальной, так как тебе, конечно, хорошо известна теория Пэмона...

— Пэ-мо-на?

— Ну да, Пэмона — не станешь же ты прикидываться, будто не знаешь Пэмоновой теории, это ты-то, такой эрудит!

— Конечно, я ее знаю... даже, можно сказать, изучил ее весьма основательно... И все-таки... Впрочем, извини — вон идет мой трамвай — до свиданья!

В тот же вечер, говорят, мой друг Вомачка сжег свою диссертацию — плод пятилетних трудов.

*

— Как часто ловишь себя на том, что ты круглый невежда! — плакался мне в жилетку мой старый школьный товарищ Прохазка. — Вчера, к примеру, сынишка спросил, отчего зимой дни короткие, а летом длинные — поверишь ли, я не мог ему объяснить!

— Но ведь это очень просто, — усмехнулся я. — Разве ты не помнишь так называемый закон Пэмона?

— Ах, ну конечно! Господи, до чего глупеешь. Конечно, закон Пэнома... то есть, Пэмона — и доставалось же нам из-за него в школе! Стареем, брат, стареем...

— И сила ума слабеет... — задумчиво добавил я.

*

— О Ромэн! Арко! Дюамель! Джеймс! Вильдрак! Какая нега, какое смирение, что за наивность, сколько сострадательности... — вздыхала на званом чаепитии моя соседка, девица Вотрубова. — Можно ли представить себе нечто более захватывающее, чем, например, «Житие мучеников»?

— Вы правы: восхитительно! Один лишь Пэмон мог бы, пожалуй, сравниться...

— О, Пэмон! Кудесник Пэмон! Его песни еще более нежны, чем Дюамеля...

— Еще смиреннее!

— И наивнее!!

— И сострадательнее!!!

Девица Вотрубова подарила мне скорбный, но явно восторженный, если не влюбленный, взгляд.

*

— Что это за цветок, дорогой мой?

— Да пэмония, ранняя пэмония, сокровище-мое! Неужели ты не узнала?

— Ах, конечно же, узнала! Бельмония... то есть бемо-ния... Как она рано расцвела!

И мы утонули в сентиментальности.

*

— Старик, не пэмонь приличных людей!

— Что... как? Пэмонь? Это что за штука?

— Не знаешь? Новейшее словечко! «Психовать» уже вышло из моды. Нет, ты действительно еще нигде не слышал?

— Ну да, теперь вспоминаю, мне часто так говорили.... Только я до сих пор не знаю, что это слово означает...

— Что означает? Гм, трудно объяснить... Это как бы вроде... ну, просто — пэмонить... Непереводаемо!

— Ага, понял. «Пэмонить» — ясно!

*

Спор за соседним столиком в винном погребеке Брандановича становился все оживленнее.

— Да нет же, сударь! Предпосылок для какой-либо социальной революции у нас никогда не было и не будет — наше общество вполне консолидировано, мы — страна, целиком зависящая от экспорта... впрочем, прочитайте, как смотрит на эту проблему сам Пэмон!

— ??

— Да, да, милостивый государь, — Пэмон! Или вам это имя незнакомо? О, вот еще один знаток, только и толкует, что о коммунизме, а сам, может быть, даже Пэмона не читал! Вообще — известно ли вам, юноша, что существует Ленин?

— Прошу без личных выпадов! Пэмона я изучил еще более основательно, чем вы! Я только не понял, на который из его трудов вы намекаете: на «Диктатуру пролетариата» или на «Научные предпосылки прямых действий масс»?

— Я имел в виду, сударь, его «Social forces» — это произведение еще не переводилось, а я, естественно, не могу требовать от вас знания английского!

Даже шесть «мерзавчиков» не вернули разбитому в пух и прах противнику равновесия духа — более того, они лишили равновесия и его тело.

*

— Ну что ж, официант, сделаем так — один натуральный шницель, только с пэмонской подливкой, хорошо?

— Да, но...

— Нету? Гм... А мне сказали, что ваш ресторан один из первоклассных и будто у вас французская кухня...

— О конечно, конечно. Просто я плохо понял. Итак, изволили заказать один шницель натуральный с пэмонской подливкой; сию минутку...

Подливку он принес мясную.

*

Трамвай был переполнен.

— Послушайте, вы мне уже в третий раз наступаете на ногу, пэмон вы этакий!

— Что-о? Ну, знаете, если вы интеллигентный человек, сударь, извольте назваться! Я подам на вас в суд за оскорбление!

*

На другой день после того, как я опубликовал пространную, трогательную, исполненную преклонения перед древностями статью «Забытый памятник», ко мне обратился Клуб Любителей Старой Праги с просьбой возглавить экскурсию, которая имела быть предпринята к так называемой Пэмоновой липе, историческому дереву, о котором и шла речь в моем очерке.

Компания собралась большая, многие Любители Старой Праги не поколебались привести с собой жен и детей, чтоб и те стали очевидцами торжественного акта. Я привел экскурсантов к огромному дереву (не знаю, было ли оно липой), одиноко торчавшему позади Страговских каменоломен, и прочитал там получасовую лекцию об уважении, которым не только каждый чех, но и всякий культурный человек вообще обязан дереву, под сенью которого любил отдыхать престарелый Пэмон, слушая щебет птиц, обитающих на священных ветвях.

Мужчины были растроганы до немоты. Женщины всхлипывали. Детишки играли поодаль в футбол дохлой крысой. Лишь один мальчик, который с самого начала вызвал во мне неприязнь своей неукротимой любознательностью, жадно глотал мои слова, а когда я кончил под бурные аплодисменты, он настырно осведомился:

— А кто, собственно, был этот Пэмон?

— Вам бы следовало это знать, юноша! — ответил я с укоризною.
— Впрочем, вы скоро узнаете об этом в школе.

Но несимпатичный подросток гнул свое:

— Я хочу уже сейчас узнать, кто такой был Пэмон!

Я думал попросту игнорировать его, но, к моему ужасу, один почтенный пожилой господин принял сторону невоспитанного мальчишки, смиренно спросив:

— В самом деле, признаюсь, высокоуважаемый лектор... пожалуйста, не сердитесь на меня... Я человек старый, необразованный... выбился в люди тяжелым трудом... но я, простите, тоже был бы очень благодарен за разъяснение, кто был этот Пэмон...

Ободренные примером, все восемнадцать Любителей Старой Праги разом сознались в полном своем невежестве и бурно потребовали данных, о жизни и делах великого Пэмона...

Мы не любим копаться в неприятных воспоминаниях, а посему и я не стану описывать последовавшую за этим сцену. Ограничусь лишь сообщением, что весть о конфузе с быстротой молнии распространилась в кругу моих друзей и знакомых; не прошло и недели, как мне стало невозможно показываться в обществе. Сослуживцы приветствовали меня не иначе, как словами «будь Пэмон», мой друг Вомачка, профессор политэкономии, взыскивает с меня через суд компенсацию за уничтоженную диссертацию, из дома моей невесты меня попросту выставили, в меню пражских ресторанов не красуется больше «соус а-ля Пэмон», а тот джентльмен из трамвая, который подал на меня в суд за оскорбление, привлек меня еще и по статье 308 (распространение ложных сведений или слухов).

Я избрал единственно возможный выход: обратив в деньги свое скромное имущество и захватив далеко не скромную сумму из казенной кассы, я уехал в Восточную Боливию и построил там небольшое ранчо; там, вдали от шумного мира, в забвении и безвестности, я наслаждаюсь красотами девственной природы. Ранчо мое процветает и, если на то будет воля судьбы, вскоре превратится в красивое поселение.

Хижину, в которой я обитаю, я назвал «Пэмона».

Перевод Н. Аросевой

Публикуется по: Чешская сатира и юмор. М., 1962.

Методика анализа юмористического текста

Лингвистический анализ

1. Проведите комплексный анализ средств художественной выразительности на следующих уровнях структуры анализируемого текста:
2. Фонетический уровень.
3. Морфемный и словообразовательный уровень.
4. Лексический и лексико-фразеологический уровень.
5. Синтаксический уровень.
6. Определите роль каждого из уровней в создании комического эффекта.

Литературоведческий анализ

1. Определите жанр исследуемого произведения.
2. Определите время и место действия произведения, его связь с культурно-историческим контекстом.
3. Составьте перечень действующих лиц, охарактеризуйте каждого из них.
4. Воспроизведите событийный ряд, представленный в тексте, изложите краткое содержание (сюжет) произведения.
5. Определите перечень проблем и конфликтов, которые являются движущей силой сюжета в тексте.
6. Определите стилистические средства, использованные автором в тексте.

Тематический анализ текста

1. Определите какие негативные стороны действительности и недостатки человека задействованы в тексте.
2. Найдите примеры противоречивых словесных конструкций, ситуаций и образов в тексте.
3. Найдите примеры создания автором текста эффекта контраста.
4. Найдите примеры игры с читательскими ожиданиями, нагнетания напряжения и его разрешения.
5. Найдите в тексте примеры отклонения от нормы, которые использованы для создания комического эффекта.

Анализ когнитивной структуры текста

1. Опишите культурные реалии, представленные в тексте.
2. Выявите бисоциативную структуру комических элементов в тексте, определите в чем точки пересечения и линии противопоставления ассоциативных контекстов.
3. Определите конфликтующие сценарии в комических элементах текстов.
4. Выявите сходство и противопоставление сценариев, участвующих в комических элементах текстов.
5. Найдите триггеры, которые переключают сценарии внутри текста.
6. Определите структуру сценарных конфликтов в комических элементах текстов.

Конструктивистский анализ

1. Выявите конструктивистскую структуру исследуемого текста.
2. Определите фокус пригодности, имплицитный и эмерджентный полюса каждого конструкта.
3. Определите иерархический статус каждого конструкта.
4. Найдите субординатные конструкты, которые трансформируют суперординатный конструкт, выявите средства этой трансформации.
5. Определите каким образом в тексте изменяется фокус пригодности конструкта.
6. Найдите случаи, в которых происходит перестановка имплицитного и эмерджентного полюсов.
7. Определите какое значение для сюжета произведения имеет трансформация конструктов в тексте.

Использованная литература

1. Аристотель Никомахова этика. М.: Эксмо-пресс, 1997.
2. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М.: Мысль, 1999.
3. Дземидок Б. О комическом. М.: Прогресс, 1974.
4. Казакова Д. Теории вербального юмора в современной зарубежной лингвистике // Грамота, Тамбов, №8. Ч. II. 2013, сс. 77-80.
5. Келли Дж. Теория личности: психология личных конструктов. СПб.: Речь, 2000.
6. Козинцев А. Разнонаправленное двуголосое слово: эстетика и семиотика юмора // Антропологический форум, № 18, 2013, сс. 143-162.
7. Лаврентьев А.И. Общая теория словесного юмора (General Theory of Verbal Humour) на примере литератур этнических меньшинств // Дидактика межкультурной коммуникации в иноязычном образовании: теория и практика. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. Ч. 2: Филология. Лингвистика. сс. 10–16.
8. Левицкая И.А. Теория личностных конструктов Дж. Келли: на пути к когнитивной философии образования // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки, 2013, №2 (30), сс. 114-119.
9. Мартин Р. Психология юмора. СПб.: Питер, 2009.
10. Мусийчук М. Когнитивные механизмы юмора // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Философия. Т. 8, № 2, 2010, сс. 48-52.
11. Платон Собрание сочинений. Т. III. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2007.
12. Попченко И.В. Комическая картина мира как фрагмент эволюционной картины мира. Волгоград, 2005.
13. Тань Аошуан Китайская картина мира. Язык, культура, ментальность. М.: Рукописные памятники древней Руси, 2012.
14. Твен М. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 4. Приключения Тома Сойера; Жизнь на Миссисипи. М.: Худож. лит., 1960.
15. Улановский А.М. Конструктивизм, радикальный конструктивизм, социальный конструкционизм // Вопросы психологии. №2, 2009. сс. 35-45.

16. Attardo S. Humorous texts: a semantic and pragmatic analysis. Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 2001.
17. Boden M. The creative mind: myths and mechanisms. London: Routledge, 2003.
18. Brone G., Feyaerts K. The cognitive linguistics of incongruity resolution: marked reference-point in humor // 8th International cognitive linguistics conference: La Rioja, July 20-25, 2003.
19. Davies C. Ethnic humor around the world: a comparative analysis. Bloomington: Indiana University Press, 1990.
20. Davies C. The mirth of nations. New Brunswick: Transaction publishers, 2002.
21. Dublitzky W. et al. Towards creative information exploration based on Koestler's concept of bisociation // Bisociative knowledge discovery: An introduction to concept, algorithms, tools and applications. Heidelberg: Springer, 2012. pp. 11-32.
22. Dynel M. Garden paths, red lights and crossroads: on finding our way to understanding the cognitive mechanisms underlying jokes // Israeli journal of humor research, No 1, 2012, pp. 6-28.
23. Fauconnier G., Turner M. The way we think: conceptual blending and the mind's hidden complexities. New York, 2002.
24. Gervais M., Wilson D. The evolution and functions of laughter and humor. a synthetic approach. // Quarterly Review of Biology. №80, 2005. pp. 395- 430.
25. Hurley M., Dennett D., Adams R. Inside jokes: using humor to reverse-engineer the mind. MIT Press, 2011.
26. Koestler A. The art of creation. London: Hutchinson of London, 1964.
27. Krikmann A. Contemporary linguistic theories of humour // Folklore: Electronic Journal of Folklore, №33, 2006, pp. 27-58.
28. Lyttle J. The effectiveness of humor in persuasion: the case of business ethics training/ Toronto, 2001.
29. Morreall J. Comic relief: a comprehensive philosophy of humor. Wiley-Blackwell, 2008.
30. Oring E. Parsing the joke: the General theory of verbal humor and appropriate incongruity // Humor Humor, Vol. 24, №2, 2011, pp. 203-222.
31. Partington A. «Double-speak» at the White House: a corpus-assisted study of bisociation in conversational laughter-talk // Humor, Vol. 24, №4, 2011. pp. 371-398.

32. Provine R. *Laughter: a scientific investigation*. New York: Viking, 2000.
33. Ramachandran V., Blakeslee. S. *Phantoms in the brain: probing the mysteries of the human Mind*. New York: William Morrow, 1998.
34. Raskin V. *Semantic mechanisms of humor*. Dordrecht: Springer, 1984.
35. Raskin V., Hempelmann C., Taylor Y. How to understand and assess a theory: the evolution of the SSTH into the GTVH and now into OSTH // *Journal of literary theory*. 2009. Vol. 3, No. 2. pp. 285-312.
36. Ruch W. et. al. Toward an empirical verification of the general theory of verbal humor // *Humor*, Vol. 6, №2, 1993, pp. 123-136.
37. Scruton R. The decline of laughter// *The American spectator*, June 2007.
38. *The primer of humor research*. Mouton de Gruyter, 2009.
39. Viana A. Asymmetry in script opposition // *Humor*, Vol. 23, № 46 2010, pp. 505–526.

Содержание

Предисловие

3

Современные концепции смеховой культуры

§ 1. Изучение юмора в профессиональном сообществе: теоретические и прикладные подходы.

§ 2. Проблема классификации теорий комического

§ 3. Бисоциативная концепция комического А. Кестлера

§ 4. Общая теория словесного юмора и ее разновидности

§ 5. Теория конструктивизма Дж. Келли и структура комического произведения

Вопросы для самоконтроля

Юмор Великобритании

Saki

The open window

Саки

Открытая дверь

Nat Gubbins

A visit to Wales

Нэт Габбинз

Поездка в Уэльс

George Mikes

How to be an alien

Джордж Микеш

Советы эмигранту

Юмор Германии

Heinrich Böll

Anekdote von der Senkung der Arbeitsmoral

Генрих Бёлль

Разговор на берегу: к вопросу об упадке трудовой морали

Loriot

Das Frühstücksei

Лорио

Яйцо на завтрак

Max von der Grün

Wir sind eine demokratische Familie

Макс фон дер Грюн

Наша демократическая семья

Юмор США

Sinclair Lewis

from Babbit

Синклер Льюис

Бэббит (фрагмент)

Dorothy Parker

Glory in the daytime

Дороти Паркер

Слава при дневном свете

Ring Lardner

Nora

Ринг Ларднер

Нора

Юмор Франции

San-Antonio

Le Standing. Le savoir-vivre selon Bérurier

Сан-Антонио

Стандинг или правила хорошего тона

Pierre Desproges

Les étrangers sont nuls

Колуш

L'Histoire D'Un Mec

Колюш

«Это история про одного парня...»

Юмор Чехии

Jaroslav Hašek

Osiřelé dítě a tajemná jeho matka

Ярослав Гашек

Осиротевшее дитя и его таинственная мать

(Трогательная история, заимствованная из буржуазной прессы)

Karel Čapek

О lyrickém zloději

Karel Čapek

Взломщик-поэт

Jiří Haussmann

Румон

Иржи Гауссман

Пэмон

Методика анализа юмористического текста

Использованная литература

Научное издание

Зайнуллина Саида Радиковна
Лаврентьев Александр Иванович
Опарин Марк Васильевич
Пронина Наталья Александровна
Шибанов Виктор Леонидович

ЮМОР В СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУР

Учебно-методическое пособие

Компьютерный набор: А. И. Лаврентьев
Оригинал-макет:
Обложка:

Подписано в печать Формат 60x84 1/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. Уч.-изд. л.
Тираж 100 экз. Заказ №

Издательство «Удмуртский университет»
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 4
Тел. / факс: +7(3412)500–295 E-mail: editorial@udsu.ru